**Э.Н.УИЛСОН**

**ЛЕВ ТОЛСТОЙ**

Когда речь заходит о России, первое, что поражает иностранца, — это необъятные просторы этой страны. С детства нам известно, что Советский Союз, как и Россия во времена правления Екатерины Великой, занимал около одной шестой части суши. Лишь немногие могут похвастаться личным ощущением необъятности этой страны, путешествуя по её просторам. Если проехать по маршруту Наполеона из Варшавы в Москву — на поезде ли, или в автомобиле — путь покажется нам бесконечным и утомительным, проходящим через монотонные равнины. И всё же, этот отрезок, как легко увидеть на карте, является лишь крошечной частью этой удивительной земли, которая по разным историческим причинам сложилась в единую политическую общность.

Отцом современной России по праву называют Петра Великого. Однако именно немецкая принцесса Екатерина Великая, императрица, правившая Россией с 1762 по 1796 годы, добилась того, чем стала Россия в последующем столетии. Взгляд Екатерины на управление Россией носил отпечаток её чужеземного происхождения. Она считала Россию огромной державой и с маниакальной настойчивостью стремилась сделать её ещё больше. Именно при ней Польша и южные территории до самого Чёрного моря отошли к России, и границы этого могучего государства приняли очертания, близкие к тем, которые мы знаем сегодня. Тем не менее, в Екатерине жила невежественная тревога, что огромные размеры России могут сделать её неуправляемой.

«Какой же интерес могла питать молодая немецкая принцесса к этому magnum ignotum (“великому неизведанному”), к этому подразумеваемому народу, нищему, полудикому, скрывавшемуся в своих деревнях за снежными сугробами и дрянными дорогами и имевшему вид чужеземного парии на петербургских улицах — с бородой, за которую преследовали, в запрещенной одежде — и терпимому из одного лишь презрения к нему?»— однажды задался этим вопросом Александр Герцен, первый, если не самый великий российский радикал, столкнувшись с бюрократией, корни которой уходят в эпоху Петра Великого и Екатерины Великой, с той самой бюрократией, которая к девятнадцатому веку, словно спрут, распростёрла свои щупальца по всей России.

К концу восемнадцатого века свобода и самоуправление стали политическими идеалами Запада. Соединённые Штаты отказались от монархических и колониальных устоев Британской короны и обрели независимость. В результате бурных революций на свет появилась французская буржуазия — могильщик монархо-аристократической общественной формации. Екатерина Великая, которая проявляла живой интерес к идеям эпохи Просвещения и состояла в переписке с их авторами, оставила России совершенно противоположное наследие. С присущей ей скрупулёзностью она выстроила систему правления, реформирование которой в будущем стало почти нерешаемой задачей.

Физическая экспансия России сопровождалась двумя важными факторами, которые оставили неизгладимый след в её истории. Первый из них — это распространение крепостного права. На Украине, где крестьяне ранее были свободны, Екатерина утвердила правовую систему, согласно которой крестьяне не могли покидать своё поместье без разрешения помещиков, что фактически превращало их в собственность последних. Несмотря на различные оценки, к концу правления Екатерины более половины населения Российской империи находилось в крепостной зависимости, по своему положению практически сравнимой с рабством чернокожих в Америке.

Одновременно с распространением крепостного права росло и укреплялось дворянство. В то время как в других европейских странах статус аристократа всё больше терял политическую силу и принимал символическe форму, в России дворянство сохраняло и приумножало свою политическую власть. В Великобритании, например, герцог мог быть богатым, но не обладать политическим влиянием. К середине викторианской эпохи политическая власть аристократии значительно ослабла. В России же подобное было немыслимо: Екатерина учредила строго вертикальную иерархическую систему, где власть находилась в руках аристократии. Дворянство имело привилегии: освобождение от налогов и телесных наказаний, право дворян получать высшее образование и занимать государственные должности.

Между дворянами и крепостными Екатерина Великая разместила городской купеческий класс, выделив его в отдельное сословие и наделив его особыми привилегиями и обязанностями. После её смерти в 1796 году императрица оставила России перегруженный бюрократический аппарат, который обеспечивал контроль над каждым гражданином и организацией. Как в произведениях Гоголя, эта система, разрастаясь, становилась столь неповоротливой, что реформировать её без полного разрушения было практически невозможно. Именно поэтому монархия в XIX веке всеми силами сопротивлялась реформам, опасаясь, что даже малейшие изменения могли бы привести к её краху.

Любопытно, что Екатерина и её окружение, хоть и были современными в своих религиозных взглядах, создали теократическое государство, в котором Русская православная церковь стала важным инструментом государственной власти. Императрица изъяла земли у церкви и утверждала, что церковь должна быть подчинена государству. Светские органы власти назначали священников, контролировали религиозные вопросы и занимались пропагандой догматов. Даже Прокуратор Святейшего Синода был светским чиновником, наделённым правом вмешиваться в церковные дела, что подчёркивало подчинённое положение церкви по отношению к государству.

Странно, но Екатерина, не имевшая русских корней, проводила политику, изолировавшую Россию от остального мира. Русские подданные не могли свободно путешествовать даже по собственной стране, не говоря уже о заграничных поездках или доступе к иностранной литературе.

Тем не менее, ветер перемен проникал и в Россию во многом благодаря Наполеоновским войнам. Русские войска проходили через Польшу, Германию, Францию и Австрию, и во время этих кампаний влияние российского государства на умы своих граждан ослабевало. Во время войн на троне властвовал Александр I, человек относительно либеральных взглядов. Даже если бы он и не поддерживал либерализм, русские солдаты, сталкиваясь с иностранцами и интересуясь их образом жизни, не могли не начать задаваться вопросами. Французские пленные рассказывали русским воинам о своей стране, где все люди равны. Англичане делились знаниями о конституционной монархии и избираемых законодательных органах. Проходя по европейским деревням, русские солдаты видели освобождённых от крепостного права крестьян, которые, хотя и не были богаты, считали крепостничество пережитком тёмного прошлого.

В начале девятнадцатого века русские внезапно осознали с досадой не только свою политическую, но и культурную отсталость. Первые два десятилетия XIX века одарили мер множеством гениев в Европе. В эту пору творил великий Шиллер, удивлял мир своими произведениями Гёте, Ламартин опубликовал сборник «Поэтические раздумья», Россини ставил свои шедевры на сценах оперных театров, а Вальтер Скотт писал свои увлекательные романы. Лирика Байрона и Шелли завоёвывала сердца, и на фоне этого литературного расцвета Россия казалась всего лишь культурной провинцией.

Появление великих русских писателей девятнадцатого века можно сравнить в истории мировой литературы с появлением английских поэтов в эпоху правления королевы Елизаветы I. Никто не ожидал такого внезапного расцвета: на литературной сцене появились Лермонтов, Гоголь, Белинский и Грибоедов. И, безусловно, превыше всех — Александр Пушкин, чей короткий, но выдающийся жизненный путь (1799-1837) оставил неизгладимый след. Возможно, Пушкин был самым разносторонним и талантливым поэтом мирового масштаба. Он преобразил не только русскую литературу, но и саму Россию, доказав, что можно быть умным, трогательным, остроумным и изобретательным, не полагаясь на французский язык. Он показал, что можно быть подлинно русским и при этом противостоять жестокости и абсурдности российского правления.

Пушкин превосходил Гёте и Скотта своей способностью легко переходить от одной литературной формы к другой и без особых усилий преобразовывать их. Он был настоящим Моцартом литературы. Нежный лирик, острый сатирик, великий драматург и мастер короткого рассказа, Пушкин подарил миру роман в стихах «Евгений Онегин». Все его последователи, какими бы литературными экспериментами они ни занимались, неизбежно шли по стопам Пушкина. Он был убит на дуэли в 1837 году, и эта дуэль, пожалуй, остаётся одной из самых больших трагедий в истории мировой литературы. Кто знает, какие шедевры остались утраченными в результате столь нелепой смерти.

После Пушкина появилось множество замечательных поэтов и целая плеяда русских писателей. Среди них выделялся один, которого можно по праву назвать величайшим писателем мира. А если учесть объём и монументальность его трудов, он даже превосходит самого Пушкина. Его труды заполнили девяносто томов русской библиотеки. Это был граф Лев Николаевич Толстой.

Толстой был порождением той самой России, которую мы пытались описать в начале этой книги. Он вряд ли смог бы написать и пережить все свои произведения, если бы не родился в то самое время, в том самом месте и в том самом сословии. Толстой родился 28 августа 1828 года и умер 7 ноября 1910 года. Хотя многие русские писатели были дворянами (что неудивительно, ведь только дворяне могли получить достойное образование и иметь достаточно свободного времени для писательства), Толстой выделялся даже среди них своей принадлежностью к самому высокому графскому роду. Его предки были из древнего феодального класса, который не просто участвовал в местном управлении, но и заседал в судах, стоял у трона государя.

Ранняя смерть родителей и относительная бедность Толстого привели к тому, что он никогда не использовал свои привилегии придворного, дипломата или высшего военачальника. Высший аристократический статус давал ему лишь свободу, которой мог насладиться любой писатель в тот период во Франции или Соединённых Штатах. Но быть свободным человеком в стране, где все остальные порабощены, придаёт этой свободе несколько странный оттенок. Толстой никогда до конца не осознавал свою привилегированность. Он, возможно, так и не понял, насколько сильно его положение отличалось от положения других писателей, не говоря уже о купечестве или крепостных крестьянах. Тем не менее, он проводил большую часть времени среди крестьян, редко посещая светские мероприятия. Толстой участвовал в Крымской войне и дважды выезжал за границу, посетив Италию, Францию, Германию и Англию. Однако даже в России он редко путешествовал, ненавидя интеллектуалов Санкт-Петербурга и презирая богатые дома Москвы. К середине своей жизни Толстой практически не имел друзей вне семьи и большую часть времени проводил в своём поместье, расположенном в 130 милях от Москвы.

Его изоляция и привилегированность объясняют, отчасти, почему во второй половине своей жизни он стал столь яростным критиком правительства. В последние десятилетия жизни Толстого казалось, что он был единственным, кого российские власти не осмеливались заглушить. В то время как революционеров-социалистов казнили или ссылали, церковных диссидентов отправляли в Сибирь, Толстой безнаказанно критиковал армию, социальное неравенство и бедность. Хотя он подвергался цензуре, его продолжали печатать, пока правительство не осмеливалось его убить. Его идеи пацифизма, вегетарианства, проповедь чтения Евангелия и самопошива одежды привлекли немногих, но он выступал за нечто большее. Толстой вселял веру в возможность человеческой свободы и достоинства перед лицом безликой бюрократической тирании. Поэтому, когда он умер, по всей России вспыхнули демонстрации, студенты восстали, а тысячи людей проводили его в последний путь. После смерти Толстого Россия стала искать более радикальные решения своих проблем.

Но главной причиной, почему правительство оставляло Толстого в покое, было почтение русских к его литературному гению. А там, где есть почтение, возникают подозрения и страх у властей. В России слово обладает огромной силой, и именно поэтому его носители часто заканчивают жизнь за решёткой или в ссылке.

В Толстом правители и их сторонники видели непреодолимую фигуру, литературный монумент такой величины, который невозможно было разрушить. Он начинал свою творческую карьеру осторожно, с небольших полуавтобиографических зарисовок из детства, рассказов, основанных на опыте армейской службы и впечатлениях от осады Севастополя. Его современники, такие как Тургенев, Достоевский, Фет и Некрасов, быстро признали в нём великого реалиста. Но ничто не предвещало появление двух великих шедевров — «Войны и мира» и «Анны Карениной». В своём последнем романе Толстой описал одну из величайших историй любви, а «Война и мир» предстала как ещё более грандиозное произведение. Этот роман был результатом личных предубеждений и фантазий Толстого о его семье. Когда мир увидел первые фрагменты его романа, стало ясно, что Толстой создал нечто большее, чем ожидали его читатели. Он подарил русским национальную эпопею, отражающую их стремления и надежды. Это произведение стало одним из величайших литературных памятников мира, прославившимся точностью изображений, глубиной чувств и эмоций, а также насыщенным и ярким содержанием.

Жизнь Толстого полна противоречий и загадок. Парадоксы его личности бесчисленны. Например, этот великий русский писатель находился под сильным влиянием английских и французских романистов. Его религиозные взгляды зачастую были ближе к идеям американских квакеров и французских рационалистов, чем к учению Русской православной церкви. Однако Толстой считал, что должен говорить с народом, используя подлинный голос русского крестьянина. Многие отвергали его поздние работы, в которых он защищал идеи политического анархизма и, например, резко критиковал Шекспира. Другие, напротив, были вдохновлены христианской простотой его трудов, но обнаруживали в биографиях писателя, что пророк мира жил в атмосфере домашней ненависти, возможно, беспрецедентной в истории семейных отношений.

Несмотря на эти парадоксы и противоречия, масштаб личности Толстого невозможно приуменьшить. Русский художник Илья Репин оставил несколько портретов великого писателя. Он говорил о нравственном величии и гипнотическом духовном присутствии Толстого. «Часто спустя день или два после беседы с ним, когда твой ум начинает работать самостоятельно, осознаёшь, что с его взглядами трудно согласиться, что некоторые мысли, казавшиеся такими ясными и неоспоримыми, теперь кажутся невероятными и даже трудно воспроизводимыми; что некоторые его теории приводят к противоположным выводам, но во время разговора этого не замечаешь», — писал Репин о Толстом. Однако, несмотря на это, Репин воспринимал Толстого как гиганта. Однажды, когда они ехали верхом через лес рядом с домом графа, Репин увидел в Толстом «рафаэлевского бога из видений Иезекииля, с раздвоенной бородой, грацией и ловкостью, с какой-то особой лёгкостью и весельем, лавирующего между ветвями». Его жизнерадостность и весёлость казались почти божественными, и в присутствии такой фигуры невозможно было не испытывать благоговения. Если уменьшить портрет, не прибегая к приукрашиванию, как это делал Репин на холсте, он должен быть нарисован без малейшего чувства величия — просто с глубоким уважением к человеку, столь сложному и великому.

**ГЛАВА 1**

**ИСТОКИ**

1828-1841

*Бывало, нами дорожили,*

*Бывало…*

А.С. Пушкин. «Моя родословная»

Шли и шли, и пели «Вечную память»… Жизнь Толстого, как и «Доктор Живаго», начинается с похорон женщины - мать Толстого скончалась 4 августа 1830 года, он был слишком мал, чтобы помнить ее. Он родился 28 августа 1828 года и потерял мать в два года. Он никогда не помнил ее лица, не осталось ни одного портрета этой женщины. Оба этих факта сыграют весомую роль в жизни Толстого[[1]](#footnote-1).

Мать звали Марией Николаевной Волконской или просто Марией. Родилась она в 1790 году, была единственным ребенком в семье весьма причудливого, вспыльчивого князя Николая Волконского, который в пору рождения своей дочери был весьма видным деятелем, служившим Екатерине Великой. Волконские были древней фамилией, исходившие от Рюриков. Род Волконских считался более древним родом, чем Романовы, а князь Николай Сергеевич имел воинские отличия, чем еще более обогощал свое славное наследие. Он добился известности в турецкой кампании 1780 года, а в 1793 году успешная воинская карьера сменилась на снисходительную жизнь дипломата. В 1793 году его назначили русском послом в Берлине. Князь Николай был человеком прямолинейным, никто не мог его обвинить в угодничестве царским хозяевам. Когда Екатерина предложила ему жениться на племяннице (возлюбленной) ее сурового фаворита Потемкина, Волконский прямо ответил: «С чего он взял, что я женюсь на его шлюхе?» Со смертью Екатерины Великой в 1796 году карьера князя Николая подошла к концу. За Екатериной последовал буйный император Павел, который сразу уволил князя Волконского за то, что он не явился на смотр.

Павел, который считал, что все придворные плетут против него заговор, имел параноидальную черту возбуждать в себе ненависть к старым друзьям и фаворитам, независимо от того, где они служили, при дворе или на стезе дипломатии. Примером военной мудрости Павла является идея направить в январе 1801 года двадцать тысяч казаков маршем из Оренбурга в Индию для сражения с британскими колонизаторами. Несколько месяцев спустя после этого замысла Павла задушили высшие армейские чины, и на трон взошел его сын Александр I. К тому времени на протяжении нескольких лет князь Николай Волконский вел жизнь в отставке, подобно дяде Евгения Онегина, который «лет сорок с ключницей бранился, в окно смотрел и мух давил».

Мать Толстого потеряла свою мать в два года. Когда князь Волконский уволился из армии и приехал в свое поместье в ста тридцати милях к югу от Москвы, он посвятил себя образованию юной дочери. На тот период ей было семь лет. Настоящий последователь Екатерины, сын эпохи Просвещения князь Волконский в отличие от своего внука верил в образование женщин и в превосходство европейской культуры над русским. Отец и дочь говорили дома на французском. Он научил ее немецкому и итальянскому языкам, она имела нехилые познания в музыке и истории. Они вместе читали Руссо, произведения французский энциклопедистов. Как подобает бывшему послу, которому император Павел еще до отставки пожаловал звание генерала, князь Волконский имел право содержать двух вооруженных охранников. Эти охранники стояли наподобие оловянных солдатиков, созвучно фантазиям дяди Тоби Тристрама Шенди, на башенках, расположенных по обе стороны от входных ворот в поместье Ясной Поляны. Жизнь в большом доме все больше отдаляла обитателей от мира, от общественных событий. Ясная Поляна имела важное значение в жизни князя Николая в восемнадцатом веке.

Если путешественник в наши дни забредет в Ясную Поляну, он найдет ее очаровательным уголком. В действительности, один из представителей рода Толстых так описывал Ясную Поляну в своей книге: немалая толика привлекательности Ясной Поляны, по крайней мере для отечественных посетителей, заключена в уединенном физическом воплощении в Советском государстве старого барского образа жизни, который сохранился благодаря тому, что Толстой был не только великим писателем, но также унаследователем аристократического поместья».

Взору современного посетителя предстанет череда белых зданий, построенных в колониальном стиле архитектуры, которых можно видеть в Каролине или Вирджинии. Все это построено на красиво посаженной, слегка холмистой сельской местности. Село, где крестьяне Толстого боролись за свое существование, все еще живет. Даже сегодня, когда все поместье ориентировано на туристов, он все равно кажется отдаленным и примитивным, хотя и расположено не более чем в ста милях от Москвы и вовсе не далеко от основной дороги.

Эти хижины и ветхие постройки расположены по прямой менее чем за милю от главного здания усадьбы, если идти по полю, которые все еще обрабатываются, и богатым садам. В духовном смысле расстояние между скромными хижинами и самим домом кажутся почти бесконечным, , как богатое литературное наследие Толстого, с большим пианино и портретами предков, нарисованных в западной манере. Хотя по меркам европейского аристократского дома Ясная Поляна выглядит аскетическим, усадьба остается весьма отчетливо домом европейского аристократа. И еще мы не ощущаем, как это ощущается при посещении замка на Луаре или Рейне, она является частью населенного ландшафта. Даже в дни, когда Россия была полна барских поместий и усадеб, они казались островками на чужом море.

Построенный по европейским «лекалам» дом Толстого, (речь идет лишь о флигеле особняка, где жил дед Толстого Волконский), окружен землей, которая должна была оказать столь сильное влияние на великого романиста. Здесь много березы, которые весной и летом покрываются перистой, нежной зеленью, на фоне которой дом выглядит особенно великолепно. Зимой все вокруг белым-бело, кора деревьев, сам дом, заснеженные поля и дорожки, замерзшие пруды и озера. Ощущается здесь нечто большее, чем просто физическая близость природы. Скажу больше, возникает некое чувство смещения, ощущение несовместимости дома и земли, словно всякого рода претензии, притязания цивилизованного человека неизбежно обрушаются перед лицом природы. Кому принадлежат эти деревья, этот замерзший снег, эти поля? Эти вопросы должны были преследовать молодого наследника Ясной Поляны Льва Толстого.

Однако для читателя “Войны и мира” это место также обладает сиюминутно знакомым очертанием. Мы чувствуем себя также дома, как чувствовали себя в любом другом месте, принявшим под пером писателя образную форму. Точно так же, как, невозможно проехать по стране Гражданской войны, и при этом не озаряться фрагментами «Непокоренных» Фолкнера, так и здесь, на Ясной Поляне, мы мгновенно переносимся на «Лысые горы», описанными в величайшем романа Толстого.

Именно здесь, в Ясной Поляне, дед Толстого вел свою раздражительную жизнь, которую Толстой мифологизирует в «Войне и мире». Толстой изменил только одну букву фамилии деда – с В на Б – и «открыл» образ князя Болконского. Роман приобретает некую величественность, когда в нем появляется образ князя Болконского:

*«И каждый в этой официантской испытывал то же чувство почтительности и даже страха, в то время как отворялась громадно-высокая дверь кабинета и показывалась в напудренном парике невысокая фигурка старика, с маленькими сухими ручками и серыми висячими бровями, иногда, как он насупливался, застилавшими блеск умных и точно молодых блестящих глаз»[[2]](#footnote-2).*

Большая часть драмы «Лысых гор» в начале “Войны и мира” вращается вокруг вопроса господина Вудхауса о том, решится ли эгоистичный старик расстаться с княжной Марьей и отдать ее мужу:

*«Жизнь без княжны Марьи князю Николаю Андреевичу, несмотря на то, что он, казалось, мало дорожил ею, была немыслима. “И к чему ей выходить замуж? -- думал он, -- наверно, быть несчастной»[[3]](#footnote-3).*

Все это имеет достаточно малое значение с точки зрения сюжета книги, но то, что оно обладает персональной значимостью для Толстого, очевидно. Изображая княжну Марью в своем романе, он изменил одну букву в ее фамилии, но оставил ее имя без изменений. То, над чем размышлял Толстой в своей эпопее, отражало многие вопросы, как, например, вопросы войны и мира, расцвета и падения империй, прошлого Европы, будущего России. Но создавая эгоистичный характер князя Болконского, Толстой размышлял также над не менее важном историческом таинстве своего рождения.

Толстой не видел своего деда Волконского. Старик умер в 1821 году, оставив свою дочь старой девой – к тому ей исполнился тридцать один год, и она не была замужем. Беспокоясь о наследстве, она в общих чертах предположила, что могла бы выйти за своего двоюродного брата князя Михаила Александровича Волконского. Из этой идеи ничего не вышло. Князь женился на другой женщине в Москве в апреле того же года, и княжна Мария присутствовала на свадебной церемонии. Там она встретила менее подходящего холостяка, графа Николая Ильича Толстого, который был на пять лет младше ее, и обе семьи немедленно вступили в переговоры со своими адвокатами. Брак был обговорен и вскоре состоялся. Княжна Марья намеревалась иметь наследников, а, значит, надо было спешить. Они поженились 9 июля 1822 года. Ее приданое составляло восемьсот крепостных мужских «душ» в Тульской и Орловской губерниях и имение в Ясной Поляне.

Граф Николай Ильич Толстой был отставным армейским офицером. Его отец был губернатором Казани, города, расположенного в четырехстах милях к востоку от Москвы, и финансовые дела старика были настолько запущены, что Николай счел долгом уйти из армии, чтобы в какой-то момент ему не пришлось стыдливо признаваться в чрезмерной бедности дабы продвинуться по служебной лестнице. (Он был лейтенантом- полковником, когда подал в отставку.) Брак с богатой женщиной, очевидно, разрешал его трудности, и, поскольку Толстые слыли древним, достопочтенным русским родом[[4]](#footnote-4), то Волконские согласились на этот брак. У Толстых было пятеро детей: Николай, Сергей, Дмитрий, Лев и, наконец, дочь Марья, родившаяся в марте 1830 года. Пять месяцев спустя после рождения последнего ребенка, княжна Марья умерла.

Толстой умер за семь лет до пролетарской революции, а родился три года спустя после дворянской революции, словно его заключили в кокон между двумя революциями – революцией декабря 1825 года и революцией октября 1917 года. На протяжении всей истории царского дома Романовых было множество убийств и дворцовых переворотов, но восстание 14 декабря 1825 года стояло особняком. Он был назван «первым по-настоящему политическим движением, когда-либо направленным против устоявшейся системы в России»[[5]](#footnote-5). Это политическое движение с более широкой приверженностью своих участников имела десятилетнюю историю. Первой официальной организацией будущих реформаторов стала основанный в 1816 году Союз спасения или Общество истинных и верных сынов Отечества. Группа гвардейских офицеров, вдохновленных идеями и событиями предыдущих тридцати лет в Европе, мечтала преобразовать абсолютную монархию российского императора в просвещенную конституционную монархию. Мечтатели или заговорщики были совершенно разными по своим взглядам и целям людьми, что стало одной из причин их поражения. Некоторые смотрели на Англию как на идеальную модель, на страну, действительно управляемую аристократической олигархией, но сохранившую исторические формы монархии и религии. Другие равнялись на Францию, французскую революцию, приверженность этой страны республиканским формам правления. Некоторые из заговорщиков были масонами, или дилетантами в своих отличных новизной и причудливостью верованиях, которые время от времени занимали воображение петербургских салонов. Некоторые из заговорщиков сходились в своем желании освободить крестьян от крепостничества, но расходились в условиях реализации этого желания. Но их движение казалось по меркам более поздних революционных движений просто дилетантским. Их планы, как сказывал Пушкин, вынашивались между кларетом и шампанским под аккомпанемент сатирических песен и дружеских споров.

Возможность к действию возникла после смерти Александра I в Таганроге 19 ноября 1825 года. Возникли вопросы: кто должен стать преемником – второй брат императора Константин, на тот момент находившийся в Варшаве, или третий брат – великий князь Николай? Александр I в 1822 году объявил Николая, (у которого был сын и который был верен православию), а не Константина, своим наследником. Причиной тому было то, что друзья и враги представляли Константина как человека «либеральных взглядов», каким по всей вероятности он не был. Северное и Южное общества заговорщиков, деятельность которых, конечно, была известна имперской полиции, заявили о своей поддержке преемственности Константина, но у них было меньше месяца, чтобы каким-то образом популяризировать свою точку зрения в рядах армии. Военные были главным источником их силы, так как большинство из них были офицерами, а великий князь Николай был не столь популярен в армии. 14 декабря великий князь был провозглашен царем Николаем I, а армия проходила смотр на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. В этот день происходила война нервов между новым императором и его армией. Казалось, что около трех тысяч воинов выступят в поддержку революции, оставив позади девять тысяч верных новому режиму. Были и волнующие моменты, как, например, когда старый Александр Якубович, ветеран Кавказа, шествовал перед мятежными войсками и кричал: «Константин и Конституция!»; но, когда был отдан приказ о погрузке Московского полка, у старого героя развилась сильная головная боль, и его нигде не было видно. Генерал-губернатор Санкт-Петербурга был послан, чтобы урезонить мятежников, и был застрелен. Затем последовал митрополит Серафим, наряженный в великолепную ризу, похожую на коронообразную митру Восточной Церкви. Мятежники велели ему вернуться в собор и помолиться за их души. Наконец, великий князь Михаил попытался утихомирить их, но они и ему велели вернуться в Зимний дворец и не подвергать свою жизнь опасности. К концу дня терпение Николая I иссякло. Он приказал своим войскам открыть огонь по мятежникам, и те, не оказав сопротивления, бежали. В течение следующих тридцати лет в России правил этот огромный и свирепый деспот, который посвятил себя уверенной, расчетливой реакционной политике против слабых либеральных тенденций Александра I.

Декабристов[[6]](#footnote-6) , - так называли заговорщиков декабря 1825 года, арестовали. Допросили примерно шестьсот человек. Сто двадцать один человек предстали перед судом. Пятеро были приговорены к смертной казни, тридцать один были сослан в Сибирь пожизненно, а восемьдесят пять - на более короткий срок.

Из сибирских ссыльных мало кто был более романтично привлекателен, чем троюродный брат Толстого, генерал-майор, князь Сергей Григорьевич Волконский[[7]](#footnote-7), которого лишили земель, титулов и поместий, прежде чем заковать в цепи перед царем, который крикнул ему: «Дурак ты, генерал-майор князь Волконский! Тебе должно быть стыдно!» Но его молодая жена так не думала. Бросив своего малолетнего сына, она последовала за мужем в изгнание и оставалась с ним в течение следующих тридцати лет, а потом все разом испортила - сбежала с другим мужчиной. Первоначально за ней ухаживал Пушкин, посвятивший за героический поступок ей стихотворение:

*Bo rлyбинe cибиpcкиx pyд*

*Xpaнитe ropдoe тepпeньe,*

*He пpoпaдeт вaш cкopбный тpyд*

*И дyм выcoкoe cтpeмлeньe…[[8]](#footnote-8)*

В 1855 году умер Николай I. У инакомыслящих и недовольных появились все основания для радости. Но Волконский, услышав новость в сибирской ссылке, заплакал. Он плакал, потому что его император был мертв, он плакал в думах о России, потому что тридцать лет ссылки, (более короткие сроки должны быль послужить хорошим уроком для Достоевского), заставили его задуматься об альтернативах репрессивной и реакционной форме правления, которому он в молодости так энергично противостоял. Вот, что он писал позднее:

*“И когда наше национальное сознание избавится от этой фатальной путаницы между властью и национальным благосостоянием, которая внесла так много лжи во все сферы национальной жизни, лжи, которая окрасила нашу политику, нашу религиозную и социальную мысль, наше образование? Ложь была главной болезнью российской политики, наряду с ее обычными спутниками, лицемерием и цинизмом. Они проходят через всю нашу историю. И все же, несомненно, целью жизни должно быть не просто существование, а существование достойное. И если мы хотим быть откровенными с самими собой, то мы должны признать, что если Россия не может существовать иначе, чем она существовала в прошлом, то она не заслуживает того, чтобы выжить. И на данный момент у нас нет доказательств того, что страной можно управлять по-другому”[[9]](#footnote-9).*

Сергей Григорьевич Волконский был родственником матери Толстого, княгини Марии Николаевны Волконской. После амнистии, дарованной Александром II, Толстой смог встретиться с ним – хотя и в Италии, а не в России. На протяжении всей первой половины своей жизни Толстой был поглощен восстанием декабристов, которое граничило с одержимостью. Он остро осознавал, что родился слишком поздно для этого; остро осознавая также, что, если бы это удалось, вся российская история была бы другой. Для Толстого судьба России и судьба его собственной семьи всегда были неразделимы, и то и другое - не просто “составляющие” его искусства. Они являются его основной силой, мотивацией, вдохновением. Горький был прав, когда подчеркивал, что Толстой - это “целый мир”, его величие отчасти объясняется тем фактом, что его семья помогала формировать национальную судьбу страны со времен князя Рюрика, а отчасти проистекающий из его собственной вынужденной отдаленности от своих непосредственных предков.

Для него процесс обнаружения того, кто он, кто они, что такое Россия был тесно связанным. “Мир”, которым является Толстой, как сказал Горький, глубоко национальный, глубоко русский, и все же – к ярости Ленина – в высшей степени индивидуалистичный. Его рождение, слишком позднее для одной революции и слишком раннее для другой - это одновременно и отрыв от ткани национальной истории, и вызов обществу, которое повсюду вокруг него шло курсом, столь сильно расходящимся с тем направлением, которое он хотел избрать. «Я с трудом мог представить Россию или мои отношения к ней без моей Ясной Поляны». При некотором освещении Толстой кажется типичным романтическим эгоистом, страстным читателем Руссо, чей ум был достаточно велик, чтобы позволить ему пересидеть девятнадцатый век, не затронутый его изменениями и случайностями. Однако в другом аспекте Толстой, похоже, более увлечен ходом истории, чем любой другой художник с богатым воображением. Вовлеченность и отстраненность были, как и все в нем, в постоянном состоянии противоречия и борьбы.

Толстой должен был вырасти и стать великим романистом, то есть великим фантазером. Романы - это произведения искусства, которые достигают истины, рассказывая неправду. Романисты часто являются мужчинами и женщинами, которых какая-то внутренняя катастрофа вынуждает переписать прошлое, переделать свои воспоминания, чтобы сделать свое существование более интересным или понятным для самих себя. Этот процесс самомифологизации начался у Толстого еще до осознанной памяти, поэтому мы можем только догадываться об истинности того, что он рассказывает нам о своем детстве. Повесть, которую он озаглавил “Детство” и которую некоторые биографы писателя считают почти фотографической записью того, как провел свои дни ребенок, была, по его собственному признанию, полной выдумкой.

Тем не менее, существует очевидный интерес к собственным, будь-то устным или письменным, воспоминаниям Толстого. Один из факторов, способствующих запоминанию читателем этих воспоминаний, на из вещей, которая делает его таким запоминающимся писателем, - это его сверхсознание или надсознание своего существования. Хотя в первые двадцать лет его жизни не было ничего, абсолютно ничего, что указывало бы на то, что он станет великим гением в какой-либо области, ключ к тому, что делает его особенным, кроется в этой сверхъестественной способности осознавать. Мы все знаем, что существует такая вещь как жизнь, что мы живы, что есть мир, полный зрелищ и звуков. Но когда мы впервые читаем Толстого, нам кажется, что до этого момента мы смотрели на мир через пыльное окно. Он распахивает ставни, и мы впервые видим все четко и ясно. Он говорит, что вот это сверхсознание явилось к нему еще в детском возрасте.

*Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться*.*....[[10]](#footnote-10)*

Эти воспоминания предположительно относятся к тому времени, когда Толстой был еще младенцем, в пеленках, кормящимся материнским молоком. Удивительно то, что он не помнил точной текстуры сосков своей кормилицы и той смеси чувственной жадности и духовного отвращения, которые они пробудили в нем, когда ему было шесть месяцев. Святой Августин, чье эгоистическое путешествие предлагает так много параллелей с собственным путешествием Толстого, близок к тому, чтобы иметь такую “память” или, по крайней мере, желать, чтобы она у него была.

*«Другое воспоминание радостное. Я сижу в корыте, и меня окружает странный, новый, не неприятный кислый запах какого-то вещества, которым трут мое голенькое тельц*о..... [[11]](#footnote-11)

«Тельцо» - разоблачение. В повести «Детство» таких деталей полно. Возьмем, к примеру, то, что в первой же сцене автор рассказывает, что натягивает чулки на свои «крошечные ножки». Будучи детьми, мы не можем осознавать крошечность своих тел. Только ребенок, ставший уже продуктом деятельности, воспоминанием в более старшем сознании, может осознавать, что у него, сидящего в корыте, было крошечное тельцо.

*«Вероятно, это было отруби, и, вероятно, в воде и корыте меня мыли каждый день, но новизна впечатления отрубей разбудила меня, и я в первый раз заметил и полюбил мое тельцо с видными мне ребрами на груди, и гладкое темное корыто и засученные руки няни, и теплую парную стращенную воду, и звук ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда я водил по ним ручонками».[[12]](#footnote-12)*

У некоторых людей слух так совершенен, что почти вся музыка для них невыносима; у других обостренное чувство цвета или особо чувствительное обоняние. Тот или иной человек, как известно, обладает разным уровнем чувственной осведомленности. У Толстого *самосознание* было чрезмерно развито. Говоря не в стиле Вордсворта, вокруг него было «слишком много мира».

Другое замечательное качество, которое все читатели замечают в Толстом, - это его нравственная прямота и простота. Это тоже, как он считал, было связано с его детством. Когда ему было пять лет, его старший брат Николай позвал его присоединиться к другим детям. Николай, которому на этом этапе было десять лет, всегда был лидером в их играх, затейником и наставником. Он рассказывал им историю о привидениях и сказки. Но в данном конкретном случае ему нужно было сообщить кое-что более важное пятилетнему Льву, Сергею, Дмитрию и Марии. Николай открыл секрет, благодаря которому все люди станут счастливыми. Больше не будет ни болезней, ни неприятностей, ни гнева. Все будут любить друг друга, их назовут Муравьиными Братьями. Наверное, Николай где-то услышал весть о христианской конфессии, (которая, кстати, оказала такое же воздействие на Джона Уэсли), известной как Моравское братство. Он также, без сомнения, смутно слышал о масонах и их стремлении объединить человечество с помощью какой-либо формы вселенской мудрости. Отсюда и возникло словосочетание Муравьиное Братство. Чем старше становился Лев, тем большее влияние на его воображение оказывало Муравьиное братство. Только гораздо позже в жизни, когда он стал лидером инакомыслия и религиозным гуру, дружба Толстого стала идеологической. Семья, а не кружок единомышленников поддерживала его. Мифология Муравьиного братства всегда оказывала ему интеллектуальную и эмоциональную поддержку.

*Муравейное братство было открыто нам, но главная тайна заключалась в том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы. Эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зелёной палочке. И палочка эта зарыта у дороги на краю оврага, в том самом месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть меня, просил в память о Николеньке закопать меня[[13]](#footnote-13)*

Ясная Поляна, где зарыта эта палка, была полна легенд, вошедших в личную мифологию Толстого, а также забытыми народными и семейными “воспоминаниями”, на которых был воспитан великий писатель. Если великой политической легендой российской истории девятнадцатого века считать восстание декабристов 1825 года, то великим национальным событием стало вторжение Наполеона в Россию в 1812 году: событие в воображении русских девятнадцатого века параллельное вторжению Гитлера в 1941 году в воображении русских двадцатого века. В обоих случаях присутствуют одни и те же составляющие элементы: шок, ярость, благоговение и национальная гордость. Но в случае с Наполеоном не было воспоминаний для сравнения. Постороннему человеку, смотрящему на карту Российской империи во времена Александра I или на карту Советского Союза в эпоху Сталина, (кстати, территория Советского Союза была меньшей по площади из-за унизительных условий, на которые пошел Троцкий в Брест-Литовске), извечный российский страх вторжения поражает идеей, которую трудно понять. Страна настолько огромна, расстояния, пройденные любым захватчиком, должны быть настолько протяженными, что только безумец или гений мог бы подумать о такой дерзкой военной операции. И все же дважды появлялись такие безумцы, каждый раз принося с собой сцены резни, не имеющей аналогов в российской истории. Бородино, битва, которая предшествовала захвату французами Москвы в сентябре 1812 года, открыла новые ужасы в истории войн. Наполеон назвал это самым страшным из всех своих сражений. Потерь были больше, чем в любом другом сражении за всю историю мира: тридцать тысяч французов и сорок тысяч русских пали смертью за один день. Еще десяткам тысяч французов было суждено погибнуть во время последовавшего за этим зимнего отступления, и вся кампания с ужасающей и неизбежной силой подчеркивала абсолютную тщетность стремления к власти и пустоту военной славы.

*О войне княжна Марья думала так, как думают о войне женщины. Она боялась за брата, который был там, ужасалась, не понимая ее, перед людской жестокостью, заставлявшей их убивать друг друга; но не понимала значения этой войны, казавшейся ей такою же, как и все войны.[[14]](#footnote-14)*

Так размышляла княгиня Марья Болконская в “Войне и мире”, когда она в поместье своего отца впервые услышала вести о вторжении Наполеона. Князь Андрей, несколькими главами позже, по дороге из Смоленска, сворачивает, чтобы осмотреть это место, и находит его уже в полуразрушенном состоянии. Его мать и сестры бежали в Москву, крестьяне находятся в состоянии уныния и разорения, в поместье расквартировались три полка русских драгун. Вдоль маршрута войск декоративные сады были приведены в негодность, некоторые оконные стекла были разбиты, на дорожках уже росла трава. До Бородино имели место еще несколько ярких моментов эмоционального воздействия наполеоновской войны.

Ясная Поляна и вся Россия после нашествия Наполеона должны были снова ожить, о чем размышлял Толстой. Так много всего происходит в подсознании писателя, когда он создает своих персонажей, что никакое простое отождествление людей в книгах и людей в “реальной жизни” никогда не достигнет полного осмысления. Тем не менее, кажется несомненным, что в образе старого князя Болконского Толстой думал о своем деде Волконском; что молодой князь Андрей Болконский взял многое от отца Толстого, а добродетельная сестра князя Андрея Марья Болконская – от матери Толстого, Марьи Волконской. Эти простые отождествления имеют и психологическую важность. Превратив своих родителей в брата и сестру, Толстой с классической эдиповой ревностью отстранил свою мать от постели отца. Но это все не поможет без понимания основной ошибки такого подхода. При любой надежде на историческая достоверность, невозможно рассматривать “Войну и мир” как точную картину, изображающую отчасти жизнь родителей и деда Толстого. У нас есть только “вымышленные” описания жизни на Лысых холмах: почти нет подлинных документов о жизни в Ясной Поляне в 1812 году. Мы никогда не узнаем, сколько в этом романе преувеличений, а сколько правды. «Война и мир» - это не только великий исторический роман, это памятник одержимости писателя своей собственной историей. Читатели романа, которые возвращаются к ранней жизни Толстого, тысячами нитями ощущают, что они здесь уже были.

Оставшись вдовцом в возрасте тридцати пяти лет, отец Толстого пытался эффективно управлять поместьями, которые он унаследовал от жены. Денег у Толстого было мало. С тех пор как старый казанский губернатор умер в 1820 году, Николай Ильич боролся с унаследованными долгами и множеством экстравагантных иждивенцев женского пола.

Его основными занятиями были сельское хозяйство и судебные процессы. Причем последние занимали большую часть жизни. Они часто вынуждали его покидать дом, и, кроме того, он

очень любил охоту. Помимо этого, граф Николай Ильич был грамотный человек, содержал неплохую библиотеку, но очень мало уделял времени детям.

*Помню его в кабинете, куда мы приходили к нему прощаться, а иногда просто поиграть, где он с трубкой сидел на кожаном диване и ласкал нас и иногда, к великой радости нашей, пускал к себе за спину на кожаный диван и продолжал или читать или разговаривать с стоящим у притолоки двери приказчиком или с С. И. Языковым, моим крестным отцом, часто гостившим у нас. [[15]](#footnote-15)*

Воспоминания Толстого о своем отце полны восхищения и привязанности. Он вспоминает его красоту, сюртук и узкие брюки или, в сельской местности, его радостный энтузиазм на охоте. Но, как и все аристократические дети того времени, они очень мало видели своего отца. Представляется что, дети чувствовали особую близость к своей бабушке, простушке, транжире, рьяно защищавшей старые устои. Одним из самых ранних воспоминаний Толстого было то, как она сидела в желтой таратайке под кустами орешника. Лакеи наклоняли к ней ветви орешника, чтобы она могла срывать орехи, не вставая со своего места.

В 1837 году дети потеряли отца. Он поехал в Тулу, чтобы принять участие в одном из судебных процессов, и упал замертво на улице. Ему было сорок два года. Некоторые члены семьи сразу же заподозрили его слуг в преднамеренном убийстве. Другие думали, что у него был эпилептический припадок. Оба эти предположения, какими бы интересными они ни выглядели, все-таки были беспочвенны. Отец Достоевского, действительно, был убит, и это событие стало поворотным моментом в его жизни. Но у девятилетнего Толстого не было припадков, когда он услышал о смерти своего отца. Это событие прошло в ошеломляющей пелене горя, за которым на следующий год последовала смерть его старой бабушки.

Детей пришлось отдать под опеку тети, сестры покойного графа, графини Александры Ильиничны Остен-Сакен, женщины, которая легко могла сойти со страниц Достоевского. Ее муж был безумным прибалтийским графом, который пытался отрезать ей язык и даже стрелял в нее. Она же находила утешение в благочестивом исповедании православной религии. Она никогда не была так счастлива, как читая жизнеописания святых или, когда она уже не могла читать и собиралась встретиться с ними.

Когда она жила в деревне, в поместье своей покойной невестки в Ясной Поляне, она часто развлекала странных, полубезумных странствующих паломников, которые бродили по грязным дорогам, перемещаясь в те дни, когда не было железной дороги, от города к городу.

*С незапамятных времен такие скитальцы существовали в России, странники, без дома и семьи, не имеющие никаких земных связей, не занимающиеся никаким ремеслом, движимые вперед какой-то безымянной мыслью. Они вели жизнь цыган, но не принадлежали к ним, они бродили по обширным территориям России, перемещаясь от села к селу, из страны в страну... Никто не знал смысла их паломничества. Я убежден, что если бы кого-нибудь из них спросили, куда он направляется и почему, никто не смог бы ответить... Может быть, они бежали от нечто более осязаемого, чем тоска, ностальгия, которую совершенно неописуемо, совершенно непонятно и часто без мотива испытывают только русские[[16]](#footnote-16)*.

Толстой не был уникален в своем чаровании этими любопытными фигурами, но, возможно, из-за духовных пристрастий своей тети он чаще общался с ними, чем со своими сверстниками в школе. Гриша, юродивый, *(святой безумец)*, которого он описывал в детстве, был одним из таких: грязный, с дикими глазами, уродливый и бессвязный. Гриша на самом деле был выдуманным персонажем, составленным из множества образов бродяг, которые, должно быть, проходили через Ясную Поляну в детстве Толстого. В старости он вспоминал, что ни один из настоящих юродивых не произвел на него такого впечатления, как дурачок, сын садовника *(вообще-то, он был помощником садовника – прим.перев.),* которого он подслушал молящимся в оранжерее *(большой зале летнего дома между двумя оранжереями – прим.перев.)*, примыкающей к гостиной, “и действительно поразившего и глубоко тронувшего меня своей молитвой, в которой он говорил с богом, как с живым лицом: «Ты мой лекарь, ты мой аптекарь», - говорил он с внушительной доверчивостью».[[17]](#footnote-17)

Мы можем быть уверены, что его тетя Александра, (которая была настолько святой, что не мылась и издавала “специфический кислый запах”), передала свое благочестие своим подопечным. Его любимой библейской историей была история Иосифа и его братьев, история о младшем сыне, которого братья изгнали и продали в чужую страну, а затем, когда он воссоединился с ними во взрослой жизни, он смог старшинствовать над ними, одарив их зерном, златом и драгоценностями. Привлекательность этого предания для юного сироты очевидна; точно также привлекательна история, в которой “мечтателю” и бездельнику удается добиться мирского успеха в своей жизни. Каждый писатель, пользовавшийся большой популярностью и успехом, должен был вкусить вознаграждения дворца фараонов.

Библия не могла в тот период сыграть столь же важную роль в воспитании православного дитяти, какую она играла у протестантов на Западе. Только в 1818 году, за десять лет до рождения Толстого, появился Новый Завет на современном русском языке, (ранее он был на старославянском языке). У английского ребенка на тот период одной этой книги было бы очень мало для религиозного обучения, в Англии уже имелись Библия, Катехизис и, в более строгих семьях, Книга мучеников Джона Фокса. Малый из русской семьи мог развить свое воображение, глядя на мерцание лампы, темные иконы и бормотание молитв дома; в церкви, в широком смысле, все молятся вместе, как богатые, так и бедные, стоят, зажигают свечи, кланяются, крестятся и присоединяются к пению хора волонтеров. В православной литургии, в отличие от всего, что можно увидеть на Западе, мы видим, как весь народ Божий совершает свою литургию вместе, похожий на куклу священник, бородатая фигура, застывшая в облачении, делает свое дело за ширмой и только время от времени появляется, чтобы благословлять, увещевать или распространять Причастие. Во всем этом не так много упражнений для интеллекта. Здесь нет аналитических проповедей, как это могло бы быть в Шотландии, Швейцарии или Франции. Вероятно, священник едва ли грамотен. Это была не та Церковь, которая произвела на свет столько великих ученых, сколько это сделали церкви Запада, и ее отношение к знаниям было, по меркам Западной Европы, мракобесным и суеверным. Церковным продуктом у православных были только святые.

Тетя Толстого Александра не могла не рассказать ему истории о святых и героях Русской церкви. Она наверняка рассказала ему о том, как русский народ был обращен в христианство киевским князем Владимиром (ум. в 1015 году), с помощью миссионеров, приглашенных из Константинополя.

До своего обращения Владимир был развратником, пьяницей и воином. После крещения он отказался от своих привычек пировать, отверг богатую жизнь и проживал среди бедных, открывая свои ворота калекам и неимущим. Тот, кто раньше так рьяно проливал кровь на ратном поле, убедился, что отнимать человеческую жизнь - это зло. Владимир отменил смертную казнь для преступников, и когда греческие епископы показали ему, что он не прав, поступая таким образом, он остался верен своим убеждениям, что пыткам и смертной казни нет места в христианском королевстве.

Не могла же она не рассказать своим племянникам о сыновьях князя Владимира, Борисе и Глебе, первых двух канонизированных святых русской церкви. Когда Владимир умер, его старший сын Святополк попытался избавиться от других своих братьев и стать единоличным правителем России. Сначала он напал на князя Бориса, своего младшего брата, возглавлявшего войско отца. Но Борис поверил словам Господа Нашего о том, что неправильно отвечать насилию насилием, и позволил зарезать себя. Своим поступком, (ибо Святополк хотел только его смерти), Борис пощадил жизни всех своих воинов. Несколько дней спустя другой брат, Глеб, последовал примеру Бориса*.*

*История Бориса и Глеба показывает, что семена христианской религии упали на благодатную почву в России, и что народ всем сердцем приняла новое верование. Она показывает, что Христианство понималось русскими людьми не как доктрина, не как институт, а в первую очередь, как образ жизни*.[[18]](#footnote-18)

Эти истории запали в сознание Толстого, но вряд ли они могли затмить факт смерти отца. Когда ему было девять лет, и умер его отец, рассказывает Толстой, он не мог поверить, что графа Николая Ильича больше не существует. Гуляя по улицам Москвы, он пристально вглядывался в лица встречных, надеясь, что это будет его отец – деталь, которую он позже использовал, когда маленький Сережа скучал по своей матери Анне Карениной. Небытие его отца было образно непоглощаемый; не такой, как у Бога. Когда примерно в это время школьный друг его брата сказал им, что он сделал великое открытие, они все собрались вокруг, чтобы послушать. Этот ребенок, Володенька Милютин, был мудрым двенадцатилетним подростком, учившимся в гимназии недалеко от дома Толстого в Москве. В ходе учебы ему открылась тайна, что Бога не существует. Более того, все, чему взрослые учили о Нем, было просто вымыслом. Братья Толстые обсудили этот вопрос и решили, что, в конечном счете, Милютин сказал им правду. Несуществование Бога, по-видимому, не особенно смутило их. Возможно, если бы тетя Александра прожила дольше, она могла бы повлиять на детей, чтобы они были более

благочестивыми в общепринятом смысле. А может и нет. Фигурой, которая была гораздо ближе всем детям, и в частности самому Толстому, была дальняя родственница Татьяна Александровна Ергольская.

В его самых ранних воспоминаниях о ней ей было уже за сорок. «Она, должно быть, была очень привлекательна, с ее огромной косой жестких, черных, вьющихся волос, ее черные как смоль глаза и живое, энергичное выражение лица. ...» - написал он. Затем он отстранился. «Я никогда не задумывался о том, красива она или нет». Герой «Воскресения», Нехлюдов, смотрит на портрет своей матери в комнате, где она умерла. Его тошнит от особой тщательности, с которой художник изобразил очертания ее грудей и промежуток между ними, виднеющуюся поверх платья с глубоким вырезом. Было что-то отвратительное и кощунственное в этом изображении матери в виде полуобнаженной красавицы, в том, что он рассматривал свою мать как полуобнаженную красавицу...Это было тем более отвратительно, что в этой же комнате три месяца тому назад лежала эта женщина, ссохшаяся, как мумия, и все-таки наполнявшая мучительно тяжелым запахом, который ничем нельзя было заглушить, не только всю комнату, но и весь дом”[[19]](#footnote-19).

Даже “невинные” образы материнства у Толстого осложнены чувствами секса и смерти. Культуры, более заряженные, чем наша собственная, нужно попробовать на вкус, чтобы в центре внимания оказалась юношеская психика Толстого. (Был ли это св. Алоизий, который был настолько свят, что не хотел оставаться в одной комнате наедине со своей матерью, чтобы она не воспламенилась им в похоти?) Кровосмесительные чувства к матери, которых у него никогда не было, мучили Толстого всю его жизнь.

Тем временем Татьяна Александровна Ергольская, любимая Тант Туанетт, заменила ему мать.

*Должно быть, она любила отца, и отец любил ее, но она не пошла за него в молодости для того, чтобы он мог жениться на богатой моей матери, впоследствии же она не пошла за него потому, что не хотела портить своих чистых, поэтических отношений с ним и с нами».[[20]](#footnote-20)*

Семейные легенды затвердевают и окостеневают. Мы больше никогда по-настоящему не узнаем, что Толстой действительно знал о том, что происходило в сердце его отца в момент смерти матери. Мы можем быть совершенно уверены, что графу Николаю и тете Туанетте помешало жениться не идея Толстого, что отношения тети с детьми были бы более чистыми и поэтичными, если бы она не разделила бы ложе с отцом. Мы даже не знаем, делила она ложе или нет. Для Толстого было важно установить целомудренность своей «маленькой тети». Ее поцелуи и ласки предназначались только ему. Именно она стала причиной физической привязанности маленького Толстого. Именно от нее он узнал «духовное наслаждение любовью». Более того, как мы уже говорили, она научила его «очарованию неспешной, спокойной жизни».

Это урок, который любой ребенок в этой семье должен был бы усвоить. Но шансы усвоить этот урок были сильно подсокращены. Татьяна была с ними в Ясной Поляне летом 1841 года, когда

тетя Александра совершила один из своих частых визитов в знаменитый Калужский скит, ответвление монастыря Оптина Пустынь, который Достоевский прославит в «Братьях Карамазовых». В августе пришло известие, что умерла тетя Александра. Татьяна отправилась в

монастырь, чтобы организовать похороны, а младшие дети остались за городом со слугами и наставниками, занимаясь постройкой «трона» для своей собаки. (Она упала с «трона» и повредила себе лапу.)

Никто из них не понимал значимость смерти тети Александры. Это была четвертая крупная смерть за первые тринадцать лет жизни Толстого, и с точки зрения его судьбы в течение следующих шести лет смерть Александры будет очень важной. Потери родителей и бабушки были непомерны. Но потеря слегка сумасбродной тети Александры фактически вытеснила его, братьев и сестру. Они отдалились от привычных сцен Ясной Поляны и Москвы, оторвались от единственного человека, к которому испытывали самую теплую привязанность. Тетя Татьяна была для них всего лишь очень дальней родственницей, и у нее не было никаких законных прав на детей. Их опекунство, естественно, перешло к единственной оставшейся в живых сестре их отца, графине Пелагее Ильиничне Юшковой.

Старшему брату Толстого, Николаю Николаевичу, к тому времени исполнилось восемнадцать. Он остро ощущал недостаток финансов в семье, пока не достиг совершеннолетия. Он умолял тетю Пелагею, (которую никто из них толком не знал), сделать все возможное для финансовой помощи. Чего дети не понимали, так это того, что существовали «эмоциональные подтексты». Много лет назад полковник Юшков, неизлечимо распутный муж Пелагеи, запал на Татьяну Александровну Ергольскую. Он даже, в свои холостяцкие дни, делал ей предложение. Для мальчика Толстого любовь тети Туанетты была чистой и восхитительной. У его тети Пелагеи были более острые, ревнивые воспоминания об «огромной косе жестких, черных вьющихся волос» и угольно-черных кокетливых глазах, которые соблазнили и ее брата, и ее мужа. Даже спустя двадцать лет это оставалось тем, с чем она не могла смириться. Дети могли бы приехать и жить с Юшковыми в Казани, но Татьяну Александровну (хотя сейчас она была в том возрасте, когда вряд ли могла подтолкнуть полковника к нескромности), следовало покинуть. «Это жестоко и варварски - разлучать меня с детьми, к которым я так нежно относилась почти двенадцать лет», - призналась она как-то одному из корреспондентов.

Графиня Пелагея Ильинична, конечно, была далека от мисс Мёрдстон *(графиня Пелагея не соответствовала суровому и властному архетипу, который символизирует мисс Мёрдстон, героиня романа Диккенса «Дэвид Копперфильд» -* *прим.перев.* ), но вся ситуация носит тот же неизбежно пронзительный характер, что и в викторианском романе. Она и её жизнерадостный, прямодушный муж искренне верили, что делают для детей Толстых всё возможное — и в самом деле, так оно и было. Но в этом в то же время заключалась проблема: лучшее на тот момент — это совсем не то, что им было нужно или чего они хотели. Величественная и немного сумасшедшая атмосфера жизни под покровительством тётушки Александры уступала место более "денежному" и мирскому "комфорту" у её светской сестры. Толстой уходил все дальше от грязи и слякоти сельской местности и мостовых купеческой Москвы к провинциальным улицам Казани. Он покидал вшивых паломников и религиозных фанатиков, которыми окружала себя одна тётушка, чтобы встретить напудренных лакеев и светских пустышек другой тётушки, которые, благодаря тому что жили в Казани, мнили себя важными особами. «Путь пилигрима» подходил к концу, превращаясь в «Ярмарку тщеславия» *(Речь идет об аллегорическом произведении, написанным английским пуританским проповедником Джоном Беньяном, и о произведении Уильяма Теккерея. Автор этим хотел сказать, что на этом этапе своей жизни Толстой отошел от духовных идеалов и оказался под влиянием более мирских, материалистичных устремлений – прим.перев).*

**ГЛАВА 2**

**ИОСИФ И БРАТЬЯ**

1841-1847

*«Вот я и в Азии!»*

Екатерина Великая

С 1841 по 1847 год Толстой жил в Казани[[21]](#footnote-21). Хотя в этот период он посещал разные семейные имения, подростковые годы будущего писателя напоминали своего рода ссылку. Мнения о Казани всегда разнились. Екатерина Великая, побывавшая здесь в 1767 году, писала Вольтеру: «Вот я и в Азии!»[[22]](#footnote-22). Сергей Аксаков, чьи незабываемые школьные годы прошли в Казани, вспоминал зимние месяцы, когда лед на озере Кабан становился ареной знаменитых кулачных боев между татарами и русскими, жившими по разным берегам озера.[[23]](#footnote-23) Александр Герцен отмечал «завуалированные лица татарских женщин, высокие скулы их мужей, мечети верующих, стоящие рядом с православными церквями – все это напоминает Восток. Во Владимире или Нижнем Новгороде чувствуется близость Москвы, но в Казани понимаешь, что Москва далеко»[[24]](#footnote-24). Самый занимательный из английских путешественников в России, сэр Д. Маккензи-Уоллес, упомянув, что Казань когда-то была столицей независимого татарского ханства, позже предупреждает, что «город в целом имеет скорее европейский, чем азиатский характер. Если кто-то приедет сюда в надежде увидеть “восточную экзотику”, он будет сильно разочарован»[[25]](#footnote-25).

Дед Толстого по отцовской линии был губернатором Казани. Город, благодаря своему расположению на Волге, на границе между европейской и азиатской Россией, имел определенное значение, но был далеко не крупным. Как отмечает Маккензи-Уоллес, Казань кажется интересной лишь в сравнении с другими провинциальными городами на Волге.

В период пребывания Толстого в Казани население города не превышало тридцати тысяч человек. Это был оживленный городок, где тетя и дядя находились в центре общественной жизни. Если счастье заключалось в обедах, карточных играх, маскарадах и живых постановках, дом Юшковых был вполне веселым местом для взросления. И Толстой часто наслаждался этими развлечениями. Однако его юность омрачала застенчивость и чувство, что его крупный нос и кудрявые волосы делают его ужасно непривлекательным для девушек. Часы мучительного молчания перед зеркалом сменялись еще более невыносимыми приступами страсти, которые начали терзать его с момента прибытия в Казань. В доме его тети была служанка по имени Маша, которая первой пробудила в нем эти чувства; но он был слишком застенчив, чтобы что-то предпринять. Вскоре после этого Сергей повел своего застенчивого брата в бордели.

Братья Толстые и сестра Марья оставались очень дружными, сплоченными, но это чувство начинало постепенно меняться и исчезать. Николай окончил Казанский университет и поступил на службу в армию. Остальные два брата оказали на Льва Николаевича противоположные влияния. Сергей был светским человеком: с ним можно было выпивать, танцевать и говорить о женщинах. Дмитрий, ближайший по возрасту к Льву, был совершенно иным. Лев, младший всего на год, завидовал его «большим, темным, серьезным глазам», а также способности не только смешить девушек, но и внушать им мысль о своей глубокой серьезности. В старости Толстой вспоминал Дмитрия в казанский период как невинного героя Достоевского. В то время как Сергей и Николай вели распутный образ жизни, Дмитрий «никогда не страдал от обычных юношеских пороков. Он всегда был серьезен, задумчив, чист и решителен, хотя и вспыльчив». Как и старший брат Николай, Дмитрий был абсолютно равнодушен к тому, что о нем думают окружающие; его не заботили одежда, звания или внешний вид — все то, что так волновало подростка Льва.

В этот же период у Толстых была бедная родственница по имени Любовь Сергеевна. «Когда я её знал, она была не только жалкой, но и безобразной. Я не знаю, какая у нее была болезнь, но её лицо было опухшим, как будто его искусали пчёлы. Её глаза были узкими щелочками между опухшими блестящими подушками, лишенными бровей. Её щеки, нос, губы и рот были такими же опухшими, блестящими и желтыми. Она говорила с трудом, вероятно, опухоль была и во рту. Летом на её лице садились мухи, и она их не чувствовала, что было особенно неприятно видеть. Её волосы всё ещё были чёрными, но редкими и не скрывали её кожного покрова на черепе. От неё всегда исходил неприятный запах, и в её комнатушке, окна которой никогда не открывались, воздух был спертым. И эта Любовь Сергеевна стала другом Дмитрия. Он начал ходить к ней, слушать её, разговаривать с ней, читать ей. Мы были настолько невежественны, что только смеялись над этим, тогда как Дмитрий настолько нас превосходил по духовности, что никогда не показывал, что считает своё поведение чем-то особенным. Он просто вел себя подобающим образом. И это нельзя было назвать сиюминутным порывом, наоборот, он постоянно вел себя так, когда мы жили в Казани»[[26]](#footnote-26).

В соответствии с образом наивного героя из произведений Достоевского, Дмитрий был глубоко набожен, хотя его набожность отличалась от той, что была у тети Пелагеи. Она (которая закончила свои дни монахиней после смерти полковника) была особенно заинтересована в ризах и золотых облачениях священников и щедро жертвовала церкви. Дмитрий же был вдохновлен романтикой бедных Христовых последователей. Эта его особенность впервые проявилась во время его первого поста в подготовке к Святому Причастию. Он готовился не в модной университетской церкви, а в тюремной. В тюремной церкви служил очень благочестивый и строгий священник, который в течение Страстной недели читал все Евангелия — это предписывается, но редко выполняется в православной литургии. Дмитрий стоял на протяжении всех этих чтений.

Церковь была устроена так, что заключенные были отделены от остальной паствы стеклянной перегородкой с дверью. Однажды, когда один из заключенных хотел передать что-то дьякону — то ли деньги, то ли свечу для зажжения — никто не согласился помочь ему. Тогда Дмитрий с «серьезным лицом» подошел и передал это сам.

Образ этой тюремной церкви преследовал Толстого всю жизнь. Она вдохновила его на одну из самых мощных и резких атак на православную веру, написанную через сорок лет после смерти Дмитрия. Но на короткое время, когда Толстому было около шестнадцати, под влиянием Дмитрия он почувствовал прилив благочестия. Он исповедовался, причащался и погружался в богатую литургическую атмосферу казанских церквей. Помимо тюремной церкви, в Казани было множество великолепных храмов, где молодой верующий мог молиться, особенно в кафедральном соборе с тремя знаменитыми и чудотворными иконами святых Юрия (Георгия), Варсонофия и Германа. Однако, несмотря на то, что религия была глубоко укоренена в его сущности, ум Толстого долго не находил в ней покоя. Он рассказывал, что однажды, в день университетского экзамена, прогуливался у Черного озера и молился Богу, чтобы сдать экзамен. Но всё же, изучая Катехизис, он ясно понял, что «весь Катехизис ложен».

Примерно в это же время он начал читать Жан-Жака Руссо [[27]](#footnote-27)— писателя, оказавшего, пожалуй, наибольшее влияние на развитие мыслей Толстого. Позже он говорил, что в юности так боготворил Руссо, что хотел бы носить его портрет на шее в медальоне, как святую икону[[28]](#footnote-28). В других разговорах он намекал, что так и поступал. Однако ни этот медальон, ни даже чьи-то воспоминания об этом не сохранились. В старости он любил говорить, что читал всего Руссо помногу раз, даже его «Словарь музыки». Но доподлинно сложно определить, сколько трудов женевского философа Толстой успел прочесть в Казани.

Семейная легенда гласила, что любимым чтением матери Толстого было философское произведение Жан-Жака Руссо «Эмиль, или о воспитании», что превращало эту книгу для Толстого в священный текст, независимо от содержания. Почти наверняка он прочитал «Эмиля» в подростковом возрасте и впитал простое благочестие савойского священника (в четвёртой книге). Этот священник, родившийся крестьянином и рукоположённый до того, как у него появилась возможность усомниться в доктринах католической церкви, начинает искать истину примерно в то же время, когда сталкивается с проблемами, вызванными его неспособностью соблюдать обеты безбрачия. «Моё затруднение удваивалось вследствие того обстоятельства, чт оя родился членом церкви, которая разрешает всё, которая не допускает никакого сомнения, так что один отвергнутый пункт заставлял меня отвергать все остальные; и невозможность принять столько нелепых решений отвращала меня также от тех, которые вовсе не были нелепыми»[[29]](#footnote-29).

Савойский священник не отвергает Бога, но, находя все проявления сверхъестественного и идеи о загробной жизни непостижимыми, он предпочитает сосредоточиться на тех аспектах религии, которые непосредственно касаются его самого: это вопросы морали и совести, которые затрагивают его душу. «Я чувствую в себе душу; я познаю ее чувствои и мыслью: я знаю, что она есть, хотя не знаю, какова ее сущность... Наш первый долг — перед самими собой... Совесть — это голос души, страсти — голос тела... Совесть! Совесть! Божественный инстинкт, бессмертный и небесный; надёжный путеводитель существа несведущего и ограниченного, но мыслящего и свободного»[[30]](#footnote-30).

В различные ключевые моменты своей жизни Толстой вновь и вновь находил в себе веру савойского викария; чем чаще он её находил, тем больше убеждался, что это его собственное внутреннее видение: отсюда и возникала путаница в его сознании — кто именно написал труды Руссо, он или сам Руссо. Очарование Руссо для Толстого не требовало объяснений: принятие практически неуправляемой сексуальной страсти; идея о том, что хотя догмы старой религии ложны, в них можно вновь открыть и обновить ядро моральной истины; любовь к простоте, сельской жизни и убеждённость, что добродетель лучше всего практиковать в уединении от общества. Всё это казалось захватывающим для юного Толстого, когда он читал труды Руссо в своей комнате в доме Юшковых. Руссо, которого Толстой рано связал в своём сознании с образом своей матери, был полной противоположностью всего того, что защищала тётя Пелагея. Её дом и образ жизни подчёркивали социальные различия в самом грубом виде: Руссо учил равенству всех людей. Её салон, где невозможно было расслышать себя из-за пустого шума, был полон громких, счастливых людей; тогда как мрачный подросток Лев Николаевич находил у Руссо, что мудрость лучше всего постигается в уединении. Пелагея считала, что религия заключается в послушании Церкви и любви к её ритуалам; Руссо же полагал, что истинная религия состоит в отказе от догм Церкви и сосредоточении на своей собственной душе и совести.

Тем временем, проявляя ту непоследовательность, которая характерна для почти любого подростка, он продолжал придавать огромное значение ношению модной одежды и униформ, пьянкам, езде на дорогой лошади и демонстрации своего социального превосходства всякий раз, когда сталкивался с детьми низшего дворянства или еще более низкого происхождения. Все воспоминания о нём в этот период, как его собственные, так и других людей, описывают молодого человека с весьма невыносимой высокомерностью и тщеславием, который, несмотря на свои нравоучительные позы, посвящал большую часть своего времени разным видам аристократических шалостей.[[31]](#footnote-31)

Однако это было бы неверным впечатлением. Россияне XIX века, как и современные, были обязаны "служить". Бедный антигерой пушкинского "Медного всадника" "служит" где-то в канцелярии в сияющем городе, возведенном великим тираном Петром. Его безумные попытки убежать от статуи Петра навевают на читателей ужас, показывая полное бессилие обычных, частных лиц перед всепоглощающей мощью автократии. Высшие слои аристократии, не меньше чем безликие маленькие Евгении из пушкинского воображения, также должны были "служить". Именно с этой мыслью строилось и образование Толстых. Старший, Николай, был предназначен для военной карьеры. Толстые находились в положении, которое требовало "служить" на высоких и ответственных должностях. Это делало попытки невинного Дмитрия поступить на государственную службу особенно трогательными. Представ перед государственным секретарем Второго департамента гражданской службы в Санкт-Петербурге, Дмитрий не пытался использовать никакие связи. Его братья считали, что он, возможно, был единственным человеком в России, кто воспринимал слово "служить" буквально. Смиренный и патриотичный, он не хотел использовать своё имя или тот факт, что семьи его матери и отца играли важную роль в истории России на протяжении трёх столетий. Он просто сообщил секретарю о своём чине и объяснил, что решил предложить свои услуги в области законодательства.

— Как вас величать?

— Граф Толстой.

— Вы нигде не служили?

— Я только что окончил курс и желаю лишь быть полезным.

— Какую должность вы изволите желать?

— Для меня это безразлично — лишь бы приносить пользу.

Бедный Дмитрий был слишком хорош для этого мира. Неудивительно, что его попытки «служить» окончились столь плачевно! (Потратив свою короткую жизнь, он умер в убогом гостиничном номере на руках у проститутки.) Лев Николаевич же должен был стать дипломатом, как и многие поколения Толстых до него — решение, которое, вероятно, было связано с его выдающимися способностями к языкам. С репетитором, которого привезли с ними в Казань, младшие Толстые совершенствовали свой французский и немецкий. По прибытии в Казань Лев изучал арабский и тюрко-татарский языки в местной гимназии, а затем поступил в университет в шестнадцать лет. Казань, как географически, так и исторически предрасполагал к изучению восточных языков, и на первом курсе Толстой стал изучать языки. Однако на втором курсе Толстой переключился на юриспруденцию и отказался от дипломатической карьеры.

Эти строки не передают сути, если, говоря об университете, мы представляем что-то вроде нынешнего Казанского университета — с его просторными, хорошо укомплектованными библиотеками, безликими лабораториями и студентами в неприметной одежде — ничем не отличающимися от студентов Гарварда, Парижа или Оксфорда[[32]](#footnote-32). Когда в мае 1844 года Толстой впервые поднимался по склону к Казанскому университету, его взору предстало огромное белое здание гимназии, с ярко-зеленой крышей и куполом. Но вскоре все его романтические представления о жизни в университете развеялись. Один из современных западных историков[[33]](#footnote-33) сравнил Казанский университет того времени с печально известным приютом Дотебойс Холл (*Приют Дотебойс Холл (Dotheboys Hall) — это вымышленное учебное заведение, описанное в романе Чарльза Диккенса "Жизнь и приключения Николаса Никльби" (1838-1839). В книге приют изображён как ужасное и жестокое место, где детей-сирот и тех, кто оказался на попечении государства, подвергали издевательствам и эксплуатации – прим.перев*), а методы его директора с подходом мистера Сквира *(Мистер Сквирс (Wackford Squeers) — это директор этого приюта, жестокий, невежественный и алчный человек, который безжалостно использует детей для своей выгоды – прим.перев.)*. Студенты, получавшие государственные стипендии, были обязаны выполнять тяжёлую физическую работу. Весь университетский двор был разделён на участки, распределённые между учащимися. В воспоминаниях Аксакова здания университета казались « страшным, очарованным замком (о которых я читывал в книжках), тюрьмою, где я буду колодником. Огромная дверь на высоком крыльце между колоннами, которую распахнул старый инвалид и которая, казалось, проглотила меня— две широкие и высокие лестницы, ведущие во второй и третий этаж из сеней, освещаемые верхним куполом; крик и гул смешанных голосов, встретивший меня издали, вылетавший из всех классов, потому что учителя еще не пришли, – все это я увидел, услышал и понял в первый раз»[[34]](#footnote-34).

В гимназии, а еще больше в университете, Толстой впервые начал осознавать реальную жизнь в России, жизнь за пределами своей семьи, жизнь, напрямую зависящую от политики и характера имперской автократии.

Казанский университет был основан только в 1804 году, когда указом Александра I гимназии был присвоен статус университета. В первые годы почти все преподаватели были либо старые учителя гимназии, либо случайные сотрудники, а из семи профессоров первоначального университета большинство были немцами, так как в России просто не было специалистов, способных преподавать на необходимом уровне. Русские, которые проявляли интеллектуальные способности, могли быть уверены, что столкнутся с активными преследованиями со стороны правительства. Выдающийся русский математик начала XIX века Н.И. Лобачевский, чьи новаторские работы по неевклидовой геометрии были признаны учеными по всему миру, не получил такого признания в России. Почти все силы Лобачевского, как профессора математики в Казанском университете с 1827 по 1846 год, уходили на защиту себя и своих коллег от нападок университетского куратора М.Л. Магницкого. Этот человек стремился сам занять кафедру математики, но не добился этого и получил государственную должность куратора университета. Он находился в Санкт-Петербурге и постоянно был настроен враждебно к Казани. Его первый доклад министру просвещения о Казанском университете заключался в том, что университет следует упразднить. Не добившись этого, он продолжал серию атак на всех преподавателей, докладывая министру просвещения графу С.С. Уварову, который сам не был образцом прогрессивного либерализма. Эти нападки принимали такие коварные формы, как проверка записей студентов на наличие признаков подрывной деятельности со стороны преподавателей. А подрывная деятельность, по определению министерства Уварова, была почти неизбежна.

Как мы уже видели, Толстой решил специализироваться в восточных языках в свой первый год в Казани. Однако считалось крайне опасным, если студенты читали что-либо, что могло бы открыть им глаза на то, что не все разделяют доктрины Русской Православной Церкви. Преподавателям восточного факультета было запрещено «вдаваться в подробности религиозных убеждений и обычаев мусульманских народов». Влияние, если оно должно было быть, должно было идти в обратную сторону. Уваров «имел счастье доводить до высочайшего сведения о сем (этом) первом явлении, свидетельствующем, что основательное просвещение может быть принадлежностью и полудиких сыновей степей»[[35]](#footnote-35).

Справедливости ради, в те времена в университете действительно учился хотя бы один бурят-монгол. И хотя от студентов арабского языка ожидалось, что они не будут изучать ничего, связанного с исламом, мусульмане в Казанском университете все же были. В те времена в Оксфорде нельзя было даже поступить в университет, не говоря уже о получении степени, если ты не принадлежал к Англиканской церкви. Замечания Уварова о "полудиких сыновьях степей" не были более абсурдными, чем утверждения Сэмюэля Джонсона о том, что коров нужно выгнать из сада, чтобы оправдать изгнание методистов из Оксфорда. (*Это утверждение является примером саркастической или ироничной критики. Сравнение Сэмюэля Джонсона о "выгоне коров из сада" использовано для того, чтобы высмеять или подчеркнуть абсурдность действий, подобных изгнанию методистов из Оксфорда. Идея в том, что методистов изгнали из университета так же необоснованно и бессмысленно, как если бы кто-то выгонял коров из сада, будто это решит какую-то проблему. Таким образом, Джонсон критикует строгие религиозные ограничения Оксфорда, показывая, что запрет на обучение тех, кто не принадлежит к Англиканской церкви, был абсурдным и неоправданным* *– прим.перев.*)

Необходимо дать некоторые разъяснения по поводу того, что имел в виду министр просвещения под «основательным просвещением», чтобы современный читатель не подумал, что университетские преподаватели поощряли своих студентов к чтению Канта, Руссо, Дидро или Вольтера. Если вы изучали философию в Казани во времена Толстого, обязательной литературой были послания апостола Павла к Колоссянам и к Тимофею. Это было сделано по настоянию Магницкого, известного в частных беседах своими циничными высказываниями по поводу атеизма, но который в своей публичной роли был решительно настроен искоренить «тонкий яд неверия и ненависти к законным властям».[[36]](#footnote-36)

Философское исследование в такой атмосфере было почти неизбежно связано не только с антиклерикальными, но и антигосударственными настроениями. Поскольку правительство Николая I считало себя воплощением православия – и православия крайне репрессивного, невежственного и суеверного типа – было трудно отказаться от этих суеверий, не заявив о своей оппозиции правительству.

Толстой стал одним из самых заметных русских диссидентов XIX века, и его признавали как правительство, так и Ленин, считая, что он на половину выполнил работу революционеров, хотя сам оставался аномалией в политическом спектре. Это объясняется не только личностью Толстого и его происхождением, но и тем, что он учился не в Петербурге или Москве, которые в то время были центрами либерализма, анархизма и недовольства правительством.

Казань времен Толстого не знала «студенческих волнений», которые начали беспокоить её, когда там учился отец Ленина десятилетием позже. К моменту, когда сам Ленин был студентом Казанского университета 80-х годах 19-го столетия, там даже проходили публичные демонстрации против университетского инспектора: именно за участие в этом и исключили Ленина в 1887 году. Во времена Толстого дисциплина была неоспоримой, о чём свидетельствует шок, который его собственное высокомерное поведение вызвало у однокурсников. Когда он и один студент опоздали на лекцию по истории, их на ночь заперли в аудитории, и другой молодой человек был поражён тем, как спокойно Толстой осуждал абсурдность университетской системы и её программы. В Москве такое поведение не вызвало бы удивления, и оно было бы нормой для просвещенного и бунтарского молодого дворянина. В Казани 1840-х годов не было атмосферы политического недовольства, которая могла бы породить такого человека, как Александр Герцен. Весь радикализм Герцена зародился в период его учёбы в Московском университете в 1830-х годах. После того как он покинул свой любимый университет, он продолжил развивать свои радикальные идеи в небольшом кружке единомышленников из числа университетских друзей. Лишь когда этот кружок начал распадаться под давлением преследований со стороны самодержавия, а сам Герцен прошёл через тюрьму и ссылку в Сибирь, он окончательно покинул Россию в январе 1847 года. Пока Толстой лежал в университетской клинике в Казани, «отец русского социализма» пересекал Европу, которая стояла на пороге революций. И хотя Герцен больше никогда не увидел многих из своего кружка, их образы и воспоминания о них остались с ним на протяжении всего его изгнания и нашли отражение в его произведениях. Несмотря на то, что Герцен был страстным индивидуалистом по своим убеждениям, как и многие радикалы и революционеры в России, которые воспринимали его как символ сопротивления, его поддерживала мысль о своём маленьком сообществе. Толстой, чья бунтарская натура была аналогичной, но в конечном итоге совершенно иной, в юности не испытывал такого утешительного чувства принадлежности к интеллектуальному кругу.

Толстой откровенно признавался, что выбирал университетских друзей, исходя из их внешности. Ему было приятнее прокатиться в санях, закутавшись в плед с каким-нибудь симпатичным молодым человеком, чем обсуждать мировые проблемы. Ночные часы были посвящены пьянкам и походам по девицам, а не утончённым политическим дискуссиям. Заниматься политикой, а не просто испытывать неопределённое недовольство миром, в Казани было бы трудно, если бы там не существовало значительного политически активного студенческого движения. Но такого движения не было.

Если взглянуть на статистику, его изоляция кажется даже более преувеличенной, чем он сам мог её ощущать или создавать. Когда Толстой учился в Казани, население Российской империи составляло около шестидесяти миллионов человек. Перепись, проведённая пятью годами ранее (и нет причин полагать, что за период 1842–1847 годов произошло значительное увеличение числа студентов), показала, что в университетах всей империи обучались всего три тысячи четыреста восемьдесят восемь студентов. Из них в 1842 году только семьсот сорок два человека получили дипломы.

Высшее образование, которое в Советском Союзе, как и в современном Западе, является идеалом для всех, кто способен его получить, в те времена затрагивало лишь крохотную часть населения России. И после года изучения восточных языков Толстой перешёл на юридический факультет. Это сделало его частью ещё более узкого круга избранных, ведь только представители высших слоёв аристократии могли изучать юриспруденцию в российских университетах эпохи старого режима.

В то время его профессором был человек по имени Д. И. Мейер, который в 1849 году, ещё до того, как Толстой стал знаменитым, записал свои впечатления о юноше: «Я дал ему экзамен сегодня и заметил, что у него нет никакого желания учиться. У него такие выразительные черты лица и такие умные глаза, что я уверен: при доброй воле и независимости он может стать выдающимся человеком».[[37]](#footnote-37)

Вдохновлённый профессором Мейером, Толстой решил, что действительно хочет учиться. Так же, как благочестие Дмитрия на короткое время побудило его стать набожным православным, а разврат Сергея заставил его примерить роль повесы, восхищение профессором права (единственным человеком в Казани, который вдохновил его на такую преданность) заставило Толстого захотеть сдать экзамены. «Для меня главный признак любви — это страх обидеть или не угодить объекту своей любви: просто страх».

Мейер поручил Толстому подготовить диссертацию, сравнивающую «Наказ» Екатерины Великой и «Дух законов» Монтескьё. Его дневники за это время показывают, что Толстой считал это чрезвычайно полезным упражнением. В его записях нет ничего, что указывало бы на будущие анархистские позиции. Никаких намёков на критику автократии. Как мы уже отмечали, было бы немыслимо, чтобы студент того времени открыто критиковал правительство в официальной работе, не подвергнув себя и своего преподавателя риску. Но судя по его частным заметкам, нет оснований полагать, что Толстой испытывал враждебность. Единственный намёк на его будущую позицию виден в его осуждении смертной казни; но ничто не было менее «толстовским», чем его убеждение, что хорошие законы должны быть синонимом морали.

Можно задаться вопросом, как ученик Руссо мог принять деспотические идеи Екатерины Великой, которую в зрелом возрасте Толстой назвал «глупой, неграмотной и развратной девицей». Ответ, вероятно, кроется в том, что в девятнадцать лет Толстой ещё не был сформировавшейся личностью. Как и большинство девятнадцатилетних, он был многоликим: и романтическим революционером, и человеком, стремившимся сделать карьеру на государственной службе; свободолюбивым поклонником природы и, временами, православным, терзаемым виной.

Эта вина была сексуальной. Типично для Толстого, который любил сохранять все в рамках семьи, то, что к проституции его приобщили братья. Кажется, что ему было около четырнадцати лет, когда его старший брат Сергей впервые привел его в бордель. Толстой рассказывает, что после того, как он «совершил этот акт», он стоял у кровати и плакал.[[38]](#footnote-38)

Сложно сказать, действительно ли это произошло. Историки озадачены воспоминаниями Толстого о том, что это важное событие в его личной истории произошло в комнате одного из монастырей в Казани, предназначенной для подобных встреч.

Впоследствии Толстой получил множество подобных опытов, которые дополнили его первое разочаровывающее знакомство с казанской девицей: горничные, цыганки, крестьянки, а в конце концов и жена делили с ним постель и становились свидетелями жестоких противоречий между его плотскими желаниями и духовным отвращением к половому акту. В этом факте — если Толстой действительно потерял девственность в монастыре — есть некая манихейская закономерность. Будь это правдой или нет, образы, которые возникли у него на склоне лет, — неудержимые желания, подстрекательство брата, соблазн женщины и последующий горький стыд — рассказывают свою неотвратимую историю. Он плакал, но все же поддался. Мало кто из художников испытывал столь преувеличенное чувство сексуальной вины; немногие также неловко справлялись с этим в личной жизни, как он, но, в то же время, умели так творчески использовать это в литературе.

Некоторые причины его мучительных чувств по поводу секса, вероятно, кроются в прошлом, которое в духе Фрейда почти невозможно восстановить — возможно, даже до смерти его незапомненной матери. Однако другие причины более очевидны, и одна из них — три года, проведенные в борделях, которые оставили Толстого заражённым гонореей. В клинике венерических болезней проще всего начать ненавидеть своё тело. Как раз в тот момент, когда его учёба шла хорошо, Толстой заметил неприятные симптомы выделений и жжения и был отправлен на лечение в университетскую клинику.

Сам факт наличия университетской клиники венерических болезней в таком маленьком городе, как Казань, свидетельствует о распространённости проблемы. Россия XIX века, как и западные страны того времени, страдала от венерических заболеваний. Взглянув на медицинскую историю прошлого столетия, с её блистательным списком известных сифилитиков, от Авраама Линкольна до Бодлера, можно подумать, что единственным средством профилактики был целибат. Возможно, что отец Толстого также страдал от сифилиса — его внезапная смерть и гиперактивность его детей были выдвинуты как возможные симптомы этого заболевания — но никаких доказательств этому нет. Сам Толстой, по сравнению с другими, был счастливчиком, столкнувшись с гораздо менее опасной, хотя и крайне неприятной, гонореей.

Лечение гонореи ртутью было совсем не шуткой. Одной из опасностей этого заболевания является стриктура уретры — невозможность мочеиспускания, что приводит к отравлению организма. Именно это погубило Джеймса Босуэлла, биографа Сэмюэля Джонсона и многолетнего страдальца от гонореи. Считалось, что ртуть очищает и расширяет проходы. Но жидкий металл сам по себе не так просто вводится в те области тела. Его нужно было вводить через мужской половой орган. Можно только восхищаться природой, которая позволяла известным ловеласам, вроде Босуэлла и Толстого, не утрачивать охоты за женщинами, несмотря на то, что одно неудачное обстоятельство могло вновь привести их в клинику с её примитивными шприцами и сомнительными медиками.

Мы уже отмечали изоляцию Толстого в мире. История сделала его представителем меньшинства внутри аристократии, лишив при этом многих привилегий этого класса. Он был членом одной из старейших аристократических семей, но её обедневшей ветви. Осиротев, он не рос ни в устоявшемся мире московского общества, ни в захватывающей атмосфере столицы Санкт-Петербурга.

Теперь, в девятнадцать лет, он физически оказался в изоляции в клинике. Это был первый случай в его жизни, когда он остался полностью один. Даже на лекции или прогулки Толстой, как и большинство благородных юношей, ходил в сопровождении слуги. (Александр Герцен был таким же — у него всегда был лакей, который носил его книги в Московском университете.) Толстой подружился со своим слугой, которого звали Ванюша. Но теперь и он был удалён. Не было ни братьев, ни кузенов, ни шумных друзей. Только боль, стыд и пустые стены клиники, нависшие над ним. Именно в этой вынужденной уединённости Толстой впервые начал вести дневник. Первые его слова были: «Шесть дней, как я в клинике... У меня гонорея, откуда обычно её и получают».

Именно в тот день, когда он написал эти слова, можно сказать, началась истинная история Толстого. В конце концов, то, за что мы ценим его и находим его историю интересной, — это его воображение. Толстого ожидали приключения — он видел, как в Париже казнили человека, участвовал в Крымской войне. Но в основном внешние обстоятельства его жизни были не более интересны, чем у любого другого русского дворянина XIX века. Что выделяет его — это то, что произошло, когда он начал вести дневник, который со временем перерос в практику написания художественной литературы.

С большими перерывами он оставался компульсивным дневниковедом до конца своих дней. Дневник был для него исповедальней, записной книжкой, каталогом моральных законов. Это не был дневник, в котором много внимания уделялось другим людям. В центре внимания всегда был Толстой сам. Именно поэтому этот дневник был больше не средством самозаписи, а инструментом для самопроекции. Толстой не фиксировал, каким он был на самом деле, скорее проецировал образ, каким он хотел бы быть. Именно в этом процессе проекции и трансформации лежат истоки его художественной литературы.

7 апреля в своем дневнике Толстой задал себе вопрос: «В чем смысл жизни человека?» и пришел к выводу, что это «развитие» — что бы это ни значило — «развитие всего, что существует». Судя по всему, Толстой имел в виду, что он должен реализовать весь свой потенциал и таланты, потому что он добавляет: «Я был бы самым несчастным человеком, если бы не нашел цели в жизни — цели как общей, так и полезной — полезной потому, что моя бессмертная душа, когда полностью созреет, естественным образом перейдет в более высокое существование, соответствующее ей. Так что вся моя жизнь будет постоянным и активным стремлением к этой единственной цели...»[[39]](#footnote-39)

Ни слова о предстоящих экзаменах; ни слова о том, чтобы покинуть университет. Однако два дня спустя, 19 апреля 1847 года, он подал прошение университетским властям с просьбой разрешить ему вернуться домой «по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам». В этот день он просто записал в дневнике: «Встал очень поздно и только в два часа дня решил, чем заняться»[[40]](#footnote-40). Если вырвать эту фразу из контекста, это могло бы показаться днем ленивого безделья. Однако поскольку она совпадает с подачей прошения о возвращении домой, можно предположить, что решением, принятым в два часа, был именно этот выбор — вернуться в Ясную Поляну. Без объяснений.[[41]](#footnote-41)

К этому моменту Толстой уже покинул клинику и снова жил со своими братьями Сергеем и Дмитрием. Некоторое время назад они переехали из дома Юшковых и жили со своими слугами в отдельной квартире. Записей о том, выдворил ли полковник Юшков их за шумное поведение или они просто устали от его общества, не сохранилось. Возможно, в доме Юшковых просто не хватало места.

Итак, что же произошло между 17 апреля, когда Толстой выражал свое горячее желание «изучить весь курс права, необходимый для финального экзамена в университете», и его прошением об уходе 19 апреля? Необходимо учитывать два факта. На экзаменах прошлого года Толстой провалился с треском. Освоив арабский и основы других восточных языков, он провалился на простых географических вопросах во время устной части экзамена. Какие главные порты Франции? Он не имел ни малейшего представления и показал столь же глубокое незнание самых элементарных фактов российской истории. Возможно, он просто не хотел снова пережить это унижение. В те времена было совершенно нормально посещать университет, не получая диплома.

Второй факт гораздо важнее: 11 апреля 1847 года Толстой вступил в наследство. Первое ощущение одиночества в клинике было одновременно и угнетающим, и возбуждающим, временем, когда, возможно, как никогда прежде, он осознал, что его жизнь принадлежит ему самому. Примечательно, что с детства Толстой был увлечен библейской историей о Иосифе и его братьях. В этой истории второй младший член великой семьи, пройдя через период разлуки с ними, добивается такого возвышения, что становится их господином, держа в своих руках их жизнь и судьбу. Но этого успеха он достигает только после того, как на время разлучается с братьями и доказывает свою состоятельность в Египте.

Николай уже ушел в армию. Сергей заканчивал курс в Казани, что оставило бы Толстого с братом Дмитрием, которого он прозвал «святым дурачком». И хотя он идеализировал Дмитрия в своих воспоминаниях, важно отметить, что между тем временем, когда Толстой уехал из Казани в 1847 году, и смертью Дмитрия они почти не виделись.

Сложный процесс раздела наследства их родителей обсуждался с попечителем завещания их отца с прошлого лета. В частности, они беспокоились о том, чтобы Марья не осталась в бедности. Исполнитель завещания написал Николаю, который находился на Кавказе: «Я знаю вашу братскую любовь к Марье Николаевне, которая любит вас, как отца».

Окончательное соглашение оставило Марье имение Пирогов с около 150 душ крепостных и 958 десятинами земли. Другие имения и души были разделены между братьями. Примечательно, насколько справедливо они разделили имущество. Например, Николай получил большее имение Плотицна с более чем 1000 десятин земли и 317 крепостными; Сергей, который любил лошадей, получил конный завод и главное имение наследства — Пирогово с 2075 десятинами. Однако эти братья выплатили младшим компенсацию «рублями серебром». Николай выплатил Льву 2500 серебряных рублей; Сергей — 1500 серебряных рублей. Дмитрий получил 7000 серебряных рублей от Сергея, а также 331 душу крепостных и имение площадью 1000 десятин.

Кроме рублей, Лев унаследовал различные имения в Тульской губернии: Ясенки, Ягодную и Мостовую Пушотшу, а также Малую Воротинскую. По обычаю, младший сын наследовал имение, где росла семья, и Лев также унаследовал имение Волконских в Ясной Поляне. В итоге он стал владельцем около 1485 десятин земли и 330 крестьян — «душ», как их тогда называли.

Перевести эти статистические данные в осязаемые или представимые реалии довольно сложно. Так насколько богат был Толстой? Гораздо беднее, чем его экстравагантный дед, бывший губернатором Казани. Богатейшие семьи России, такие как Шереметьевы, имели доходы в районе семисот тысяч рублей в год и владели двумястами тысячами «душ»[[42]](#footnote-42). В целом, высшие слои дворянства, к которым принадлежали родители Толстого, могли рассчитывать на владение более чем тысячей душ, в то время как у «дворянства» их было около пятисот. Если у вас было меньше ста «душ», вас считали принадлежащим к «обедневшему» дворянству.[[43]](#footnote-43) Семья Толстого, безусловно, опустилась в последние двадцать лет. С другой стороны, унаследовать в девятнадцать лет четыре тысячи рублей, 1485 десятин земли и триста тридцать крепостных — это не совсем бедность.

Наследство было оформлено официально 11 апреля 1847 года, вскоре после того как Толстой покинул клинику. Экзамены все еще маячили на горизонте, и он решил усердно к ним готовиться. Но его решимость продержалась ровно неделю. 19 апреля он попросил разрешение выйти из университета и, оставив Дмитрия и Сергея продолжать учебу, уехал из Казани в Ясную Поляну.

Говорить о том, что Толстой «решил» бросить учебу в университете или «принял решение» покинуть Казань, подразумевает как некую финальность, так и рациональность, которые на самом деле отсутствовали. Единственное рациональное объяснение его отъезда заключается в том, что не было никакого объяснения. По наитию он решил вернуться к «тётушке». Не в последний раз в своей бурной жизни внутренний кризис был разрешен бегством.

**ГЛАВА 3**

**ИСТОРИЯ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ**

1847-1850

*«... мы чувствуем свое призвание только тогда, когда уж раз ошибемся в нем...»*

Утро помещика

Весна только начинала пробуждаться, когда Толстой вернулся домой в апреле 1847 года.[[44]](#footnote-44) Имение Толстого с его деревнями, фермами и хозяйственными постройками располагалось в приятной, холмистой местности. Колеса кареты преодолевали изрытые выбоины, катились по колее, которую русские девятнадцатого века умудрялись назвать настоящей дорогой. Она пролегала между двумя башенками, возведёнными старым князем Волконским в эпоху Наполеоновских войн, словно ворота в историю, наполненную эхом канонад и героических сказаний.. Теперь их побелка облезла, а кирпичная кладка, несмотря на всего лишь тридцать лет, выглядела ветхой. Проехав башни, карета въезжала в аллею серебристых берез, почти ставшую клише патриотизма и ностальгии в русской литературе. А в конце аллеи стоял двухэтажный белоснежный дом, который поначалу напоминал колониальную архитектуру Новой Англии. Неподалёку находился не менее элегантный одноэтажный флигель для прислуги, построенный дедом Волконским и оснащённый помещениями для крепостных, мастерскими, станками для ткачества и ковроткачества, а также швейными и кружевными мастерскими.

Крестьяне, пришедшие поглазеть на нового помещика, были ужасно неопрятны и нищи. Сама усадьба дом с небольшого расстояния имела все признаки запустения и упадка. Английский сад, посаженный давным-давно старым Волконским, зарос. Дорожки были грязными, заросшими сорняками. Крыша находилась в удручающем состоянии. Деревянные элементы веранды, некогда украшенные изящной резьбой, теперь гнили и покрывались трещинами. На веранде его ждала тётушка Татьяна. После девятнадцати лет полных эмоциональных потрясений и поездок это было возвращение домой.

Для многих место рождения — лишь точка на карте. Однако для Толстого наследие Волконских означало куда больше, чем просто собрание деревянных строений и заброшенных аллей. Дом был для него не просто местом — он был частью его сущности, единственным стабильным элементом в жизни, постоянно меняющейся с тех пор, как ему исполнилось два года. Его судьба неоднократно кидала его то в Москву, то в Казань, то к одной тёте, то к другой. Ясная Поляна, подобно тётушке Татьяне, оставалась неизменной, и именно сюда они всегда стремились вернуться на летние каникулы.

Значение Ясной Поляны для Толстого не ограничивалось лишь воспоминаниями; его сущностью были события и личности, уходящие корнями глубже его собственной памяти. Реконструкция мира Волконских, их жизни и общества не была простым увлечением семейной историей; это стало для него животрепещущей эмоциональной потребностью. Недостижимость этого поиска, его постоянное ускользание, стало ключевым аспектом его творчества. Даже в преклонные годы, когда он долгие годы жил в Ясной Поляне, его дневник сохранял записи о прогулках по саду и раздумьях о матери. «Да, да, маменька, которую я никогда не называл еще, не умея говорить. Да, она, высшее мое представление о чистой любви, но не холодной, божеской, а земной, теплой, материнской. К этой тянулась моя лучшая, уставшая душа. Ты, маменька, ты приласкай меня».[[45]](#footnote-45)

Внутри дома стоял зелёный кожаный диван, на котором родился сам Толстой и на котором (часто с большим неудобством для жены) он настаивал, чтобы родились многие из его детей. Этот фетиш имеет столь очевидное значение, что его не нужно подчёркивать. Он сам говорит за себя. Бродя по холодным, пыльным комнатам, девятнадцатилетний наследник видел Толстых и Волконских, смотревших с портретов на него: дяди, кузены, бабушки и дедушки, но не мать. («По странной случайности не осталось ни одного ее портрета, так что как реальное физическое существо я не могу себе представить ее. Я отчасти рад этому, потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и всё, что я знаю о ней, всё прекрасно, и я думаю — не оттого только, что все, говорившие мне про мою мать, старались говорить о ней только хорошее, но потому, что действительно в ней было очень много этого хорошего.»)[[46]](#footnote-46) Однако мужчины в мундирах, взирающие со стен коридоров и столовой, имели более чем физическое присутствие: они смотрели на молодого Толстого с мрачным презрением.

Ясная Поляна знала лучшие времена. Россия знала лучшие времена. И род Толстых тоже знал лучшие времена. Во времена Екатерины Великой они были генералами, дипломатами, министрами при дворе. И хотя некоторые Волконские и Толстые ещё оставались при дворе его величества, это были дальние кузены, и их существование лишь усиливало чувство бедности и отсутствия цели у Толстого. Неудивительно, что Толстой почувствовал настоятельную необходимость сделать что-то для Ясной Поляны: что-то, чтобы улучшить имение и физическое благосостояние своих крепостных. Сам Николай I, отнюдь не опасный либерал, на заседании Государственного совета в 1842 году признал, что «нет сомнения, что крепостное право в нынешнем виде в нашей стране – зло, явное и очевидное для всех». Однако Николай утверждал, что дать им свободу и ввести реформы сразу же означало бы вызвать лишения и социальные беспорядки. Как и многие последующие правительства, он призывал к «постепенному переходу к другому порядку» и обвинял во многих бедах тех неразумных помещиков, которые пытались обучать своих крепостных сверх того, что диктовало им их положение. К этому благородному сословию вскоре устремился и Толстой. Он интуитивно чувствовал, что надо все привести в порядок, что необходимо улучшить условия жизни крепостных, дать им больше свободы в управлении своими делами. Однако пропасть между крепостными и их молодым барином была огромной, и Толстой вскоре начал размышлять, пусть даже в своём небольшом масштабе, над этой российской болезнью XIX века. Те, кто был воспитан или получил образование для управления страной, не были наделены властью автократией. Но даже если они и не могли участвовать в процессе управления, они склонны были устремляться в города. Однако наградой за их положение было владение землёй и крепостными. Таким образом, Россия была изрезана множеством заброшенных поместий, чьи владельцы были либо некомпетентны, либо не желали брать на себя ответственность за них. Иногда имения оставляли на попечение управляющего; иногда их просто забрасывали, и «души», принадлежащие этим отсутствующим или нерадивым помещикам, могли катиться ко всем чертям. В девятнадцать лет Толстой столкнулся с дилеммой, связанной с его наследством. Тот факт, что его имение имело для него глубокое эмоциональное значение, только усугублял трудность выбора. Помимо задач по управлению имением, Толстой изобиловал планами насчёт своей собственной жизни. Он представлял из себя необычное сочетание крайней лени и туманных амбиций. До этого момента его жизнь текла в полном беспорядке. На следующие два года он начал строить планы:

(1) Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в университет. (2) Изучить практическую медицину и часть теоретической. (3) Изучить языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский. (4) Изучить сельское хозяйство, как теоретическое, так и практическое. (5) Изучить историю, географию и статистику. (6) Изучить математику, гимназический курс. (7) Написать диссертацию. (8) Достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи. (9) Написать правила. (10) Получить некоторые познания в естественных науках. (11) Составить сочинения из всех предметов, которые буду изучать.[[47]](#footnote-47)

Довольно обширная программа. Неудивительно, что времени на написание романа у него не нашлось. На самом деле, такая мысль даже не приходила ему в голову. Этот список (включающий медицину и сельское хозяйство) частично показывает, что Толстой хотел учиться, чтобы стать ответственным помещиком. Одним из поразительных моментов в жизни Толстого, рассматриваемой в целом, является то, что он довольно тщательно выполнил эту трудоемкую программу обучения. К языкам он также добавил знание турецкого и арабского, а в более поздние годы — греческого и голландского. Возможно, он так и не достиг совершенства в живописи, но во всех других областях он стал достаточно компетентен, в основном благодаря острому осознанию того, что в юности эмоционально было невозможно усидеть на месте и получить образование. Было бы нереалистично думать, что в девятнадцать лет, оставшись в деревне наедине с любимой «тетушкой», он найдет либо необходимую мотивацию, чтобы начать, либо внешнюю дисциплину, чтобы продолжить такой курс обучения.

В первые месяцы в Ясной Поляне он наслаждался свободой от Казани и острым чувством возвращения домой: было радостное открытие мест, где прошли его детские годы, и разнообразные впечатления от посещения крестьянских изб (хижин) с отвращением, охоты на зверей и приема соседей и родственников. Никакие его планы на этом этапе не имели шансов на осуществление, за исключением, пожалуй, его решения записывать правила. Он был в этом хорош. Из-под его пера текли правила для управления эмоциями, правила для подчинения воли чувству любви («Держись подальше от женщин» — малая надежда на это!), правила для возбуждения чувств всеобщей любви, правила для развития различных способностей, таких как умение делать выводы. Однако в жизни никаких выводов сделано не было.

Как мы уже говорили, одной из очевидных причин, почему Россия находилась в таком хаосе, было то, что владельцам имений было слишком скучно жить в них. Вкусы и стремления, отраженные в правилах Толстого, явно не могли быть удовлетворены ни тетушкой (хотя она была умной и стимулирующей), ни крестьянами (сколь бы ни привлекали его они в воображении и сексуально). Толстому были нужны друзья, гостиные, концертные залы, библиотеки — короче говоря, ему нужен был город. Культ Руссо о сельской жизни и примитивности захватил его воображение, пока он был окружен шумной атмосферой Казани. Тем не менее, на практике, после первых нескольких месяцев, Ясная Поляна начала его ужасно тяготить.

Его двоюродный брат (и будущий шурин) Валерьян Петрович Толстой приехал к нему в конце лета перед тем, как вернуться на службу в Сибирь. Когда тарантас Валерьяна отъезжал, Лев Николаевич внезапно запрыгнул в него, совершенно готовый в моменте отправиться проводить зиму в Сибири. Почему бы и нет? Чем ещё заниматься? Валерьян указал на то, что хотя Лев Николаевич взял с собой немного ручной клади, на голове у него не было шапки, что могло бы быть не совсем удобно в Сибири. Толстой остановил тарантас и слез с него. Эта маленькая история указывает на полное отсутствие цели и ориентированности в жизни на тот момент. Это мы знаем, что перед нами Толстой и что однажды он напишет «Войну и мир». Но молодой человек этого еще не знал.

Когда он унаследовал Ясную Поляну, он был точно так же потерян, как любой из романтических героев ранней русской литературы XIX века, так же ленив, как Чацкий или Оленин. Это, кстати, отличный пример того, насколько опасно некритично использовать художественную литературу в качестве источника для биографии Толстого. Никто, например, не сомневается, что роман, который он позже планировал, но так и не завершил, под названием «Русский помещик», во многом опирается на этот период воспоминаний и вдохновения. «Да, — сказал старый Толстой, прогуливаясь по имению со своим немецким биографом Лёвенфельдом, — вот мы и находимся в самом том селе, где молодой помещик пережил все свои разочарования. » [[48]](#footnote-48)

Но, в отличие от самого Толстого, герой романа изображен в решительно ясных тонах. На первой же странице мы встречаем девятнадцатилетнего князя, который закончил университет (в отличие от Толстого) и который, проведя лето на своем имении, пишет своей любимой тетке о том, что собирается посвятить себя улучшению жизни своих крестьян.

«Как я вам писал уже, я нашел дела в неописанном расстройстве. Желая их привести в порядок и вникнув в них, я открыл, что главное зло заключается в самлм жалком, бедственном положении мужиков, и зло такое, которое можно исправить только трудом и терпением. Если бы вы только могли видеть двух моих мужиков, Давыда и Ивана, и жизнь, которую они ведут со своими семействами, я уверен, что один вид этих двух несчастных убедил бы вас больше, чем все то, что я могу сказать вам, чтоб объяснить моё намерение. Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастии этих семисот человек?»[[49]](#footnote-49)

Толстой, как замечают, вдвое увеличил размер своего наследства ради художественной правды. Он не только предстаёт более альтруистичным, чем на самом деле; он также показывает себя более богатым. Евгений Онегин и другие герои испытывают похожие благотворительные чувства по отношению к "душам" в их владении; нет оснований сомневаться в искренности желания Толстого улучшить участь таких людей, как Иван и Давыд. В творчестве Гоголя, Лескова и других авторов мы часто встречаем трагикомический образ либерального помещика, который старается улучшить жизнь своих крестьян. Однако его усилия встречаются с глубоким недоверием, которое никогда не коснулось бы бесчувственных управляющих или старомодных помещиков, издевавшихся над своими подчинёнными.

В рассказе Лескова о реформе, названном «Злой человек», наивные крестьяне крайне недолюбливают своего либерального английского управляющего, мистера Денна. «Он не хотел меня высечь», — жалуется один из них. Ситуация не улучшается, пока они не сожгут водочный завод, построенный Денном для их блага, и пока некоторые из них не подвергнутся порке, не окажутся на каторжных работах или не будут сосланы на каторгу в Сибирь. Только тогда они начинают понимать своё место. Толстой не прибегал к таким грубым ирониям в «Утре помещика», но он явно отражает свое уныние перед безнадёжностью крестьянских условий, с которыми он столкнулся летом 1847 года. Однако уныние — это не всё, что он испытывал, столкнувшись с огромной пропастью между собой и своими крестьянами. Глубокое усвоение идей Руссо склоняло его к вере в благородного дикаря, в то время как что-то более глубокое тянуло его к крестьянам в поразительно необычной манере. Фрагмент заканчивается типичной для Толстого нотой: он желает, чтобы он был крестьянином, и не просто любым крестьянином, а конкретным — Ильей. Здесь нет ничего общего с Марией Антуанеттой. То, что Толстой завидует в Илье, — это его предполагаемая способность откликаться на жизнь спонтанно и естественно. Это не столько христианская добродетель Ильи, сколько его языческая самоотдача привлекает князя Нехлюдова: красивый, румяный белокурый парень, современный царь Давид, крестьянин прибывает на своей телеге к трактиру:

Илья весело здоровается с белолицой, широкогрудой хозяйкой трактира, которая спрашивает: «Издалече ли? И много ли ужинать будут?» с удовольствием поглядывая на красивого парня своими блестящими, сладкими глазами. Вот он, убрав коней, идет в жаркую, набитую народом избу, крестится, садится за полную деревянную чашку, ведя веселую речь с хозяйкой и товарищами. А вот и ночлег его под открытым звёздным небом, где он будет лежать на пахучем сене, около лошадей, которые, переминаясь и похрапывая, перебирают корм в деревянных яслях. Он подошел к сену, повернулся на восток, и раз тридцать сряду перекрестив свою широкую, сильную грудь и встряхнув светлыми кудрями, прочел «Отче» и раз двадцать «Господи, помилуй», и увернувшись голвоой в армяк, засыпает здоровым, беззаботным сном сильного, свежего человека. И вот он видит во сне город Киев с угодниками и толпами богомольцнв, Ромен с купцами и товарами, видит Одест и далёкое синее море с белыми парусами и город Царьград [т.е. Константинополь] с золотыми домами и белогрудыми, чернобровыми турчанками — куда он летит, поднявшись на каких-то невидимых крыльях. Он свободно и легко летит все дальше и дальше, и видит внизу золотые города, облитые ярким сияньем, и синее небо с частыми звездами, и синее море с белыми парусами – и ему сладко и весело лететь все дальше и дальше...

«Славно!» — шепчет себе Нехлюдов, и мысль: зачем он не Илюшка – тоже приходит ему»[[50]](#footnote-50)

Этот безумный вопрос будет возвращаться к Толстому снова и снова на протяжении его жизни. Даже на смертном одре (хотя к тому времени мысль уже окрепла доктриной) он усердно размышлял, каково это — быть спонтанным, и соединял это размышление с его восхищением мужиком.

Илья, как и многие благородные дикари в молодой фантазии Толстого, не чувствует сексуальной вины. Он может встряхнуть своими кудрями, перекреститься, а затем мечтать без мучений о пышногрудых турчанках. Но не так было у Льва Николаевича, чьё отношение к сексу колебалось между неудержимым сексуальным аппетитом и болезненным самоукором. Его дневник, когда он мог заставить себя писать в нём, является каталогом «правил», прерываемых помпезными юношескими обобщениями: «От кого получаем мы сластолюбие, изнеженность, легкомыслие во всём и множество других пороков, как не от женщин? Кто виноват тому, что мы лишаемся врождённых в нас чувств: смелости, твердости, рассудительности, справедливости и др., как не женщины? Женщина восприимчивее мужчины, поэтому в века добродетели женщины были лучше нас, в теперешний же развратный, порочный век они хуже нас».

Эти чувства отвращения очень заметны, когда он может заставить себя в дневниках упомянуть о самом сексуальном акте, а не уклоняться в такие кодовые выражения, как «я недоволен собой», за проступок в невоздержанности. Например, весной 1851 года мы находим у него запись: «Не мог удержаться, подал знак чему-то розовому, которая в отдалении казалась мне очень хорошим и отворил сзади дверь. – Она пришла. Я ее видеть не могу, противно, гадко, даже ненавижу, что от нее изменяю правилам».

Было много таких моментов в годы безделья после того, как он впервые покинул Казань. Летом в Ясной Поляне он влюбился в служанку по имени Дуняша. Она недавно вышла замуж за управляющего по имени Орехов, и молодой помещик устроил так, чтобы пара спала в соседней комнате, чтобы он мог представлять, что за стеной его спальни, а возможно, даже мучительно прислушиваться к их безгрешному счастью. В другой год это была служанка его тети Татьяны, девушка по имени Гаша, которая забеременела от него. Этот инцидент, как говорится в его поздних беседах с Бирюковым, был изменен и драматизирован в теме его позднего романа "Воскресение". Однако Гаша, в отличие от Масловой, не проходила через грех и позор, а была переведена в качестве служанки в доме сестры Толстого.

Но несмотря, или, возможно, из-за удовольствий и моральных мучений, которые доставляли служанки и крестьянки, жизнь в деревне для Толстого была так же скучна, как и для Евгения Онегина.

Потом увидел ясно oн,

Что и в дepeвнe cкyкa та жe,

Xоть нет ни yлиц, ни двopцoв

Hи кapт, ни бaлoв, ни cтихoв . . .[[51]](#footnote-51)

В течение следующих двух лет Толстой проводил летние месяцы в Ясной Поляне, а зимой он снимал квартиру, которую разделял с другом, в Арбатском районе Москвы.

Москвич двадцатого века удивился бы, вернувшись в Москву 1850 года, её маленькому размеру и новизне. В 1812 году это был в основном деревянный город. Во время вторжения Наполеона он был сожжен дотла. Почти все, что осталось от старого города, находилось внутри стен средневековой крепости или Кремля, с его великолепными церквями, соборами и царскими резиденциями.

Москва того времени была творением девятнадцатого века. Город, который знал Толстой, состоял из проспектов, площадей и домов, каждому из которых было не более сорока лет. Истинные космополиты, такие как Тургенев, с презрением смотрели на москвичей, которые казались им провинциальными и консервативными. Но многие из "хороших" старых семей имели здесь большие дома. В 1850 году здесь все еще царил аристократический досуг. Чрезвычайное перенаселение и индустриальное расширение, которые мучили старую столицу в конце века и вызывали у Толстого такую боль, еще не начались.

По его собственному признанию, московские дни и ночи были расточительными: много питья, походы в бордели или к "цыганам", растущая зависимость от азартных игр. Все это перекликалось с его присутствием на вечеринках и балах его знатных родственников и друзей. В обществе он все еще мучился застенчивостью, если не был пьян. Трудно представить, что правила, которые он сформулировал для общественного поведения, действительно делали его самым обаятельным собеседником. "Правила для общества. Выбирайте сложные ситуации, всегда старайтесь контролировать разговор, говорите громко, спокойно и четко, старайтесь начинать и заканчивать разговор сами. Ищите компанию людей, которые выше вас в социальном плане..."[[52]](#footnote-52)

Нерешительность этих лет, неспособность устроиться или учиться, или знать, куда ведет его жизнь, возможно, усугублялись тем фактом, что Муравьиное Братство теперь было рассеяно. Николай находился на военной службе на Кавказе. Дмитрий был недоступен. Сергей посвящал себя лошадям и блуду с цыганками. Тем не менее, из всех четырех братьев, только Лев Николаевич не закончил университетский курс. Очевидно, первоначальная идея (или одна из них) после ухода из Казани заключалась в том, чтобы провести время в деревне, пересматривая свои юридические книги. Эта идея ни к чему не привела. Затем, внезапно, в конце января 1849 года, он отправился в Санкт-Петербург.

Контраст между по существу провинциальной атмосферой Москвы и благородной красотой и космополитической энергией Санкт-Петербурга не мог быть более резким. Это был не первый визит Толстого в город, но это было его первое длительное пребывание там. Впервые его взгляд охватил величие города — улицы, здания, Невский проспект, каналы, огромные дворцы восемнадцатого века, проспекты и бульвары, по которым люди изящно скользили на санях. Нева была замерзшей. Снег подчеркивал здания особенным образом. Это был город, который Пушкин любил и воспевал в своей поэзии:

«Люблю зимы твоей жестокой

Недвижный воздух и мороз,

Бег санок вдоль Невы широкой,

Девичьи лица ярче роз».[[53]](#footnote-53)

Вот и мир, который позже Достоевский сделал своим — мир бедных, эксцентриков и гротескных персонажей, которые неизбежно собираются в столичном городе. Здесь были представители всех слоев и сословий, от царя и его придворных (среди которых были и родственники Толстого) до известных бань и баров низкой жизни. Здесь также были интеллектуалы, полностью осознающие, что это город, где Петр Великий намеренно открыл окно в Европу. Это было место, где можно было услышать французский так же часто, как русский, где студенты могли собираться в кабаках, где можно было бы прочитать все последние периодические издания и публикации.

13 февраля, через две недели после прибытия, Толстой написал брату Сергею, что намерен остаться в столице навсегда. Сначала он собирался сдать экзамены по праву, а затем вступить на государственную службу, как это делали все великие Толстые. "Я знаю, что ты никак не поверишь, чтобы я переменился; скажешь – «это уже в 20-ый раз, и все пути из тебя нет, самый пустяшной малый»; нет, я теперь совсем иначе переменился, чем прежде менялся: прежде я скажу себе: «дай-ка я переменюсь», а теперь я вижу, что я переменился и говорю: "я переменился".[[54]](#footnote-54)

Странно, но Толстой действительно сел за учёбу и сдал несколько экзаменов по праву в течение нескольких месяцев после переезда в Санкт-Петербург; но уже в следующем письме Сергею, в мае 1849 года, он рассказывает брату печальную историю. Ему срочно понадобилось три тысячи пятьсот рублей серебром, чтобы покрыть долги по азартным играм и на прожиток. Не мог бы Сергей любезно продать небольшое имение, чтобы покрыть расходы? Что касается идеи Льва Николаевича вступить на гражданскую службу, то она, очевидно, была забыта или отброшена. Теперь он собирался вступить в конные гвардии в качестве кадета. К сожалению, он не мог вступить в армию, не говоря уже о получении офицерского звания, без денег. "Бог даст, я и исправлюсь и сделаюсь когда-нибудь порядочным человеком... Не показывай письма этаго тетеньке, я не хочу ее огорчать ".[[55]](#footnote-55)

Но следующее, что узнала тетушка, это то, что Толстой собирался посвятить лето музыке. Музыка всегда было его страстью, и для помощи себе изучить музыку, он привёз домой в Ясную Поляну шумного пьяного немецкого музыканта по имени Рудольф, с которым он столкнулся в одном из кабаков Санкт-Петербурга.

Тётя Татьяна, которая не играла на пианино много лет, начала снова практиковаться и удивила своего племянника точностью и красотой, с которой она играла его любимые произведения: сонату Вебера ля бемоль мажор, а также произведения Моцарта, Гайдна, Баха и раннего Бетховена.

Но тётя была обеспокоена им. Она хотела, чтобы он остепенился, даже если этому будет способствовать роман с богатой замужней женщиной. Она мечтала, чтобы он стал адъютантом царя, но увы... Наступила осень в Ясной Поляне и у Толстого появилось новое увлечение. Он открыл школу для крестьян в Ясной Поляне. Как и большинство его начинаний в тот период, ни к чему эта школа его не привела. Фактически, через пару лет она закрылась из-за нехватки средств. Хотя школа и послужит начинанием, которое станет в последующем его основной заботой.

Ещё одна общественно значимая деятельность, которую он предпринял осенью 1849 года, заключалась в том, что он стал местным мировым судьей. 23 ноября его выдвинули на эту должность в канцелярии Тульской дворянской управы. Толстой переехал в Тулу, весёлый маленький провинциальный городок в нескольких милях от Ясной Поляны. Это было то самое место, где двенадцать лет назад его отец умер на улице. Обязанности Толстого в собрании дворян вряд ли были обременительными.

Фотография, сделанная незадолго до его переезда в Тулу, показывает стройного двадцатиоднолетнего юнца. В следующие двенадцать месяцев на лице появятся усы, он наберет вес, в нем возникнет агрессивность. А пока, в 1849 году, лицо его было отточенным, настороженным. Казалось, что оно могло бы стать костлявым, как у Александра Поупа или Вольтера. Очень короткие волосы Толстого подчеркивают большие, выступающие уши. Полные губы были не просто чувственными, но и насмешливыми. Но самой поразительной чертой были неестественно прямые коричневые волосы, нависавшие над очень тёмными, глубоко посаженными глазами. Это было лицо крайней живости и бдительности. Но оно смотрело на нас, как будто было совершенно чуждо галстуку, сюртуку и дивану. Казалось, оно спрашивало: «Что, черт возьми, я здесь делаю?»



Чувство того, что он был не на своём месте, повторялось в жизни всех великих литературных предшественников Толстого в России, особенно в Лермонтове, чьё произведение «Герой нашего времени», один из самых необычных романов в истории мировой литературы, Толстой прочитал этот роман в тот период. Печорин, «герой», верил, что в «наше время» счастье или моральная уверенность невозможны. Когда он убивает Грушницкого в дуэли, он провозглашает: «Finita la commedia». Смертные, как он говорит в другом месте, могут только переходить от сомнения к сомнению. Так же, как Онегин в предыдущем поколении был сознательной проекцией самого Пушкина, так и в «Герое нашего времени» идентификация между художником и его героем была абсолютной. Белинский, когда впервые встретил Лермонтова в 1840 году, заявил, что Печорин - это Лермонтов.

Тем не менее, у Пушкина и Лермонтова, как и у Грибоедова, романтический эгоцентризм отличался от эгоистичного экстаза Байрона или Шиллера тем, что всегда, на самом деле, делился чем-то со своей аудиторией. В то время как Байрон демонстрировал свои позы в сугубо одинокой манере на радость своим английским поклонникам (и, в самом деле, подобно Уайльду, можно сказать, стал их мучеником), Пушкин, почти несмотря на себя, обнаружил, что его позы находят отклик в каждой русской душе. Романтический герой в русской литературе обнаруживал, волей-неволей, что чем больше он писал о себе, тем больше его читатели чувствовали, что он понимает саму Россию, их общие моральные дилеммы.

Один проницательный английский критик писал: «Печорин знает, что 14 декабря 1825 года над Россией закрылась железная дверь. Для его поколения, кажется, не было выхода. Он был как связанный атлет, гений, который мог стать только чиновником». Всё это говорит о сильной политической приверженности и осведомлённости Пушкина и Лермонтова. Оба они были достаточно взрослыми, чтобы активно сочувствовать декабристам; вариант, который вряд ли был возможен для Толстого, рожденного в эпоху «чиновников». На самом деле, Толстого нельзя «разместить» на каком-либо политическом спектре, так же как нельзя было вписать его в какие-либо круги литературных движений его времени или клеймить его как западника или славянофила. Он действительно был созданием того поколения, в которое был рожден, постоянно переходя «от сомнения к сомнению»; и, поскольку его воспитание и образование отрезали его от интеллектуальных кругов столицы, его путь, начавшийся в одиночестве, продолжался в течение большей части жизни как достаточно одинокое странствие.

На самом деле год в Туле не означал целый год пребывания там. В теплые месяцы он уезжал в Ясную Поляну. По возможности оставался у сестры или друзей. Зимой 1850 года он снова переехал в свою московскую квартиру.

Что нового покажет мне Москва?

Вчера был бал, а завтра будет два.

Эти знакомые строки из «Горя от ума» Грибоедова уже к 1850 году стали поговоркой. Пьеса датируется 1820 годом. «Ум» для интеллектуалов тех двадцатых годов был синонимом радикализма. Именно ум вовлек Грибоедова в декабристские заговоры и привел к цензуре его пьесы. Его ранняя смерть в тридцать четыре года была так же частью его романтизма, как и смерти Пушкина и Лермонтова. Для некоторых русских Грибоедов, а не Пушкин, считался мастером. По определению Блока «Горе от ума» является «возможно, величайшим творением всей нашей литературы... «непревзойдённым, единственным в мировой литературе, не разгаданным до конца, символическим в истинном смысле».[[56]](#footnote-56)

Читатели в западных странах, которые могут быть развлечены циничной салонной комедией Грибоедова, могут найти гиперболу Блока непонятной. Вероятно, не Толстой, который, совсем не «умный» в смысле Грибоедова, вероятно, нашёл бы многое, на что мог бы откликнуться в этой комедии. В отличие от Онегина или Печорина, герой Грибоедова Чацкий — среднего возраста, сорокапятилетний, который всё видел, в некотором роде прустовский персонаж, который, устав и даже отвратившись от высшего общества, всё же не мог от него отказаться.

Широкие гостиные, а не крестьянские избы, вдохновили Толстого на его первую попытку прозы. Весь декабрь он находился в Москве, всё больше увлекаясь азартными играми и посещая как можно больше вечеринок. Затем, к концу месяца, Николай Николаевич вернулся с Кавказа, и Муравьиное Братство начало собираться вновь. Толстой поехал провести Рождество у Николая в доме сестры. Они также воссоединились с Сергеем. После праздников Толстой вернулся в Москву, где снова начался светский круговорот.

Всё больше ему начинала нравиться Луиза Ивановна, жена его кузена Волконского, Александра Александровича. 24 марта он провёл очередной вечер в их доме, играя в карты и неуклюже двигаясь вокруг хозяйки, задержавшись так поздно, что они угостили его ужином, прежде чем он спустился вниз, чтобы попрощаться с терпеливым кучером и отправиться домой пешком на морозе. Эта ночь, по какой-то непостижимой причине, была другой. Возможно, причина была пустяковой. Возможно, он был в нужной степени пьян, или в нужной степени влюблён в идею быть влюблённым в Луизу Ивановну. На следующее утро он проснулся, думая о вечере, и, кажется, провёл день в одиночестве. С 26 по 28 марта он усердно писал, доводя текст до совершенства в течение следующих нескольких дней, а 1 апреля вернулся в Ясную Поляну. Этот рассказ под названием «История вчерашнего дня», так и остался незавершенным.[[57]](#footnote-57)

Элементы гения Толстого были многогранны и многокомпонентны. Как и в случае с другими великими литературными талантами, эти элементы начали сливаться воедино только после периода полного бездействия. «История вчерашнего дня» является одновременно записью о бездействии Толстого и, можно сказать, моментальным снимком некоторых несформировавшихся элементов его гения до того, как они окончательно «срослись» или объединились. Это увлекательное описание того, как он приступил к работе, преобразуя опыт в слова. С одной стороны, это можно рассматривать как простое продолжение его дневника. Он не только описывает реальный вечер, проведённый на вечеринке у Волконских в Москве, но и размышляет о самом дневнике. Вернувшись домой, он предается пиру самоанализа, который так будет знаком читателям его дневников.

Мне часто случалось слышать слова: «пустой человек, живёт без цели»; и сам даже я это часто говорил и говорю не от того, чтобы я повторял чужие слова, но я чувствую в душе, что это нехорошо, и что нужно иметь в жизни цель. Но как же это сделать, чтобы быть полным стать человеком и жить с целью? Задать себе цель никак нельзя. Это я пробовал столько раз и не выходило. Надо не выдумывать ее, а найти такую, которая бы была сообразна с наклонностями человека, которая бы и прежде существовала, но которую я только бы сознал. Такого рода цель я, мне кажется, нашел: всестороннее образование и развитие всех способностей. Как одно из главных сознанных средств к достижению – дневник и франклиновский журнал. В дневнике я каждый день исповедуюсь во всем, что я сделал дурно...[[58]](#footnote-58)

Но «История вчерашнего дня» — это не работа кающегося; не более, чем «Исповедь» Жан-Жака Руссо. Толстой больше чем немного влюблён в свою кокетливую «старшую женщину», которая является его хозяйкой. Весьма руссообразным образом он посвящает читателя в секрет, что она тоже влюблена в него («Как он мил, этот молодой человек»), и когда муж отвернулся, их флирт становится почти возмутительным.

Герой раннего дневника Толстого — неуклюжий, довольно безыскусный человек, которого трудно полюбить. Герой «Истории вчерашнего дня» начинает быть намеренно комическим персонажем. У него строгое правило не ложиться спать после полуночи, поэтому он встаёт с вечера, чтобы уйти пораньше. Он прощается с хозяином. Но мадам уговаривает его остаться, и он обнаруживает себя стоящим неловко, держа шляпу в одной руке, а другой рукой опираясь на спинку её дивана. Конечно, он остаётся на ужин, но у него нет ни умения, ни смелости — ума, фактически — поддерживать необходимый лёгкий разговор. Он не Чацкий и не предназначался быть им.

Немного погодя муж вышел, должно быть, приказать ужин. Когда меня оставляют одного с ней, мне всегда делается страшно и тяжело. Когда я провожаю глазами тех, которые уходят, мне также больно, как в 5-й фигуре. Я вижу, как мой партнёр переходит на другую сторону, и мне приходится стоять в одиночестве. Я уверен, что Наполеон не мог страдать сильнее, когда перед Ватерлоо саксонцы перешли к врагу, чем я страдал, когда в моей молодости я наблюдал за этой жестокой эволюцией...[[59]](#footnote-59)

Шутка может быть неуклюжей, она может не сработать, но она есть. Отрыв от себя, к которому настоящий дневник был неспособен, здесь превращается в что-то комически и сознательно стерновское.

Толстой впервые прочитал "Сентиментальное путешествие" на французском, но оно так его впечатлило («огромное влияние»), что он вскоре принялся улучшать свой английский, переводя его с оригинала на русский. Это было чисто личное предприятие. Как "Сентиментальное путешествие", так и "Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена" были опубликованы на русском языке ещё до конца восемнадцатого века. На первый взгляд можно было бы предположить, что пропасть между "Тристрамом Шенди" и "Войной и миром" абсолютна и никакая линия не могла бы соединить их авторов. На данный момент нет доказательств того, что Толстой читал "Тристрама Шенди"; поэтому нет необходимости строить Шенди-Холл в Ясной Поляне, ни указывать, что история Толстого, как и история Тристрама, была завершена в четырех томах ещё до его рождения; нет нужды проводить фантастические параллели между осадой Москвы в 1812 году и несчастиями дядюшки Тоби во время осады Намюра. Нет нужды, увы, связывать материнские фиксации Толстого с непристойной фасцинацией Тристрама Шенди телом его матери и её различными отверстиями.

Однако у нас есть неопровержимые доказательства того, что именно "Сентиментальное путешествие" заставило Толстого начать писать. Привычка разогреваться к написанию, читая английские романы, сохранилась у него до зрелости. Его жена записала в своих дневниках в 1878 году: «А я знаю, что когда чтение переходит у Левочки в область английских романов — тогда близко к писанью».[[60]](#footnote-60) Ничего такого грубого, как имитация, не было в работе зрелого Толстого. Скорее, погружение в разум другого человека, занимающегося аналогичным творческим процессом, освобождало в нём что-то, предоставляя, когда это работало, правильное сочетание отвлечения и импульса.

Он был раздражён, потому что не мог писать; «скучает, что не может писать; вечером читал

Диккенса «Domby and Son», и вдруг мне говорит: «Ах, какая мысль мне блеснула!» Я спросила что, а он не хотел сказать, потом говорит: «Я занят старухой, какой у ней вид, какая фигура, о чем она думает, а надо главное ей вложить чувство».[[61]](#footnote-61)

Ему не занимать чувств у Диккенса, но тем не менее, чтение творений другого великого писателя стимулировало его собственного демона. В незрелом Толстом проявлялось что-то, очень близкое к имитации. Сильный элемент подавленного сексуального желания и фальшиво-наивное флиртование между молодым человеком и немного старшей женщиной многое обязаны Стерну. Так, возможно, обстоит дело и с моментами уединения, но именно в уединении наиболее резко проявляются существенные различия между двумя писателями. Толстой, когда находится в покое, беспокоится о моральной бессмысленности своей жизни, он желает, чтобы у него была какая-то великая цель, и, подобно герою всех великих своих произведений, он стремится овладеть тайнами вселенной в своем слабом обличии. Просто говоря, он жаждет Бога. Не так обстоит дело с «Йориком», которым Стерн оживил свое воображение.

"Увы, бедный Йорик!" - воскликнул я, "что тебе здесь делать? При первом же натиске всей этой сверкающей сутолоки ты обратишься в атом -- ищи -- ищи какой-нибудь извилистый переулок с рогаткой на конце его, по которому не проезжала ни одна повозка и который ни разу не озарялся светом факела -- там можешь ты утешить душу свою сладким разговором с какой-нибудь гризеткой о жене цирюльника и проникнуть в их общество!..."[[62]](#footnote-62)

Огромное очарование Стерна как писателя (снова используя критерий Генри Джеймса) заключалось в том, что он, строго говоря, вообще не писал. Высокая популярность "Сентиментального путешествия" в последние сорок лет восемнадцатого века проистекала из его использования как модели для романтических эгоистов. Стилистически это могло быть написано каким-то похотливым приходским писарем. Книга приходит в руки незавершенной. Читатель выполняет работу писателя за него, находя в ней достоинства, которые читатель сам вложил туда и, следовательно, ценит гораздо выше, чем достоинства другого. Неудивительно, что Стерн пользуется большой популярностью в двадцатом веке, с его манией заставлять читателей выполнять работу писателей, и открывать свой собственный «текст» по ходу дела. К тому же, "Сентиментальное путешествие" привлекательно короткое произведение.

В глазах Толстого пропасть между незавершённой книгой Стерна, которую тот так и не написал, и «шедевром», который мы в ней находим, заполнились его собственными размышлениями о себе. В то время Толстой обрёл себя в основном как читатель. Он начинал понимать себя, представляя себя Онегиным, Чацким, Печориным. В «Истории вчерашнего дня» он переносит своё воображаемое «я» в социальный мир. Результат не лишён комичности, часть которой сознательна, как, например, в его застенчивых попытках поговорить с Волконской, и часть ещё бессознательна, в режиме дневника: его умные замечания о том, как вести себя в обществе, его позы человека света. Но здесь есть и другие аспекты. Выходя в позднюю московскую ночь и встречаясь с кучером по имени Дмитрий, рассказчик описывает, как мы можем услышать, как кучера и сторожа кричат друг другу в холодном воздухе. Эти моменты предсказывают тот уровень мастерства, который Толстой достигнет в своём творчестве, и дают нам представление о глубине его таланта, с которым у писателя были столь бурные отношения. В тот миг эти отношения не представляли особой опасности, ведь Толстой ещё не осознавал всей полноты своего таланта. В «Истории вчерашнего дня» не угадывается ни тени осознания Толстым своего истинного таланта — шекспировской способности воссоздать мир во всей его природной правдивости, внешней реальности и внутренних переживаниях его жителей. Нигде в тексте не видно, что он понимал, что он делает, творя это произведение. В его заикающейся неуклюжести, в этом сплаве непреднамеренной комедии и глубокой моральной серьёзности, текст мог бы принадлежать перу Пьера Безухова, того самого неповоротливого героя *«Войны и мира»*, и в некотором смысле, так оно и есть..

Холод — отсутствие тепла. Тьма — отсутствие света, зло — отсутствие добра. — Отчего человек любит тепло, свет, добро? Оттого, что они естественны. — Есть причина тепла, света и добра — солнце, Бог; но нет солнца холодного и темного, нет злого Бога. Мы видим свет и лучи света, ищем причину и говорим, что есть солнце: нам доказывает это и свет, и тепло, зак тягот. Это в мире физическом. В моральном мире видим добро, видим лучи его, видим, что такой же зак тяготения добра к чему то высшему и что источник — Бог.[[63]](#footnote-63)

В его начале был его конец. В лучшем искусстве Толстого — например, в создании образа Пьера Безухова — говорить о Боге так же естественно, как описывать мороз или брички. Но, как и в конце, в самом начале существует напряжение между спонтанностью его искусства и требованиями души. Судьба готова обрушить на этого неожиданного носителя дары воображения, которые почти не имеют себе равных. Он боится их, несмотря на их благословение.

Истинная литературная ирония этого произведения заключается в том, что оно столь же самопротиворечиво, как и любое произведение, написанное парадоксальным Стерном. Его парадокс абсолютно бессознательный. Повествователь выражает сожаление и самоненависть из-за того, что у него нет цели в жизни и он не знает, что делать. Но именно в описании своего затруднения и превращении его в нечто, что на полпути к искусству, он обнаруживает свою «цель в жизни». Совершенно неожиданно и вклиненное между социальными мероприятиями поразительной тривиальности, призвание Толстого как писателя пришло. Справедливо тётя в «Утро помещика» говорила, что мы чувствуем наше призвание только тогда, когда уже ошиблись в его выборе. С этого момента существование Толстого нужно понимать в контексте того, что он писал или не писал.

Литературные историки, стремящиеся быстро перейти к великим произведениям Толстого, легкомысленно писали об «Истории вчерашнего дня». Но они также писали вводяще, как будто основной интерес состоял в том, что это было чудом, ложным предвестником, обещающим появление Пруста или Джойса. Далеко не будучи протомодернистским, фрагмент на самом деле намекает (с его долгами и аллюзиями на Стерна и Руссо) на мир литературных мод и моделей, которые по стандартам Западной Европы были как минимум на полвека устаревшими. Но «История вчерашнего дня» действительно возвещает о новой звезде на литературном небосводе; о романисте, который почти ничего не имеет общего с Прустом или Джойсом; то есть о авторе «Анны Карениной» и «Войны и мира».

**ГЛАВА 4**

**ДЕТСКИЕ СЦЕНЫ НА КАВКАЗЕ**

**1851-1854**

*Koгдa кacaютcя xoлoдныx pyк мoиx*

*C нeбpeжнoй cмeлocтью кpacaвиц ropoдcкиx*

*Дaвно бестрепетные pyки –*

*Hapyжно пorpyжacь в иx блecк и cyeтy,*

*Лacкaю я в дyшe cтapиннyю мeчтy,*

*Пorибшиx лeт cвятыe звуки.*

М.Ю.Лермонтов «1 января »

За три года до встречи[[64]](#footnote-64) братья Толстые все еще продолжали идти каждый своим путем, и последствия такой разрозненности оказались катастрофическими для еще несформировавшегося Льва Николаевича. Покинув Казань, он никак не мог устроить свою жизнь, сориентировать ее на что-либо серьезное. Завязывалась дружба, устраивались ужины, совращались служанки, записывались правила примерного поведения, но, вновь и вновь, все разрушалось. Еще более катастрофичной оказалась неспособность Толстого обосноваться в Москве, Санкт-Петербурге или Ясной Поляне из-за растущего пристрастия к азартным играм. Несмотря на любовь к нему тети Туанетты, сестры Марии или брата Сергея, зависимость, ставшая бедой многих русских дворянских семей, угрожала его благополучию. Бездеятельность, духовная инертность, чувство тщетности, напраслины - все это были верные признаки того, что русские называют "халатностью": привычкой бездельничать, ничего не делать и думать о пустяках. В таких настроениях зачастую зарождались карточные долги, отчаянные философии и суициды.

Молодой Толстой, стремящийся к самосершенствованию, лучше всех понимал всю опасность сложившейся ситуации, а спасение через литературу еще не сложилось в его сознании.

22 декабря 1850 года Николай Николаевич вернулся с Кавказа домой в долгосрочный отпуск, а вместе с ним вернулась благодать Муравьиного браства. Жизнь снова потекла своей чередой, хотя в течение нескольких месяцев братья мало виделись друг с другом. У Николая были свои старые контакты, кроме связи с младшим братом. Сергей уже устроил свою любимую цыганку из Тулы, Марью Шишкину, хозяйкой своего дома. Мария Николаевна и её муж Валерьян занимались воспитанием новорожденного. Лев Николаевич проводил много времени в Москве, приобретая лошадь, которая ему была не нужна, флиртуя с женой кузена, занимаясь гимнастикой (новая мода) и, наконец, найдя в себе решимость написать фрагментарную «Историю вчерашнего дня». Прошел великий пост.

Пасху он провел в Ясной Поляне и, сознавая свою недостойную жизнь, исповедовался деревенскому священнику и причастился. В дни после Пасхи он пытался обсудить свои проблемы с тетей, но один только вид одной из домашних крепостных «заставляет меня сильно бороться со страстью и чаще поддаваться ей, потому что я и уже тут имел ея». 18 апреля, как грустно вспоминает дневник, «не могу удержаться»[[65]](#footnote-65). На следующий день приехали брат Николай с сестрой и зятем. Прибыли они на семейную встречу в старом доме, но также были и дела, которые нужно было обсудить. Как быть с долгами Льва Николаевича, которые теперь составляли шестнадцать тысяч рублей? Решили отделить от поместья одно из доставшихся ему сел, Веротынку, и продать. А что делать с молодым блудным сыном? Здравый смысл, семейная традиция и естественное стремление Льва Николаевича избегать сложностей на сей раз совпали. Поколения Толстых служили в армии, и Лев уже несколько лет думал, что, возможно, поступит так же, как Николай. Почему бы ему не сопровождать старшего брата, когда закончится отпуск, и не поехать на Кавказ, не посмотреть, как ему там будет? Если идея покажется осуществимой, он мог бы записаться кадетом.

У этой идеи было много преимуществ. Не только потому, что это был идеальный способ увести Льва из московских салонов, которые явно действовали на него разрушительно. Также присутствовали и позитивные моменты, особенно для новоиспеченного «литератора», который только что набросал несколько страниц «Истории вчерашнего дня». Где еще молодому герою нашего времени искать период изгнания, как не на Кавказе, где, по словам Лермонтова, «пустыня внемлет богу, и звезда с звездою говорит»? Важно помнить, что, несмотря на романтический образ Кавказа, созданный в произведениях Пушкина, Лермонтова и Толстого, настоящая причина присутствия русских войск в этом регионе была чисто военной. По словам Рональда Хингли, «как озера в Англии вдохновляли английских поэтов, так и Кавказ вдохновлял поэтов России, но атмосфера была менее элегической и уж точно не вордсвортовской. Вместо маленькой Люси или источников Давы в изгибах горных троп Чечни скорее можно было ожидать пулю в шею».[[66]](#footnote-66) *(Рональд Хингли в своей цитате проводит сравнение между английской и русской поэтическими традициями, обращаясь к их географическим и эмоциональным источникам вдохновения. Он говорит о том, что для английских поэтов, таких как Уильям Вордсворт, пейзажи озерного края были источником тихих, элегических раздумий, воплощая в себе романтическое восприятие природы. В этом контексте Вордсворт изображает идиллические сцены, как, например, историю маленькой Люси, где природа ассоциируется с миром и покоем.*

*В противоположность этому, Кавказ вдохновлял русских поэтов, но атмосфера этого региона была совсем иной — менее спокойной и умиротворённой, а скорее драматичной, опасной и напряжённой. Вместо элегических пейзажей и философских раздумий о жизни и смерти, кавказская природа и реалии конфликта представляли угрозу, где поэтический образ мог легко смениться жестокой реальностью (например, «пулей в шею» на тропах Чечни). Таким образом, Хингли подчеркивает контраст между двумя культурами, указывая на то, что вдохновение русских поэтов Кавказом было насыщено напряжённостью и опасностью, отличаясь от более спокойного восприятия природы у английских поэтов. – прим.перев).*

1851 год оказался необычайно захватывающим временем для начинающего карьеру молодого русского, и путешествие на Кавказ Толстого, чья карьера могла развиться по дороге литературы или воинской стезе, является символичным для той эпохи.

В интеллектуальных кругах, особенно в Санкт-Петербурге, все еще остро и оптимистично ощущался прогресс, несмотря на множество репрессивных мер правительства царя Николая I. Несмотря на желания императора и его советников, Россия уже была на пути к превращению в полноценную европейскую страну, открытую для всех культурных и идеологических конфликтов, которые охватили Западную Европу в предыдущем десятилетии. Если поколение декабристов возвращало европейские книги и идеи как некий вид контрабанды, (так же, как современный советский гражданин мог бы контрабандой привезти джинсы после поездки в Лондон или Париж), то нынешнее поколение менее самосознательно заимствовало и более уверенно участвовало в европейском наследии.

1848 год стал «годом революций». Луи-Филипп был свергнут с трона Франции; Меттерних ушел в отставку в Вене. В Берлине Фридрих Вильгельм IV уступил конституцию. Примерно в то же время, всего за несколько недель до парижской революции, молодой немецкий изгнанник в Лондоне опубликовал небольшую работу под названием *«Манифест Коммунистической партии»*, начинавшуюся словами: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Этого молодого изгнанника звали Карл Маркс.

Россия также породила интеллектуалов, которые могли составить конкуренцию западным мыслителям. Их поразительное литературное возрождение создавало все предпосылки для дальнейшего развития. Ранее Россия не играла заметной роли на европейской арене, но затем неожиданно наступил быстрый и замечательный период расцвета. Александр Пушкин (1799–1837) начал публиковать стихи в пятнадцать лет. Его произведения были целиком русскими по характеру, но их можно было сравнить с великими современниками Байроном и Скоттом. Пoявление Пушкина на русском небосклоне можно сравнить с взлетом Шекспира в конце XVI века в Англии. Гений Пушкина породила плеяду звезд: поэта Лермонтова, критика Белинского и других не менее замечательных имен. Появились два лагеря: западники, которые приветствовали новые контакты России с Западом, и славянофилы, как, например, братья Аксаковы, которые лелеяли славянское наследие. Лермонтов до своей роковой гибели успел написать «Героя нашего времени». Литературная бомба, готовая взорваться на Европу и заключающаяся в развитии русского романа девятнадцатого века, начала детонировать. Абсурды русской бюрократии были высмеяны в *«Мертвых душах»* Гоголя (1837) и в произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина, чья повесть *«Господа Головлёвы»*, если честно, показались мне гротексней, чем произведения Гоголя.

Толстой принадлежал к тому поколению россиян, которому было суждено стать первыми собственниками полноценного литературного и интеллектуального наследия; именно этому поколению суждено было родиться в России, которая не только впитала западные интеллектуальные труды, романы и стихи, но и сама начинала их творить. И эти произведения не уступали, а порой и превосходили их западные аналоги.

Жизнь в России того времени могла казаться благополучной, но скрывала в себе немало трудностей, особенно для представителей интеллектуальной элиты. Николай I, лишённый глубокого интеллектуального дара, отреагировал с ужасающей резкостью на культурное возрождение, что вылилось в репрессии. Герцен, как известно, уже с 1834 года пребывал в ссылке, а в 1848 году был вынужден окончательно покинуть родину. Можно лишь предположить, что если бы такие выдающиеся деятели, как Белинский, Лермонтов или Пушкин, дожили до этого времени, их бы ожидала столь же трагическая участь. Даже Гоголь, чьи консервативные и православные убеждения казались бы близкими власти, не избежал государственного давления. Его «Мёртвые души», хоть и воспринимались как комедия, скрывали в себе острое осуждение коррупции, что вызвало недовольство царской цензуры. В конечном итоге, и Тургенев оказался не защищён от преследований: за простую похвальную некрологию своему коллеге он был заключён под домашний арест. Таков был климат времени — даже величайшие умы оказались под угрозой подавления своих творческих порывов.

Толстой рос в эпоху невиданного прежде культурного ренессанса в России, который, однако, сопровождался жестокой цензурой, подавлявшей любые проявления независимости среди поэтов, журналистов и писателей. Это можно сравнить с тем, как если бы правительство Людовика XIV, вместо преследования гугенотов, направило свои репрессии против Корнеля и Расина; или как если бы Елизавета I, будучи неудовлетворенной созданием католических мучеников, отправила на казнь Шекспира, Марло и Спенсера. 22 декабря 1849 года молодой гений Фёдор Михайлович Достоевский был арестован и приговорён к смертной казни за хранение печатного станка. Приговор был смягчён в последний момент, когда Достоевский уже стоял перед расстрельным взводом. В то время как Толстой отправлялся на Кавказ, Достоевский уже отбывал каторжные работы в Сибири.

Николай I был тираном не только в контексте внутренней политики, но и в том смысле, что стремился компенсировать внутренние волнения агрессивными действиями на внешнеполитической арене. Эти тревоги имели веские основания. Польша, например, всегда рассматривала себя как независимое католическое королевство, глубоко враждебное по отношению к православной Российской империи на востоке. В тот период Польша пользовалась полной поддержкой Пруссии в противостоянии Николаю I. Ранее российский император относился к этому с меньшей тревогой, но с 1848 года революционные настроения начали охватывать Восточную Европу.

В 1848 году в Румынии вспыхнула революция, а Польша и Венгрия стали центрами распространения западнических и атеистических идей, которые находили отклик среди революционеров. По крайней мере, так эти события воспринимались российскими наблюдателями, для которых революционные настроения представляли собой серьёзную угрозу стабильности империи.

Помимо внутренних беспокойств, Николай I стремился расширить границы своей империи в трёх стратегически важных направлениях — на северо-востоке Тихого океана, в Турции, где назревал международный кризис, и на Кавказе, где продолжались военные действия. Эти амбиции сочетались с его агрессивной внешней политикой, которая, по его мнению, служила средством укрепления власти как внутри страны, так и за её пределами.[[67]](#footnote-67)

Именно положение на Кавказе оказало непосредственное влияние на Толстого. Символично, что его литературная карьера, действительно начавшаяся на Кавказе, зародилась вдали от светских салонов Москвы и Петербурга. Также вполне характерно, что, несмотря на весомые политические причины, по которым его брат и сослуживцы находились в кавказских горах, для Толстого это было сугубо личное путешествие. Среди всех русских писателей прошлого века, он наименее соответствует какому-либо интеллектуальному кругу единомышленников или какой-либо политической категории. С самого начала он был и остался в одиночестве.

По Туркманчайскому договору, заключённому в феврале 1828 года, Россия присоединила к себе Персидскую Армению. *(Туркманчайский мирный договор, заключённый 10 февраля 1828 года между Российской империей и Персией, завершил русско-персидскую войну 1826–1828 годов. По условиям этого договора Россия получила контроль не только над Восточной Арменией (Персидской Арменией), но и над территорией нынешнего Азербайджана, включая Нахичеванское, Карабахское и Эриванское ханства. Эти территории, как часть исторического Закавказья, сыграли ключевую роль в расширении имперского влияния России на юге. После заключения Туркманчайского договора русские власти организовали переселение армян на вновь присоединённые к Российской империи территории. Этот процесс был частью политики Российской империи по укреплению контроля над недавно приобретёнными землями и изменению этнического состава региона. Переселение армян на эти земли происходило в несколько волн, начиная с конца XVIII века, но наиболее значительное переселение состоялось именно после Туркманчайского договора. В частности, генерал Паскевич, который возглавлял российские войска в ходе войны с Персией, содействовал этому процессу. По историческим данным, около 40,000 армян переселились из Персии на территорию Восточной Армении (нынешнюю Армению) и Карабаха. Это переселение не было случайным: Россия использовала переселённых армян как лояльное население в стратегически важной зоне на границе с Персией и Османской империей. Армяне, будучи христианами, считались более надёжным элементом для укрепления российского влияния в регионе. До переселения армян большая часть населения на этих территориях была азербайджанской (тюркской) и курдской, но с переселением значительного числа армян баланс изменился. В частности, в Карабахе, который входил в состав азербайджанского ханства, армянское население стало значительно возрастать, что в дальнейшем привело к этническим и политическим конфликтам в регионе. – прим.перев.)* В 1830-х годах русские войска продвинулись вглубь Кавказского хребта, стремясь продолжить своё движение в направлении Туркестана и Афганистана, несмотря на упорное сопротивление местного населения. В 1844 году царь назначил графа Михаила Воронцова наместником Кавказа. В мае 1845 года Воронцов возглавил поход восемнадцати тысяч солдат в Чечню. Горцы отступали, позволяя русским войскам продвинуться до Грозного, в самую глубь густо поросших буковыми лесами горных районов. Но вскоре началось ожесточённое сопротивление горских стрелков, укрывшихся в горах, и за лето 1846 года русская армия потеряла четыре тысячи человек, включая трёх генералов.

С тех пор, как в 1799 году безумный император Павел аннексировал Грузию — маленькое буферное государство, столетиями служившее барьером между Османской и Персидской империями, — на Кавказе не было мира.

Кавказ, как и северо-западная граница Индии и Афганистан, требовал постоянного присутствия военных сил. Российская империя, подобно Британской, вынуждена была держать свои войска в состоянии вечной готовности в этих регионах на протяжении многих десятилетий. Сравнение Кавказа и Индии в контексте жизни и воображения этих двух империй кажется более уместным[[68]](#footnote-68), чем уподобление их английским озёрам, хотя и у Толстого, как у Вордсворта, были моменты созерцательной связи с природой, которые вскоре проявятся в его творчестве.

Когда было принято решение, что Лев должен сопровождать Николая обратно к его части, оставалось только следовать этому плану. Они покинули Ясную Поляну 29 апреля 1851 года, несколько дней провели в Москве, а затем отправились в Казань, где пробыли около недели. В своём дневнике того времени Лев выразил «презрение к обществу», но для его брата Николая, основателя Муравьиного Братства, который последние пять лет провёл исключительно в компании солдат, поведение Льва казалось дезориентированным и даже излишне утончённым. Уже на следующий день после прибытия в Казань Лев, заметив на улице прохожего, заявил Николаю: «Этот человек — негодяй». «Почему?» — удивился брат. «Потому что он без перчаток», — последовал ответ. «А почему отсутствие перчаток делает его негодяем?» — продолжал Николай. Лев не нашёлся что ответить.[[69]](#footnote-69)

Тем не менее, Лев не был таким щеголем, чтобы не находить радость в простых детских шалостях. Однажды, не удержавшись от смеха, он забрался на дерево у дома своей тёти Пелагеи и весело выкрикивал в окна всем, кто был внутри. Это было почти как возвращение в детство, и в этот момент он наслаждался свободой, которая редко встречалась в его взрослом мире. Более того, он вновь окунулся в романтические грёзы, возобновив лёгкие отношения с девушкой по имени Зинаида, в которую был наполовину влюблён. В отличие от его тайных влечений к служанкам и цыганкам, о которых он лишь украдкой записывал в своём дневнике, это увлечение могло обсуждаться открыто в кругу семьи. Оно казалось почти идеалистичным — «чистым стремлением двух душ друг к другу».[[70]](#footnote-70) Вдохновлённый этим чувством, Лев даже решился на поэтический шаг и попытался стать Лермонтовым *de ses jours* (своего времени – прим.перев.), сочинив стихотворение в честь Зинаиды. Но результат оказался, мягко говоря, плачевным. Вместо возвышенной лирики вышло нечто неуклюжее и далёкое от поэтического величия.

Поездка в Казань дала им возможность нанести обязательные визиты родственникам. Но она также предоставила шанс отправиться на юг самым приятным способом — на барже по Волге.

Поначалу монотонный пейзаж сменялся всё возрастающим волнением, когда братья осознавали, что, приближаясь к Астрахани, они вступают в новый, полный романтики мир. Когда казалось, что баржа может застрять на мелководье или на песчаных отмелях, к ним на помощь приходили экзотически одетые фигуры, вытягивая судно на безопасные воды. Во время этого путешествия Толстой впервые увидел казаков — этот момент стал одним из первых встреч Льва с миром Кавказа, который позже оставит глубокий след в его творчество.

Казаки с XVII века жили по своим собственным законам, при этом играя важную роль в качестве пограничных стражей для российских царей. На польской границе они чем-то напоминали православных крестоносцев, средневековых рыцарей, не вписывающихся в своё время, организованных в военные лагеря и обязанных сопротивляться католицизму, монархизму и западным влияниям поляков. В татарских регионах, куда направился Толстой, их религиозное рвение, удивительно, было менее страстным. Здесь казаки формально защищали христианство от ислама. Однако, хотя многие из них были старообрядцами (ультраконсервативной сектой, отколовшейся от Русской православной церкви в 1653 году после реформ патриарха Никона), они считали даже православных верующих вне своей благодати. Тем не менее, их общее отношение к жизни было куда более расслабленным. Толстой, наблюдая казаков, уловил этот контраст между строгими религиозными убеждениями и лёгкостью в восприятии мира. Их жизнь, хотя и пронизанная религией, больше напоминала поклонение самой жизни. Это ощущение он блестяще передал в своём романе *«Казаки»*, где их свободолюбивый дух и привязанность к природной жизни стали центральными темами.

Хотя казаки не приняли ислам своих извечных врагов-татар, они переняли многие татарские слова, костюмы и обычаи. В отличие от своих собратьев на польской границе, кавказские казаки жили не в лагерях, а группировались в станицах. Именно в одну из таких станиц, Старогладковскую, прибыли братья Толстые. Это было небольшим поселеним на берегу Терека, так сказать, пограничным селом, напротив которого, по другую сторону реки, располагались мусульманскиек стрелки. Толстой в точности описал эту станицу в повести *«Казаки»*: почти шокирующая красота гор, возвышающихся над заросшими тростником песчаными берегами Терека, восточная экзотика самого поселения, низкие соломенные дома, и, конечно, женщины — красивые, но сдержанные и строго придерживающиеся своих традиционных ролей. Толстой с особым вниманием описывает это окружение, передавая атмосферу станицы и уникальное сочетание культурных влияний, нашедшего свое отражение в художественном мире великого писателя.

Толстой целых девять лет работал над своим произведением. Причины, побудившие его сделать главного героя *«Казаков»* таким похожим и одновременно таким отличным от самого себя в двадцатитрехлетнем возрасте, нам предстоит обсудить позже. Оленин, как мы помним, только увидев горы, сразу решил оставить своё прошлое позади. (В конечном итоге, он так и не смог этого сделать, но его первая реакция была однозначной: все его московские воспоминания — стыд, покаяние и тривиальные мечты о Кавказе — мгновенно исчезли и больше не возвращались.)

Толстой, который в Старогладковской не имел никакой определённой функции, кроме как неуклюжего гражданского спутника своего старшего брата, не испытывал тех уверенных чувств, которые переживал его герой Оленин при прибытии на Кавказ, если судить по дневникам писателя на тот период. Он осознавал, что ему придётся общаться с товарищами по полку своего брата Николя, и эта перспектива его совсем не радовала. Через два дня после прибытия он записал в своём дневнике: «Мой Бог, мой Бог, какие печальные и меланхоличные дни... Меланхолия, которую я испытываю, — это нечто, что я не могу понять или представить. У меня нет ничего, о чём бы я сожалел, почти нет ничего, чего бы мне хотелось, нет причин сердиться на судьбу. Я мог бы прекрасно жить на своём воображении. Но нет. Мое воображение не рисует мне ничего — у меня нет мечтаний. Есть определённое мрачное удовольствие в презрении к людям — но я даже на это не способен; я вообще о них не думаю...» Через шесть дней он пришёл к выводу, что действительно был влюблён в девушку из Казани, с которой у него был легкий флирт. Неудивительно. «Я не говорил ей о любви, но я так уверен, что она знала мои чувства, что если она меня любила, то это было лишь потому, что она меня понимала. Все порывы души изначально чисты и возвышенны. Реальность разрушает их невинность и очарование».[[71]](#footnote-71) Это, безусловно, верно в отношении его взглядов на секс, и чрезвычайно важно понимать этот момент, если мы хотим верно истолковать Толстого.

Летние месяцы прошли так, как могли бы пройти лишь у тех, кто чист душой... в вихре азартных игр, драк и увлечений женщинами. Если он полагал, что, сбежав из московских салонов, сможет избавиться от своей пагубной страсти к картам, то явно недооценил любовь русского солдата к игре. В конце июня он уже проиграл двести рублей из своих средств и ещё сто пятьдесят — денег Николая. Заняв пятьсот рублей, он тут же потерял и их, и к началу июля его общий долг вырос до восьмисот пятидесяти рублей.

В это время Толстой впервые непосредственно столкнулся с военными действиями, когда подразделение Николая участвовало в рейде на чеченских горцев. Это событие вдохновило его на один из его первых опубликованных рассказов, "Набег", увлекательное произведение, которое во многом предвосхищает позднего Толстого различными откровенными способами. Когда в марте 1852 года рассказ наконец был опубликован в журнале, Толстой пожаловался брату Сергею, что рассказ был «просто испорчен цензурой. Всё хорошее в нём было вычеркнуто или искалечено». Понятно, почему цензор возражал против этих «хороших» моментов, поскольку они представляют (уже на этом раннем этапе его карьеры) глубокую тревогу Толстого о самой допустимости войны, тревогу, которая становится ещё более мощной благодаря его поразительной художественной способности конкретизировать. Ведь этот рассказ — огромный художественный прорыв по сравнению с "Историей вчерашнего дня". В своём первом (цензурированном) абзаце он написал, что его больше интересует, каким образом и под влиянием каких чувств один солдат убивает другого, чем то, как были расставлены армии в Аустерлице и Бородино.[[72]](#footnote-72) Таким образом, наряду с его (слегка скучным) философским желанием определить природу мужества, Толстой воплощает в жизнь удивительные детали частных судеб: капитана, чья старая мать в России верит, что он был спасён чудотворной иконой Богоматери Неопалимой Купины (в то время как на самом деле он несколько раз был ранен); молодого лейтенанта, который строит своё поведение по образу героев Лермонтова и Марлинского — «Но любовница его, - черкешенка, разумеется, - с которой мне после случалось

видеться, - говорила, что он был самый добрый и кроткий человек, и что каждый вечер он писал вместе свои мрачные записки, сводил счеты на разграфленной бумаге и на коленях молился Богу. И сколько он выстрадал для того, чтобы только перед самим собой казаться тем, чем он хотел быть»[[73]](#footnote-73). Комическая абсурдность этой ситуации, кстати, должна заставить нас быть начеку, когда мы подходим к многогранным описаниям самого Толстого. Литературный историк князь Мирский был прав, рассматривая дневник Толстого как произведение искусства — хоть и с другими целями — не менее, чем его художественные произведения. [[74]](#footnote-74) Значительная часть успеха Толстого как выдающегося психологического реалиста зависит от этого хитроумного обмана — он так же умело вводил в заблуждение себя, как и своих читателей, появляясь в стольких ипостасях: развратник и циник, кающийся грешник и мистик, целомудренный влюблённый в одну женщину, страстный семьянин, сладострастник в публичном доме, равнодушный светский человек, который считает своих братьев невыносимо скучными. Толстой делает лейтенанта в «Набеге» таким реальным для нас, потому что в самых важных аспектах он и есть этот лейтенант. И именно эта способность к сопереживанию, откуда бы она ни происходила, в сочетании с фотографической точностью к деталям, делает его моральные суждения столь разрушительными, как это видно в знаменитом, подвергнутом цензуре отрывке из VI главы.

*Кто станет сомневаться, что в войне Русских с Горцами справедливость, вытекающая из чувства самосохранения, на нашей стороне? Ежели бы не было этой войны, что бы обезпечивало все смежные богатые и просвещенные русския владения от грабежей, убийств, набегов народов диких и воинственных? Но возьмем два частные лица. На чьей стороне чувство самосохранения и следовательно справедливость: на стороне ли того оборванца, какого нибудь Джеми, который, услыхав о приближении Русских,105 с проклятием снимет со стены старую винтовку и с тремя, четырьмя зарядами в заправах, которые он выпустит не даром, побежит навстречу Гяурам, который, увидав, что Русские все-таки идут вперед, подвигаются к его засеянному полю, которое они вытопчут, к его сакле, которую сожгут, и к тому оврагу, в котором, дрожа от испуга, спрятались его мать, жена, дети, подумает, что все, что только может составить его счастие, все отнимут у него, — в бессильной злобе, с криком отчаяния, сорвет с себя оборванный зипунишко, бросит винтовку на землю и, надвинув на глаза попаху, запоет предсмертную песню и с одним кинжалом в руках, очертя голову, бросится на штыки Русских? На его ли стороне справедливость, или на стороне этого офицера, состоящего в свите Генерала, который так хорошо напевает французския песенки имянно в то время, как проезжает мимо вас? Он имеет в России семью, родных, друзей, крестьян и обязанности в отношении их, не имеет никакого повода и желания враждовать с Горцами, а приехал на Кавказ.... так, чтобы показать свою храбрость...*[[75]](#footnote-75)

\*\*\*

Поскольку «Набег» является одним из самых ранних завершённых произведений Толстого, интересно заметить, что с самого начала в нём проявляется разделение того, что называют "правой" и "левой" рукой Толстого. На первый взгляд, можно подумать, что славянофильский патриот, человек, любящий военную жизнь и аморальный Толстой, который просто наслаждается жизнью во всех её проявлениях и деталях, находятся в конфликте с "моралистом" Толстым. Часто утверждают, что Толстой, пытаясь развиться как моралист или мыслитель, испортил своё «искусство». Но в «Набеге» такого разделения нет. Именно потому, что Толстой способен насытить свой рассказ множеством человеческих и природных деталей — капитан, закуривающий трубку с дешёвым табаком при упоминании о матери, стаи диких голубей, кружащие над широким оврагом, сверчки и кузнечики, и тысячи других насекомых, наполняющих обочины дорог звуками, — всё это нагромождение деталей естественным образом ведёт к "морали". Война — не абстракция. В «Набеге» мы видим батальон хорошо обученных русских солдат, настоящих людей с жизнями и личностями, которые кажутся нам абсолютно реальными, преследующих жалких горцев. «Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримымзвездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении

с природой - этим непосредственнейшим выражением красоты и добра.?»[[76]](#footnote-76) Чтобы понять, чтобы понять глубоко и близко — нужно сопереживать. И в то же время в Толстом есть беспристрастный, гомеровский взгляд, который может наблюдать за поведением солдат, грабящих маленькую деревню, и видеть в этом тоже проявление природы, жизни. Заключение рассказа производит свой прекрасный эффект именно благодаря такому приостановлению морального суждения, чтобы, сопереживая, мы не осуждали.

*Зелень травы и деревьев чернела и покрывалась росою. Темные массы войск мерно шумели и*

*двигались по роскошному лугу; в различных сторонах слышались бубны, барабаны и веселые песни. Подголосок шестой роты звучал изо всех сил, и, исполненные чувства и силы, звуки его чистого грудного тенора далеко разносились по прозрачному вечернему воздуху...[[77]](#footnote-77)*

«Набег» олицетворяет тот мощный отклик, который война неизменно вызывала в душе Толстого — чувство всеобщей человечности, которое он разделял не только с русскими офицерами, но и с крестьянами, цыганами, казаками, и всеми, кто встречался ему на жизненном пути. В этой истории отражаются те переживания, которые, несомненно, были ему близки, особенно в летние месяцы 1851 года, когда он обретал друзей среди казаков и сближался с жителями деревни. Эти впечатления, напитанные живыми эмоциями и глубоким сопереживанием, вплетаются в ткань его повествования, придавая ему подлинную искренность и человечность.

Братья Толстые остановились у могучего восьмидесятилетнего казака по имени Епишка Секин. Как это часто случается при написании моей книги, возникает вопрос: как различить реального человека и того, кем он стал в художественной литературе? Несомненно, Епишка стал прототипом дяди Ерошки из «Казаков» Толстого. Первоначально Епишка упоминается в дневниках Толстого лишь как «ветеран времен Ермолова, казак, весельчак и плут». Однако в окончательной новелле Ерошка вырастает до фигуры шекспировской силы, похожей на Фальстафа, — личность, которую, однажды встретив, невозможно забыть. Мы видим его массивные, широкие плечи, густую бороду, серую, как луна; даже его запах остаётся с нами — «резкий, но не неприятный, смесь чихира [кавказского вина], водки, пороха и запёкшейся крови». «Казаки», когда Толстой наконец завершил их, стали результатом девяти лет его кавказского опыта. И в образе Ерошки с его почти языческим принятием жизни мы видим явный контраст с мучительным, утончённым и городским морализмом молодого Оленина. Такой «осмысленный» взгляд на Ерошку, возможно, был сформирован из реальных бесед с великаном Епишкой.

*Все Бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет. Хоть с зверя пример возьми. Он и в татарском камыше и в нашем живет. Куда придет, там и дом. Что Бог дал, то и лопает. А наши говорят, что за это будем сковороды лизать. Я так думаю, что все одна фальшь, -- прибавил он, помолчав.*

*-- Что фальшь? -- спросил Оленин.*

*-- Да что уставщики говорят. У нас, отец мой, в Червленой, войсковой старшина -- кунак мне был. Молодец был, как и я, такой же. Убили его в Чечнях. Так он говорил, что это все уставщики из своей головы выдумывают. Сдохнешь, говорит, трава вырастет на могилке, вот и все. (Старик засмеялся.) Отчаянный был!*

*-- А сколько тебе лет? -- спросил Оленин.*

*-- А Бог е знает! Годов семьдесят есть. Как у вас царица была, я уже не махонький был. Вот ты и считай, много ли будет. Годов семьдесят будет?*

*-- Будет. А ты еще молодец.*

*-- Что же, благодарю Бога, я здоров, всем здоров; только баба, ведьма, испортила...*

*-- Как?*

*-- Да так испортила...*

*-- Так, как умрешь, трава вырастет? -- повторил Оленин.*

*Ерошка, видимо, не хотел ясно выразить свою мысль.*

*Он помолчал немного.*

*-- А ты как думал? Пей! -- закричал он, улыбаясь и поднося вино.[[78]](#footnote-78)*

К моменту окончательной доработки «Казаков» Толстой уже не стремился изобразить Оленина увлечённым женщинами ведьминского облика, способными «погубить» мужчин непостижимыми способами. Казачьи красавицы в итоге ускользают от Оленина. В реальной же жизни Епишка Сехин с удовольствием выполнял роль посредника для Толстого. В июле и августе его фавориткой стала цыганка Катя. Её «песни, глаза, улыбки, грудь и нежные слова» завораживали Толстого. «Я пел у окна одну, хотя не из любимых моих песен - «Скажи зачем» — но песню, которую говорила мне Катя, сидя у меня на коленях в тот самый вечер, когда она рассказывала мне, что она меня любит и что оказывает расположение другим только потому, что хор того требует, но что никому не позволяет, кроме меня, вольностей, которые должны быть закрыты завесою скромности. – Я в этот вечер от души верил во всю ее пронырливую цыганскую болтовню», — записал он 10 августа, — «был хорошо расположен, никакой гость не расстроил меня».

Если Толстой и пролил несколько слёз по Кате, это не помешало ему проявлять интерес к другим женщинам в деревне. 25 августа он писал: «Вчера у меня была казачка. Я почти всю ночь не спал... Невыдержал характера». А 26-го: «Целый день ничего не делал... Шлялся вечером по станице, девок смотрел». «28-го минуло мне 23 года. Много рассчитывал я на эту эпоху, но к несчастию я остаюсь все тем же...»[[79]](#footnote-79). Однако осенью, следуя наставлениям Николая, он перебрался в Тифлис с намерением поступить на военную службу. В октябре его зачислили в 4-ю батарею (ту самую, где служил Николай) 20-й артиллерийской бригады, в качестве нижнего чина 4-го класса.

Это было скромное начало его военной карьеры. Несомненно, в Тифлис Толстой отправился главным образом для того, чтобы сдать армейские экзамены. Однако ему также была необходима медицинская помощь. В течение трёх недель он мучился от язв на языке и внутренней стороне рта, болей в спине, бессонницы и лихорадки. Сначала врачи подозревали сифилис, но, скорее всего, это было обострение гонореи, которой он заболел ещё в своей юности в Казани. В декабре он написал Николаю: «Венерическая инфекция вылечена, но последствия лечения ртутью невыносимо болезненны (me font souffrir l’impossible)».[[80]](#footnote-80)

Это письмо Николаю было далеко не единственным творением пера Толстого во время его выздоровления в съёмном жилье в уютном среднеклассовом районе Тифлиса. «Здесь очень красиво, я окружён виноградниками... и, к тому же, получаю бесплатную практику в немецком», — писал он.».[[81]](#footnote-81)

Это упоминание о немецком объясняется тем, что в Тифлисе была значительная немецкая колония. Толстой писал тете, что это «цивилизованный город, который многое перенимает у Петербурга и почти удается имитировать его».

В своём дневнике, который он забросил с сентября, Толстой записал знаменитые мысли, которые его жена сочла оскорбительными, когда прочла их спустя четырнадцать лет: «Я никогда не был влюблён в женщин... В мужчин я очень часто влюблялся...». Боль от лечения ртутью стоит учитывать, когда мы читаем его заявления о том, что он никогда не любил женщину. (Записи в дневнике за всё лето свидетельствуют о его чистой любви к Зинаиде в Казани и обожании Кати в деревне.) Он особенно размышлял о своей привязанности к семье Исленьевых и своей одержимости молодым человеком, «внешне очень привлекательным, но», как он позже отметил, «глубоко аморальным», во время своего пребывания в Санкт-Петербурге.

Как и выбор одежды, психосексуальные нормы во многом диктуются модой. Мы не можем это доказать, но можем с уверенностью сказать, что истории любви Шекспира, Оскара Уайльда и Мика Джаггера, к примеру, были бы совершенно иными, если бы они родились в других веках. Откуда берутся сексуальные моды — сказать не так просто, как невозможно утверждать, что якобы основополагающие произведения (такие как «Паломничество Чайльд Гарольда», фрейдовские «Лекции по психоанализу» или «В дороге» Джека Керуака) непременно отражают или формируют господствующее настроение десятилетия. Однако одно бесспорно: Диккенс — фундаментальный писатель, особенно в России. Все его произведения переводились на русский практически одновременно с их выходом на английском, но именно «Домби и сын» в 1847 году имел наибольший успех.[[82]](#footnote-82) «Домби-мания» охватила салоны Москвы и Санкт-Петербурга, и, безусловно, она не обошла стороной и Толстого. «Дэвид Копперфильд» публиковался частями в Англии с мая 1849 по ноябрь 1850 года и вскоре был переведён на русский язык. Его успех превзошёл даже необычайный приём «Домби и сын», и очевидно, что Толстой был среди его читателей. В письме от декабря 1851 года он вскользь упоминает мистера Микобера таким образом, что можно предположить, будто его брат Сергей точно поймёт, о чём идёт речь. Было бы странно, если бы братья Толстые, как и многие читающие россияне того времени, не оказались увлечены Копперфильдом. В последующие годы Толстой признавался, что Диккенс был его любимым писателем, а «Дэвид Копперфильд» — любимой книгой.

Легко понять, почему роман имел такое особенное значение для Толстого в то время; легко увидеть, почему после того, как Толстой прочитал его, *«Дэвид Копперфильд»* стал моделью для его собственных автобиографических размышлений, полезным дополнением к *«Эмилю»* Руссо.

Диккенс унаследовал от Руссо концепцию первозданной невинности, вероятно, даже не читая его; он просто впитал те идеи, которые романтическое поколение почерпнуло у Руссо, так же как поздние поколения фрейдистов не считали нужным читать самого Фрейда. В мире Диккенса дети — это ангелы. Их невинность извращается лишь жестокостью и неумелостью взрослых, грязью городов, убожеством приютов и абсурдностью классового устройства общества.

На более глубоком уровне восхищение Копперфильда Стирфортом точно соответствует чувствам, которые Толстой испытывал к молодым людям, вызывавшим у него восторг. Вполне возможно, что отношения между Копперфильдом и Стирфортом подсказали Толстому, как он должен понимать свою привязанность к таким молодым людям, которых он, начиная с казанских дней, «любил» больше, чем женщин. («Я влюблялся в мужчин до того, как узнал о возможности педерастии; но даже когда я узнал об этом, мысль о совокуплении никогда не приходила мне в голову»). Что делает Диккенс (и Толстой использовал этот приём в различных формах на протяжении следующих двадцати лет), так это то, что бурная мужская сексуальность представляется страстно притягательной с мужской точки зрения, но с женской — она разрушительна. Копперфильд обожает Стирфорта, а всё то, что восхищает его в Стирфорте, в итоге приводит к «падению» маленькой Эмили. Но когда маленькая Эмили теряет свою невинность, все читатели вынуждены признать, что лучше было бы, если бы воды закрылись над её головой.

Пушкин уже (как в *«Евгении Онегине»,* так и, трагически, в собственной жизни) перевернул байронический образ, противопоставив сексуальному завоевателю две вещи, с которыми тот не смог справиться: чистоту добродетельной женщины и смерть. В следующем поколении мужская сексуальность и женская невинность окончательно поляризовались. Возникла связь — что не удивительно для поколения, настолько пронизанного венерическими болезнями, — между сексом и смертью. Мужчины, тоскующие по своей утраченной невинности, выдумывали для себя идеальное детство и матерей, столь же безупречных, как Дева Мария в Лурде, явившаяся миру через восемь лет после публикации *«Дэвида Копперфильда».*

В одной из самых увлекательных книг по данной теме Хью Кингсмилл[[83]](#footnote-83) отмечает, что культ детской невинности достиг своего апогея именно в то время, когда Толстой вступал в зрелость — в начале 1850-х годов. Например, Теккерей, в 1830-х и 1840-х годах, описывал свои школьные дни в Чартерхаусе как жестокое и ужасное место, каким оно, по сути, и было. Его зарисовки школьной жизни носили ироничное название *«Доктор Берч и его молодые друзья».* Однако к началу 1850-х годов, когда он писал *«Ньюкомы»* (и, кстати, когда он заразился сифилисом, что Кингсмилл, между прочим, обходит стороной), Теккерей поддался новому духу времени. Школа, некогда грозная и беспощадная, преобразилась в уютную Грей Фрайерс, и вместо хулиганов, жестоких наказателей и доносчиков, характерных для *«Доктор Берч и его молодые друзья»*, мы видим «маленького розовощекого мальчика с белокурыми волосами в мантии», которого полковник Ньюком, умирающий ветеран из госпиталя Грей Фрайерс, полюбил всей душой. Мальчик весело болтает у его постели о недавнем матче по крикету с мальчиками из Сент-Питерса, пробуждая у умирающего полковника воспоминания о собственных крикетных победах в юности. В конце концов, Клайв Ньюком сочтёт необходимым отпустить мальчика с сувереном на пирожные. "Что ж, беги, белокурый шалун в форменной курточке!" — завершает Теккерей. "и да хранит тебя бог, дружок!"[[84]](#footnote-84)

В этой необычной обстановке Толстой начал свое литературное обучение, находя его, как нетрудно догадаться, чрезвычайно увлекательным. В ноябре 1851 года, после длительного перерыва, он писал из Тифлиса своей тёте Туанетте, что, хотя ему приходилось дожидаться своих военных документов, скука ему не грозила. «Вы помните, дорогая тётя, тот совет, который вы однажды дали мне — писать романы? Что ж, я последовал вашему наставлению, и то, чем я сейчас занят, — это создание литературы. Я не знаю, будет ли то, что я пишу, когда-либо опубликовано, но эта работа меня по-настоящему увлекает, и я слишком далеко зашёл, чтобы теперь её оставить».[[85]](#footnote-85)

Он переписывал и полностью пересматривал свою работу, известную как «Детство». Чтобы предыдущие абзацы о Диккенсе и Теккерее не казались неуместными, важно осознать, что происходило с Толстым в этот момент. Мы прикасаемся к самой сути того, что делает вызов написания биографии великого романиста столь трудным, а также к тому, что вызывает сомнения во всем искусстве биографии как таковом. Толстой был глубоко сосредоточен на самом себе, и именно эта зацикленность сделала его писателем. Однако можно повернуть истину иначе: можно сказать, что только через вымысел литературы он мог осознать или придать форму бессвязности существования.

Большинство людей проходит свой путь от рождения до смерти, не оставив за собой следа. Их жизни остаются незаписанными, и только теология могла бы предположить, что эти индивидуальные судьбы имеют какое-то предыдущее или будущее существование, или даже, что во время их земного бытия у них есть какое-то ощутимое значение. Для большинства это «рассказ, полный шума и ярости, не значащий ничего». Но что еще более значимо — это рассказ, который не рассказывается. Лишь через повествование мы создаём иллюзию того, что есть история, которую стоит рассказать. Возникновение романа, совпавшее с расцветом биографии, страстью к дневникам, письмам, личным исповедям и мемуарам, пришло незадолго до или в эпоху Руссо, и дало тем, кто мог выражать себя, возможность придать форму и сохранить те моменты, которые иначе были бы забыты, выстроить баррикаду против забвения и смерти. Записывая разговоры Джонсона или Людовика XIV, Босуэлл и Сен-Симон создали что-то по своей сути искусственное. Они превратили мимолётные вещи в мраморные монументы. Сам акт записи — это уже акт вымысла. Роман и биография, как быстро осознал молодой Толстой, не так уж и различны. Он любил как «Эмиля», так и «Исповедь» Руссо не потому, что они были далеки от него, а потому, что в глубине души он был убеждён, что они говорят о нём. Диккенс произвёл аналогичное впечатление, повлияв не только на романы, которые Толстой должен был написать, но и на то, как он вел свои дневники, записывая свою собственную жизнь.

Критик Эйхенбаум давно утверждал, что дневники Толстого нельзя воспринимать как точную хронику событий, какими бы искренними они ни казались на момент их написания.[[86]](#footnote-86) Скорее, их стоит рассматривать в свете дневниковых традиций XVIII века, таких как у Руссо и Франклина, на которых Толстой иногда сознательно равнялся. Когда его увлечение романом «Дэвид Копперфильд» достигло своего пика, Толстой начинает видеть свои дружбы через призму отношений между Стирфортом и молодым Дэвидом. Так, он описывает себя как «почти влюблённого» в Дьякова в Казани или признаёт, что его привязанность к Иславину «омрачила» восемь месяцев его жизни в Петербурге.[[87]](#footnote-87) Здесь, как и во многих подобных ситуациях, грань между гомоэротизмом и нарциссизмом очень тонка. Маленький Дэвид восхищается Стирфортом потому, что хочет быть похожим на него. Восхищаясь этой сильной мужской энергией, он может испытывать к ней привязанность, не чувствуя при этом угрызений совести за свои собственные желания. Таким же образом, Стирфорт ухаживает за всеми «маленькими Эмили» этого мира, оставляя Дэвиду роль «невинного» наблюдателя, чьи чувства к Эмили не омрачаются сексуальными желаниями.

Мы видим этот процесс в работе Толстого над первой и второй версиями *«Детства»,* когда он жил в немецком пригороде Тифлиса. Первая версия *«Детства»* началась как попытка выразить одержимость Толстого семьёй Исленевых. Воспоминания о детской комнате, как и семейные обстоятельства, принадлежали его любимому Иславину. Основная интрига первой версии была связана с тем, как дети узнают, что их родители не были женаты (действительно, Исленевы были незаконнорожденными). Это был первый этап творческого процесса, который можно назвать гомоэротическим. В пересмотренной версии[[88]](#footnote-88) любовь к Иславину становится глубокой самооценкой Толстого. Детали незаконнорожденности Иславина исчезают. Маленькому Николаю начинают приписывать черты, которые, как рассказывали Толстому его тётя и брат, принадлежали ему самому в детстве. Ему приписывают воспоминания, которые выходят за рамки его личного опыта, например, Ясная Поляна перед смертью его матери.

Основная драма рассказа также меняется: на смену интриге с незаконнорожденностью Исленевых приходит более глубокая тема, подобно *«Дэвиду Копперфильду»* — смерть матери.

Критики отметили, что в некоторых ключевых сценах рассказа (таких как описание горя маленького мальчика из-за смерти матери) существует предложение за предложением совпадение между *«Детством»* и *«Дэвидом Копперфильдом».* Другие моменты выявляют странное смещение временной шкалы в книге. Они показывают, что то, что представляется чувствами маленького мальчика, на самом деле является чувствами взрослого. Вы увидите это, например, в повторяющихся навязчивых утверждениях, что повествователь не помнит лица своей матери.[[89]](#footnote-89)

Как ни парадоксально, это добавляет некую патетическую пронзительность и подлинность нарративу, так как одна из особенностей реального горя заключается в том, что черты любимого человека, которого один изо всех сил пытается вспомнить, остаются навсегда неуловимыми. Тем не менее, вряд ли в таких обстоятельствах кто-то мог бы сказать – о реальной потере – что лицо ускользает от памяти потому, что оно видится сквозь слёзы, «слёзы воображения», как говорит повествователь в третьей главе *«Детства».* Это слова человека, который почти сознательно создаёт для себя память, которой у него нет, о матери и, возможно, о целом детстве, которые на самом деле были для него пустотой или бессвязным набором впечатлений, которые, пока они не были превращены в искусство, не имели для него никакой связности и смысла.

Текст "Детства" наполнен доказательствами того, что детское воображение на самом деле принадлежит молодому человеку. Уже упоминалось о том, как он постоянно говорит о своих "маленьких конечностях", одежде и так далее, называя их "крошечными". Это осознается только тогда, когда ты находишься снаружи тела, смотря на него. Изнутри, будучи ребенком, ты не думаешь о себе как о маленьком; хотя ты можешь думать о остальном мире как о большом, но это не одно и то же.

Более того — и это тот факт, который биографы постепенно осознают — «воспоминания» из *«Детства»* во многих случаях отражают впечатления зрелого человека, его недавние переживания и события, которые произошли с ним в течение того года, когда создавался роман. В этих страницах переплетается опыт жизни с Николаем, его несколько властным старшим братом (безусловно, в их беседах всплывали многие детские воспоминания); дружеские отношения с солдатами; радости охоты; любовная игра с Катей; даже доброжелательные немецкие хозяева, у которых Толстой снимал жильё в пригороде Тифлиса, были словно перенесены в атмосферу *«Копперфилда»* и превратились в отголоски далёкого прошлого. Молодой Толстой, в тот период живший с братом Николаем, постепенно начинал видеть в нём навязчиво защитную фигуру, что подтверждается множеством шутливых упоминаний в его письмах. В *«Детстве»,* с характерной для него потребностью воплощать внутренние одержимости в своих героях (что присуще многим романистам), Толстой называет себя Николаем, а своего обременяющего старшего брата — Володей

Воспоминания о реальном немецком учителе старших братьев Толстого, Фёдоре Ивановиче, превратились в образ дорогого Карла Иваныча, пока Толстой наслаждался немецкими пригородами Тифлиса. Его увлечение семьей Исленевых, и в особенности молодым Иславиным, когда ему было около двадцати лет, преобразилось в детскую страсть. Толстой писал: "Его красота поразила меня с первого взгляда. Я чувствовал непреодолимое влечение к нему. Видеть его было достаточно, чтобы сделать меня счастливым, и в одно время вся сила моей души была сосредоточена на этом желании." Это почти дословный пересказ его записей об Иславине. Подобный язык часто использовали увлечённые молодые люди (как, например, Шекспир и Саутгемптон) для выражения чистой, но страстной дружбы, лишённой каких-либо сексуальных подтекстов. Это чувство редко возникает между детьми, особенно десятилетними.

Также живые описания охоты в «Детстве» скорее отражают свежие воспоминания о реальных охотах с полком на Кавказе. Это сродни тому, как Пруст, восхищаясь цветущими яблонями, спешил вернуться в свою парижскую комнату, обшитую пробкой, чтобы сразу же записать свежие воспоминания о детстве. Детские воспоминания, как правило, у взрослых людей не такие яркие, потому что они ускользают от нас с годами. Это делает их особенно притягательными, особенно для Толстого, который, с точки зрения психологии, вероятно, никогда не имел полноценного детства, как мы это понимаем сегодня, лишённого родительской опеки и привязанности. У него просто не было того, что можно было бы назвать целостными детскими воспоминаниями — их необходимо было создать. Именно поэтому его детство вымышленное, воображаемое, а не настоящая ретроспектива. Важным моментом является то, что Толстой, неспособный принять языческую, прямую трактовку отношений, как это делал Ёпишка, должен был оправдать свои переживания через искусство, придавая им невинность. Катя, которую он любил за несколько месяцев до написания книги, и от которой, возможно, подхватил болезнь, требовавшую лечения ртутью, превращается в *«Детстве»* в Катеньку, двенадцатилетнюю дочь домашней крепостной Мими. Катенька изображена как ещё *девочка*, не *девушка*, однако сцена в девятой главе, где повествователь, его брат Володя, сестра Люба и Катенька собирают гусениц, могла бы вызывать более взрослые ассоциации, если бы не предполагалось, что повествователь — десятилетний мальчик. Толстой описывает момент: *Я смотрел через плечо Катеньки, которая старалась поднять червяка на листочке, подставляя ему его на дороге.*

*Я заметил, что многие девочки имеют привычку подергивать плечами, стараясь этим движением привести спустившееся платье с открытой шеей на настоящее место. Еще помню, что Мими всегда сердилась за это движение и говорила: C'est un geste de femm de chambre [Это жест горничной]. Нагнувшись над червяком, Катенька сделала это самое движение, и в то же время ветер поднял косыночку с ее беленькой шейки. Плечико во время этого движения было на два пальца от моих губ. Я смотрел уже не на червяка, смотрел-смотрел и изо всех сил поцеловал плечо Катеньки. Она не обернулась, но я заметил, что шейка ее и уши покраснели. Володя, не поднимая головы, презрительно сказал:*

*-- Что за нежности?*

Толстой, хотя и писал об этих сценах с глубокой эмоциональной вовлечённостью, вероятно, всё-таки описывал не детские, а более взрослые чувства, проецируя их на своё раннее воображаемое детство.

*У меня же были слезы на глазах.*

*Я не спускал глаз с Катеньки. Я давно уже привык к ее свеженькому белокуренькому личику и всегда любил его; но теперь я внимательнее стал всматриваться в него и полюбил еще больше.[[90]](#footnote-90)*

Параллели между двумя юными возлюбленными на пляже Ярмута в романе Диккенса совершенно очевидны. Катенька, как и маленькая Эмили, тесно связана с домашней прислугой матери рассказчика. Их любовь задумывалась как чистая и непорочная, являя собой резкий контраст с тем, что впоследствии могло произойти между Эмили и Стирфортом. И хотя Толстой стремился создать в образе Катеньки свою собственную "маленькую Эмили," этот замысел не совсем удался. В отличие от Дэвида, целующего Эмили наедине, Николай не одинок в своём порыве к Катеньке — рядом с ним презрительно наблюдает его старший брат. Это напоминает эпизод много лет спустя, когда другой брат следил за Толстым в казанском борделе, где Лев Николаевич (ненамного старше предполагаемого рассказчика *«Детства»*) впервые познал физическую близость и разрыдался у постели. Прошло совсем немного времени с тех пор, как его губы вновь прикоснулись к реальной Катеньке. Из дневников известно, что настоящая Катя любила сидеть у Толстого на коленях, нежно уверяя его в том, что он — единственный мужчина в её жизни. Её хрупкие лопатки оставались для него особенным, живым воспоминанием. «Счастливые, счастливые, невозвратные дни детства! Как можно не любить и не ценить эти воспоминания?» — вопрошает он, словно признавая, что его детские фантазии были так же дорогие, как и сами воспоминания.

Неудивительно, что, оглядываясь на свою карьеру писателя в старости, Толстой особенно ненавидел *"Детство"* за то, что оно было написано неискренне, представляло собой бессвязный набор событий из его собственного детства и детства его друзей. Он вспоминал, что в то время принадлежащая ему форма выражения и вовсе была подражательна, ведь он находился под влиянием двух писателей – Стерна *("Сентиментальное путешествие")* и Тёпфера *("Библиотека моего дяди")*, которые тогда сильно повлияли на него.[[91]](#footnote-91) Типично для периодических вспышек иррациональной зависти Толстого к писателям, которых можно было считать такими же великими, как он, что он удобно забывает о Диккенсе в этот момент и привлекает гораздо менее значимую (и как писателя совершенно незначительную) фигуру Тёпфера. К тому времени, когда эти слова были сказаны, волшебная палочка Прозерпины была сломана и отброшена. Также был отброшен культ поклонения непорочной матери, будь то в детских воспоминаниях или в церковных иконах. К тому времени Иисус стал моделью, и, как все великие модели Толстого, модель Иисуса Толстой опрокинул и и создал свою модель. К тому времени он решил быть сам себе невинным, сильным сыном Божьим. Литература была прозрена насквозь за то, чем она была, и его жизнь была видна как разделенная на четыре великих этапа: период детской невинности; период, посвящённый амбициям и, прежде всего, похоти; период его ранней супружеской жизни; а затем благословенный период его собственного возрождения, когда он отбросил лавры художника и принял на себя пророческое одеяние.

Трудно сказать, почему мы должны считать, что воспоминания старого Толстого более подлинны, чем воспоминания его молодости. Тот факт, что в преклонном возрасте воспоминания всплывают с такой яркостью (когда уже давно ушли из жизни те, кто мог бы их оспорить), не гарантирует их точности. Кто может утверждать, что воспоминания — это не своего рода вымысел? Что естественно проживать жизнь, не перегружая её множеством историй, не запечатывая её эгоистичной интерпретацией? Это было то, чего Толстой никогда не мог себе позволить. Ранние годы его жизни были слишком туманны и, возможно, слишком болезненно неясны, чтобы обойтись без попыток их осмыслить и пересоздать.

Было бы, вероятно, более правдиво, если бы пришлось делить его жизнь на фазы, считать жизнь Толстого разделенной на три четких этапа. В первой фазе у нас есть повышенный интеллект, который не имеет объекта сосредоточения; страстная чувствительность, которая чувствует вещи настолько остро, что почти готова взорваться; глаза, которые видят ярче, уши, которые слышат острее, ноздри, которые чувствуют запахи отчетливее, чресла, которые испытывают желание сильнее, чем у обычных смертных. История этой чувствительности — это беспорядок: фальстарты, ушедшие в мир иной тети, несчастные дома. Неимоверно сильная, эта чувствительность абсолютно лишена каких-либо направляющих мотивов и тянется то в одну сторону, то в другую. Толстой не знает, куда он идет, эмоционально, географически или в самых прозаических терминах своей внешней карьеры. Должен ли он быть щеголем в Санкт-Петербурге или картежным бонвиваном в Москве, или набожным деревенским фермером? Какая сторона будет в нем сильнее, его отчаянная потребность быть любимым и одобренным его собственным полом или его подавляющая физическая слабость перед противоположным полом? Как это получается, что, как бы он ни пытался наложить порядок на свое существование, оно впадает в хаос?

Таков первый этап; и это тот этап, который почти невозможно реконструировать, потому что мы можем представить его, так сказать, только изнутри. Это все равно что пытаться представить черепаху без панциря. Затем, с *"Историей вчерашнего дня"*, происходит фальстарт, указывающий на путь к спасению, и в *"Детстве"* это спасение наступает. Невыносимый хаос и агония жизни, так же как ее неуправляемые удовольствия и завораживающая необратимость истории, могут быть укрощены. Посредством прозы было возможно преобразить сам опыт.

Одна из удивительных особенностей Диккенса как писателя — это сила, с которой он захватывает внутренний мир каждого читателя. В какой-то мере те, кто лишь читают *"Дэвида Копперфильда"*, чувствуют, что воспоминания детства Дэвида были и их собственными. Для Толстого заклинание девяти или десяти лет интенсивной читательской жизни — в которой Руссо, Стерн и Диккенс были наиболее формирующими влияниями — наконец приняло форму в его способности писать. Генри Джеймс, в одном из своих великолепных выпадов (на этот раз в адрес миссис Хамфри Уорд), извинился за свое низкое мнение о *"Роберте Эльсмире"* тем, что он не мог читать романы, только писать их. Он, вероятно, говорил от лица всех романистов. Толстой, вероятно, сказал бы то же самое, если бы у него было хоть немного самосознания; но, как многие одержимые собой люди, он был полностью лишен самопознания, поэтому в течение следующих двадцати лет он мог писать художественную прозу с самоотречением святого. Проблемы начались только тогда, когда он решил, что художественная литература ему больше не подходит, и что святой, а не романист, это то, чем он должен стать.

3 июля 1852 года Толстой нашёл в себе смелость и отправил своё произведение *"Детство"* петербургскому редактору. "Моя просьба не потребует от вас больших усилий, и я уверен, вы не откажете мне. Прочтите этот рукописный текст, и если он не годится для публикации, верните его мне. В противном случае оцените его, отправьте мне то, что посчитаете справедливым, и опубликуйте в вашем журнале..." [[92]](#footnote-92)

Тон этого письма был довольно властным, и это удивительно, когда осознаешь, что он писал не просто редактору, а редактору журнала *"Современник"*, который в начале 1850-х годов считался одним из центров литературной жизни. Следует сказать пару слов о позиции и истории этого периодического издания, а также о литературной среде Санкт-Петербурга в десятилетие до начала работы Толстого.

В то время русские интеллектуалы разделились на московских "славянофилов", которые в целом были националистичны, религиозны и консервативны, и петербургских "западников", чьё название говорит само за себя: они были в основном левыми в политике, прогрессивны в социальных и моральных вопросах, свободомыслящими в религии. Их главным периодическим изданием в 40-х годах были *"Отечественные записки".* С ними сотрудничали Тургенев, Герцен, Некрасов, Бакунин, Грановский и молодой Достоевский. В середине 40-х произошёл раскол среди авторов этой газеты, и Белинский, ведущий критик того времени, покинул издание, за ним последовали все более радикальные и западнические писатели – особенно Герцен, Некрасов и Панаев. Некрасов и Панаев смогли приобрести *"Современник",* который был основан самим Пушкиным. Они намеревались сделать его трибуной для всех своих (уже несколько устаревших) радикальных идей.

У них были трудности. Герцен, который, безусловно, был бы одним из их ведущих авторов, был выслан в 1847 году; а следующий год – так называемый год революций в Европе –, как мы видели, сделал правительство Николая I особенно нервным. Император назначил А. С. Меньшикова главой комитета, задачей которого была цензура радикальной и интеллигентной прессы, в частности *"Отечественных записок"* и *"Современника".* Это действие только усилило уважение к обоим газетам среди интеллигенции, образованной аристократии и дворянства. Любой, кто хотел, чтобы его произведения были восприняты всерьез, хотел бы быть опубликованным Некрасовым. Обращаясь к нему, Толстой обратился прямо к вершине.

Как литературная фигура, Некрасов, возможно, наиболее известен своими бурными похоронами. Он скончался в декабре 1877 года, и тысячи людей — в основном студенты, интеллигенция и радикальные мыслители — сопровождали его гроб до могилы. На кладбище Достоевский произнёс речь, в которой заявил, что Некрасов заслуживает место рядом с Пушкиным и Лермонтовым в пантеоне русских поэтов. «Выше Пушкина и Лермонтова!» — выкрикнул молодой голос из толпы. После этого похороны превратились в страстный литературный спор: одни настаивали на превосходстве Некрасова над Пушкиным, другие считали, что подобное утверждение возносит его слишком высоко.

Толстой впоследствии столкнулся с тем, что его оценивали не столько по литературным заслугам, сколько по тому, что он символизировал. Русские писатели словно сами просят такого отношения, и даже если они этого не делают, русские читатели неизбежно накладывают на них свои ожидания. Для меня, западнизированного участника поздних дискуссий, начавшихся у могилы Толстого, трудно разглядеть значительные литературные достоинства в творчестве Некрасова. Его стихи кажутся мне снисходительными и чрезмерно сентиментальными, когда он описывает тяжёлую судьбу крестьянина. Причём пишет он это стихами, которые, как признавал даже один из его более снисходительных российских критиков, были «крайне неравными и… непоэтичными». Тем не менее, с такими произведениями, как *«Мороз, Красный нос»* и незавершённая поэма *«Кому на Руси жить хорошо»*, Некрасов не мог не завоевать симпатии.

К моменту смерти Некрасова, Толстой уже покинул журнал *«Современник».* Но важно помнить, что он начинал именно там — в журнале, который публиковал радикальные произведения Чернышевского и шедевр Гончарова *«Обломов».* Толстой в юные годы стремился войти в круг выдающихся писателей своего времени и примкнуть к столичной радикальной моде.

Он не учёл ни навязчивых привычек редакторов, ни нетерпимости цензоров. Когда *«Детство»* было опубликовано в *«Современнике»,* автор был возмущён, обнаружив, что текст был изменён. Даже название было другим: «История моего детства».

«Уважаемый господин,» — написал Толстой Некрасову, — «я был крайне недоволен, прочитав в «Современнике» номер IX рассказ под названием «История моего детства» и узнав в нём роман «Детство», который я отправил вам... Название «История моего детства» противоречит идее произведения. Кому интересна история моего детства?..»[[93]](#footnote-93) В яростном списке юный автор перечислял все эпитеты и фразы, которые редактор изменил, и объяснял, почему предпочитает оригинальную версию. Но публикация в *«Современнике»* сразу же сделала Толстого известным. Тургенев был щедр в похвалах. Хотя он страстно увлекался Англией, интересно, что он не заметил, насколько велик был долг Толстого перед *«Дэвидом Копперфильдом»,* и был удивлён, когда после перевода рассказов на английский язык лондонские рецензенты считали *«Детство»* лишь бледным подражанием Диккенсу.

Тургенев прочитал *«Детство»* в тишине своего поместья в Спасском, куда он был внутренне изгнан, после того как несколько месяцев назад был арестован за неосторожно некролог Гоголю. Достоевский же ознакомился с сентябрьским выпуском *«Современника»* в далёкой Сибири, где находился в ссылке. Работа была подписана инициалами Л.Н.Т. Изначально Достоевский был чрезвычайно впечатлён произведением, однако вскоре привычная неловкость и ревность, которые всегда омрачали его отношения с Толстым, взяли верх. Эти два писателя, несмотря на величие своих дарований, упорно избегали любых контактов друг с другом. «Я очень люблю Льва Толстого,» — писал позже Достоевский, — «но, на мой взгляд, он больше ничего не напишет…»[[94]](#footnote-94)

Ничто не могло быть дальше от истины, как должно было подсказывал инстинкт Достоевского. С этого момента Толстой был писателем: то есть человеком, чья жизнь определяется тем, что он пишет или не пишет. В течение следующих двух лет он писал непрерывно. В условиях, которые можно было бы назвать, мягко говоря, отвлекающими, он создал *«Отрочество»,* *«Юность»,* *«Севастопольские рассказы»,* *«Метель»,* *«Русский помещик»* и большую часть *«Семейного счастья».* Ещё более важно, что он заложил основу опыта, который впоследствии превратится в *«Войну и мир».*

12 января 1854 года Толстой узнал, что его, как и он просил, перевели в 12-ю артиллерийскую бригаду, дислоцированную на Рейне. Он взял месячный отпуск, вернулся в Ясную Поляну, а затем получил от Некрасова письмо с тем, что тому не понравилась его последняя история, «Записки бильярдиста». «Ваши предыдущие работы были настолько многообещающими», — написал Некрасов, — «что продолжать их чем-то настолько невыразительным недопустимо.»[[95]](#footnote-95)

Толстой был полон решимости, словно молодой конь, которого едва удерживают от того, чтобы не истощить себя в самом начале пути. Дневник является свидетельством повторяющихся попыток испробовать разные роли. «Я абсолютно убежден, что обрету славу: это именно поэтому я так мало работаю: я уверен, что мне достаточно только захотеть работать над материалами, которые, как я чувствую, у меня есть внутри... Вот факт, который нужно помнить чаще.» (О ком это он говорит?) «Теккерей потратил тридцать лет на подготовку к написанию своего первого романа, а Александр Дюма пишет по два романа в неделю.»[[96]](#footnote-96) Толстой осознавал наличие в себе огромного дара, но еще не знал, что с ним делать. Затем, как это часто бывало в его судьбе, ему не пришлось принимать решение. Вместо этого он поддался влиянию внешних обстоятельств.

\* Александр Исленев, отец этой семьи, имел шестерых детей от Любови Александровны Козловской до её развода с законным мужем, князем Козловским. Хотя они впоследствии поженились, их союз не был признан по российскому закону, и детям Исленева не разрешили носить фамилию отца. Каждого из них крестили под фамилией Иславин. Отсюда и возникла путаница с фамилиями Иславин/Исленев. Тёща Толстого принадлежала к семье Исленевых, но её девичья фамилия была Иславин.

**ГЛАВА 5**

**КРЫМ**

**1854-1855**

*Средь груды тлеющих костей*

*Кто царь, кто раб, судья или воин?*

Алексей Толстой «Иоанн Дамасский »

Когда Лев Толстой, перешагнув пятидесятилетний рубеж, стал убеждённым пацифистом, его взгляды на войну приобрели поразительную моральную прямолинейность. Всё стало чёрно-белым. Для него война была злом. Не существовало ни двойственности, ни обстоятельств, при которых идея справедливой войны могла бы заслуживать его внимания.​

Несомненно, не случайно он пришёл к этим упрощённым идеям, будучи ветераном Крымской войны — войны, которая была совершенно бессмысленной и явно предотвратимой. Это не был случай западноевропейского деспота, вторгающегося в самое сердце России. Это был не Наполеон, маршировавший на Москву в 1812 году, и не Адольф Гитлер, по какой-то необъяснимо грандиозной причине отвергший нацистско-советский союз и попытавшийся повторить путь Наполеона по заснеженным просторам. Если бы Толстой участвовал в таких кампаниях, как войны против Наполеона и Гитлера, в которых множество русских героев отдали свои жизни за достижимую цель, он, возможно, признал бы, что существуют обстоятельства, при которых война является единственным решением международного конфликта. В конце концов, легко предсказать реакцию Наполеона на «переговорное урегулирование» в 1812 году. Мюнхен показал, что Гитлер думал о переговорном столе. Если русские хотели избавиться от этих деспотических угроз, единственным способом было ведение войны.​

Крымская трагикомедия отличается по масштабу, степени и сути. На кону стоял спор пяти великих держав — России, Пруссии, Австрии, Франции и Британии — по поводу упадка «больного человека Европы», Турецкой Османской империи.​

Идея о том, что русские имеют право на продвижение в Турцию, укреплялась в российском сознании на протяжении всего века. Это было отчасти политически мотивировано — Николай I хотел тёплый порт, и стратегическая важность Константинополя и Дарданелл очевидна для любого, кто когда-либо смотрел на карту Средиземного моря. Если бы он контролировал западную и южную Турцию, российский император мог бы перемещаться от своих черноморских портов, таких как Одесса и Севастополь, через Балканы и далее в восточное Средиземноморье. Если бы он полностью завоевал Османскую империю, он бы контролировал всё Чёрное море на севере, а также все земли, составляющие современную Сирию, Ливан, Израиль и части Египта и Ливии. Очевидно, почему другие сверхдержавы хотели остановить его.​

Существовали также сентиментальные и религиозные мотивы в экспансионистских мечтах Николая. Православный патриарх Константинополя с шестнадцатого века жил под тиранией мусульманского правителя, султана. Теперь, с ослаблением Турции как политической силы, русские начали надеяться, что Бог вернёт патриархат христианам. При этом, возможно, Всевышний освободит различные славянские народы, разбросанные по Балканам, такие как сербы, которые имели свои автокефальные христианские церкви и патриархаты и смотрели на Русскую православную церковь в Москве как на дружелюбного старшего брата.​

Сочетание политического оппортунизма и религиозного рвения хорошо соответствовало целям Николая I, поскольку внешняя война — один из лучших способов объединить население и заставить его забыть о внутренних политических недовольствах. Пока можно было рассматривать Святую Русь как находящуюся под угрозой со стороны нечестивого союза западных протестантов, атеистов и турецких неверных, было легче забыть о положении интеллектуалов, диссидентов, крепостных и о других подобных пятнах на российском ландшафте.​

Хороший пример этого процесса можно увидеть в сознании Толстого того времени. Он был ярым патриотом и полностью на стороне своей страны против угроз со стороны других держав. В этот период он читал, среди прочего, «Хижину дяди Тома». Мы могли бы ожидать, что последователь Руссо и потенциальный анархист увидит очевидные параллели между негритянскими рабами в Соединённых Штатах и рабами на своём собственном поместье. Но его единственным комментарием в дневнике было: «Правда, что рабство — это зло, но наше — очень благожелательное зло». Таково было его восприятие военной ситуации 1853–1854 годов. Рабство, на тот момент, было чем-то, что он мог забыть или чувствовать себя комфортно. Именно этого и хотел Николай I от своего народа.​

Никто не смотрел на деятельность российского императора в Средиземноморье с большим ужасом, чем британцы. Если кто-то и должен был доминировать на мировой арене, они хотели, чтобы это были они. Они уже строили планы по строительству Суэцкого канала в Египте, который связал бы Европу с их обширными имперскими территориями в Индии и Африке. Последнее, что им было нужно, — это могущественная Россия. Поэтому они энергично присоединились к другим державам в протесте против российского вмешательства на Балканах и российского вторжения на османскую территорию.

В начале 1854 года западные союзники выразили обеспокоенность воинственными действиями России, и в марте Великобритания и Франция разорвали дипломатические отношения с Российской империей.​

К тому времени Лев Толстой прибыл в Бухарест и находился с русскими армиями, когда они пересекли Дунай и осадили Силистрию.[[97]](#footnote-97) 22 марта он был назначен в 3-ю батарею 12-й артиллерийской бригады. Шесть недель спустя его прикрепили к штабу командующего артиллерией на Дунае, генерала А. О. Сержпутовского. К концу мая он впервые принял участие в боевых действиях — в спорадических столкновениях между русскими и турецкими войсками в сети укреплений Силистрии.​

Пушки гремели день и ночь, и, хотя он пытался сохранять невозмутимость, Толстой был напуган. Чтобы испытать его храбрость, известный шутник из полка провёл Толстого через открытый участок местности. Молодой солдат казался невозмутимым, но позже признался, что чувствовал тошноту от страха. Однако в целом эта странная война разворачивалась перед его глазами как ужасная игра.​

«По правде сказать, — писал он домой, — странное удовольствие глядеть, как люди друг друга убивают, а между тем и утром и вечером я со своей повозки целыми часами смотрел на это. И не я один. Зрелище было и впрямь впечатляющее — особенно в ночные часы». [[98]](#footnote-98)​

Война как внезапно началась, так и внезапно прекратилась. Боевые действия были прекращены по соглашению. Пруссия и Австрия оказали давление на Николая I, и он приказал вывести войска из спорных балканских территорий. Толстой оказался в марше обратно через Дунай. Война, как таковая, казалась завершённой.​

Однако британские войска под командованием лорда Реглана уже были в пути. В течение жаркого лета около пятидесяти тысяч солдат, английских и французских, с лошадьми и полевой артиллерией, перевозились через Средиземное море.​

В Англии царил огромный энтузиазм по поводу идеи войны. Настоящей войны не было со времен Ватерлоо, почти сорок лет назад. Газеты впервые в истории сыграли реальную роль в разжигании общественного мнения по вопросу, ранее полностью отсутствовавшему в английском сознании: опеке над Святыми местами в Палестине. Несколько репортёров описали суеверных бородатых монахов, охраняющих самые святые христианские святыни, и идея протестантского епископата в Иерусалиме, совместно с немецкими лютеранами, начала приобретать большую привлекательность.​

Внезапно Россия стала угрожающим медведем карикатур журнала «Панч», и британская общественность жаждала сдержать предполагаемые угрозы британским интересам в таких очень британских местах, как Силистрия, Чёрное море и Константинополь.​

К тому времени, когда русские столь неспортивно отступили с спорных земель, британцы были более или менее обязаны вступить в войну. Премьер-министр лорд Абердин и воинственный министр иностранных дел лорд Пальмерстон едва ли могли бы вернуть войска домой без единого выстрела. Кроме того, было бы трудно объяснить, почему более половины из них умерли до того, как увидели бой — жертвы дизентерии, холеры, тифа и других неизбежных болезней, поражавших переполненные транспортные суда в жаркое средиземноморское лето без чистой воды.​

Подкрепления отправлялись в театр военных действий до начала первого акта. И это действительно был театр. Флотилия британских туристов следовала за экспедиционным корпусом, когда он продвигался через Босфор и в Чёрное море. К тому времени все причины и оправдания войны на дипломатическом уровне исчезли. Подстёгиваемые мыслью о том, что, уничтожив русский флот, они устранят угрозу российского господства в будущем, они направились к Севастополю и начали его осаду в начале сентября.​

Толстой всё лето провёл на Дунае. Как и многие молодые люди до и после него, отправлявшиеся на войну в ожидании боевых действий, он на протяжении трёх месяцев не участвовал ни в каких военных операциях. Он немного писал. Работал над «Русским помещиком». Жадно читал: Диккенса, Лермонтова, Гёте. Бездельничал. Наблюдал.​

Затем, в июне, после шести недель мучений от свищей, он согласился на операцию. 30 июня ему сделали операцию под хлороформом, и он признался, что «был трусом». Через три дня он снова играл в азартные игры, страсть к которым в то время овладела им, как дьявол. В перерывах между проигрышами в карты и чтением он посвящал длинные отрывки своего дневника самобичеванию и увлечённому самоанализу.​

**«Да, я не скромен; и поэтому я горд в душе, но застенчив и робок в обществе». « Скромности у меня нет! Вот мой большой недостаток. — Что я такое? Один из 4-хъ сыновей отставнаго подполковника, оставшійся с 7 летнего возраста без родителей под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования**» **«Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован. — Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим (intolérant) и стыдлив, как ребенок»**.[[99]](#footnote-99)

Тем не менее были и утешения: **«Хозяйская хорошенькая дочка также, как я, лежала в своем окне, облокотившись на локти. По улице прошла шарманка, и когда звуки добраго стариннаго вальса, удаляясь все больше и больше, стихли совершенно, девочка до глу бины души вздохнула, приподнялась и быстро отошла от окошка. Мне стало такъ грустно — хорошо, что я невольно улыбнулся и долго еще смотрел на свой фонарь, свет котораго заслоняли иногда качаемыя ветром ветви дерева, на дерево, на заборъ, на небо, и все это мне казалось еще лучше, чемъ прежде....»[[100]](#footnote-100)**

Женщин летом было предостаточно, даже несмотря на то, что военная карьера Толстого развивалась медленно. В июле Толстой — благодаря вмешательству самого князя Горчакова, друга его отца — получил перевод с Дуная в Крым. Путь был долгим — из Бухареста через Россию, через Текучу, Берлад и Аслуй до Кишинёва, где он оставался до ноября. Только в конце года он, наконец, был зачислен в 5-ю лёгкую батарею 12-й артиллерийской бригады. Все эти месяцы его дневник представлял собой простое чередование описаний любовных интриг, раскаяния и чтения (например, «Холодный дом», «Хижина дяди Тома», «Генри Эсмунд», «Разбойники» Шиллера, Жорж Санд, Бальзак и прочие). В минуты апатии он то убеждал себя, что у него чахотка, то принимался за религиозные обеты: **«Желаю веровать в религию отцов моих и уважаю её»** — типичная запись в дневнике.  
Другая: **«Писал неплохо, но немного, пообедал, опять немного пописал, побежал за бабой...»[[101]](#footnote-101)** Толстой, как все истинные писатели, носил свою жизнь с собой, создавая вокруг себя кокон из наблюдательности, праздности и чувственности, в котором расцветает творческий ум.

Когда он прибыл в Крым, один из командиров сразу заметил это. 5-я лёгкая батарея 12-й артиллерийской бригады понесла тяжёлые потери в битве при Инкермане и теперь располагалась примерно в пятнадцати верстах от Севастополя. Условия были суровые. Каждому офицеру солдаты соорудили по маленькой казарменной хижине из досок. Старший по званию офицер Ю. И. Одаховский вспоминал, как Толстой уединялся в своей убогой хижине: **«** **Толстой по ночам играл в карты, днем же сидел в своем бараке один и писал: я заходил к нему в барак и часто заставал его за литературной работой, но о работе этой с ним не заговаривал».[[102]](#footnote-102)**

Одаховский, писавший свои мемуары уже после того, как Толстой стал знаменитым писателем, хотел, чтобы мы поверили, будто у них были отличные отношения. И это вполне возможно, несмотря на запись в дневнике Толстого:  
**«Одаховский, старший офицер, гнусный и мерзкий полячишка... Филимонов, в чьей я батарее, — самое сальное создание, которое можно себе представить...»[[103]](#footnote-103)**

Как и многие наблюдательные умы, Толстой прекрасно умел находить удовольствие в обществе тех, кого презирал (и наоборот — питать ненависть в дневнике к тем, кто в жизни ему был приятен). Этот дар принесёт ему немало страданий в браке, но в юности, будучи застенчивым аристократом среди случайных сослуживцев, он помогал ему выживать.

После целого дня молчаливой работы в хижине молодой граф выходил ужинать с другими офицерами. Одаховского поражало, как тонко Толстой влиял на окружающих. Именно он заводил детские, нелепые игры. Именно он, среди общего веселья и пьянства, уговаривал командира Филимонова балансировать на одной ноге на колышке от палатки. Именно Толстой вручал призы, причём удивлял тем, как точно угадывал вкусы своих товарищей: кто-то, страстно любящий апельсины, получал апельсин, если долго держался на колышке; другой — неожиданно находил у себя пряник, хотя никогда никому не говорил о своей любви к пряникам. Офицеры начали понимать, что среди них есть наблюдатель — человек, который всё запоминает и хранит в уме.[[104]](#footnote-104)

Воспоминания Одяховского не приписывают молодому Толстому типичной для напористого младшего офицера силы. Его влияние проявлялось в наблюдательности и способности к подрывной иронии. Во время ужинов часто звучала критика организации кампании, инженерных решений и размещения артиллерии. Хотя всё это происходило в шутливой форме, Толстой обычно был инициатором подобных обсуждений. Он не был лидером в традиционном смысле и казался чем-то вроде шутника. Товарищи находили забавными его внешность и манеры; его угрюмое молчание прерывалось отрывками изысканной беседы, более уместной за столом московской аристократки, чем в грязной хижине Крыма. Они одновременно развлекались и испытывали беспокойство из-за его крайней моральной уязвимости. Иногда он просто исчезал, и никто не знал, где он находится. Его находили в старой одежде среди солдат, за ухаживаниями за девушками или за карточной игрой.​[[105]](#footnote-105)

Осенью 1854 года ход войны стал мрачным. После неудачной попытки русских отбить французов и англичан в битве при Альме началась осада и бомбардировка Севастополя. В октябре, с наступлением холодов, бои усилились. С 17 октября британская полевая артиллерия и морские батареи начали непрерывную атаку на Севастополь.​

В это время корреспондент лондонской Times встретил лорда Кардигана, командующего лёгкой бригадой. Он спросил журналиста, в насмешливом тоне, который он использовал для высмеивания тех, кого считал женоподобными: «Что это была за стрельба прошлой ночью?» Рассел, зная о склонности Кардигана к ссорам, ответил, что не знает, и попытался пройти мимо. Кардиган сказал своему спутнику: «Вы слышали, сквайр, этот мистер Уильям Рассел ничего не знает о причине той стрельбы. Полагаю, никто не знает». Затем он добавил: «Я никогда в жизни не видел осады, проводимой по таким принципам». Учитывая, что Кардиган никогда в жизни не видел осады, это было неудивительно. Лишь немногие старые офицеры армии могли вспомнить последнюю войну. Лучшей подготовкой Кардигана к предстоящим событиям были охотничьи выезды, что, возможно, частично объясняет, почему он повёл свой полк в ту знаменитую атаку неделю спустя в битве при Балаклаве. Героизм атаки лёгкой бригады оказал на ход войны примерно такое же влияние, как если бы Кардиган остался дома и охотился на лис. С наступлением зимы солдаты с обеих сторон столкнулись с холодом и болезнями, что стало столь же серьёзным испытанием, как и сражения. Всё больше становилось ясно, что идея кавалерийского вторжения в Крым французами и британцами была совершенно безумной. Всё зависело не от великих сражений, а от хода осады Севастополя. И именно в разгар этой борьбы оказался Толстой. Он пропустил знаменитые битвы при Инкермане и Балаклаве и читал газетные отчёты о них со смесью ярости и благоговения. Сражение при Инкермане стало, возможно, наиболее постыдной страницей в российской военной летописи: обладая численным перевесом, русские войска потерпели поражение от западных союзников, потеряв за один день более десяти тысяч человек. «Ужасная бойня! » — записал Толстой в своём дневнике. «Это будет тяжёлым бременем на душах многих! Господи, прости их! »​

Это была совершенно бесполезная трата жизней. В 1812 году русские умирали, потому что Наполеон хотел захватить их страну. В 1854 году они умирали из-за некомпетентности небольшой группы аристократических бездельников, без какой-либо определённой цели. Ни одно из сражений в Крыму не было необходимым.​

После Инкермана Толстой, находившийся в Кишинёве, подал прошение о переводе в сам Севастополь, и его просьба была удовлетворена. По пути он встретил британских и французских военнопленных. Он восхищался ими. Физически и морально они казались ему более впечатляющими, чем их русские коллеги.​

Условия в Севастополе были ужасными. Он пробыл там всего неделю во время этого визита и часто терялся в лабиринте батарей. Против врага на юге было направлено пятьсот орудий крупного калибра. Более чем военные масштабы операции, Толстого впечатлил дух места. «В дни древней Греции не было такого героизма». Повсюду лежали умирающие и мёртвые. Женщины и священники приносили им воду, причастие, утешение. У всех было стойкое желание умереть, но не сдаться. Когда вице-адмирал Корнилов, один из главных участников осады, обходил войска и спрашивал, готовы ли они умереть, солдаты с почти радостным энтузиазмом кричали в ответ: «Умрём, ваше превосходительство, ура!» Двадцать две тысячи русских уже погибли в конфликте, и Корнилов вскоре стал одним из них.

Однако уже 15 ноября Толстой был отозван из Севастополя в небольшую татарскую деревню Эски-Симферополь, расположенную примерно в четырёх милях от города. Здесь он провёл зиму и среди изысканных русских офицеров в изгнании обнаружил атмосферу почти сюрреалистическую — настолько далёкой она казалась от реальности войны. Пили, охотились, танцевали — всё происходило как на мирной усадебной вечеринке. И, что было для Толстого наиболее роковым, — играли в карты. Возможно, осознание того, что его в любую минуту могут отправить в бой и убить, лишь подогревало его безумную страсть к азартным играм.

После особенно крупных проигрышей он устраивал целые сцены покаяния перед сослуживцами: исповедовался, сокрушался, бил себя в грудь. Никто не знал, говорит ли он всерьёз. Но одно было ясно — проигрыши были вполне реальными. К январю 1855 года он уже проиграл в штосс (его любимую игру) всё, что у него было, и даже больше. И вот 28 января произошёл крах. Он записал:  
**«Два дня и две ночи играл в штосс. Результат понятный – проигрыш всего – ясно-полянского дома. Кажется нечего писать – я себе до того гадок, что желал бы забыть про свое существование …»[[106]](#footnote-106)**

Диккенс, Пушкин, Достоевский давали нам образы такого саморазрушительного безумия. Сам Толстой, что характерно, писал об этом очень мало. Глупость Николая Ростова в «Войне и мире» относительно карточных долгов — ничто по сравнению с собственной. Он продолжал играть до тех пор, пока не потерял своё наследство — самый дом, в котором родился. Большой дом в Ясной Поляне был продан, разобран и перенесён в другое место, чтобы покрыть карточные долги. Вернувшись туда спустя годы, он оказался не в обители детских воспоминаний (которых у него, впрочем, почти не было), а в новом, созданном им самим мире.

Может быть, в этом и заключалась одна из причин, по которой он играл? Как и религия, азарт несёт в себе обещание либо волнующей награды, либо полного уничтожения. Истинный игрок, возможно, и не хочет быть разорённым — но в глубине души ему это необходимо.

**«Когда же, когда наконец, перестану**

**Без цели и страсти свой век проводить**

**И в сердце глубокую чувствовать рану**

**И средства не знать, как ее заживить»,**

— спрашивал он в своём дневнике в ноябре 1854 года.[[107]](#footnote-107)

А как прошёл февраль? Он уже потерял свой дом и рисковал потерять всё остальное. Но весь месяц он продолжал играть. Восьмого февраля проиграл двести рублей. Двенадцатого — ещё семьдесят пять. В начале марта — ещё двести. Всё — Одаховскому, который в своих воспоминаниях утверждает, что проигрыши были «незначительными». Для сравнения: годовое жалованье прапорщика в армии Николая I составляло 209 серебряных рублей.[[108]](#footnote-108)

Правда, это была уже не армия Николая I. Александр Герцен, политический изгнанник, описывает весеннее утро во время Крымской войны в Лондоне:

«Утром 4 марта я вхожу, по обыкновению, часов в восемь в свой кабинет, развертываю «Тайме», читаю, читаю десять раз и не понимаю, не смею понять грамматический смысл слов, поставленных в заглавие телеграфической новости: The death imperator of russia (Кончина императора России)! Не помня себя, бросился я с «Таймсом» в руках в столовую; я искал детей, домашних, чтоб сообщить им великую новость, и со слезами истинной радости на глазах подал им газету... Несколько лет свалилось у меня с плеч долой, я это чувствовал. Остаться дома было невозможно... Без всякой нужды мы поехали все в Лондон. На улицах, на бирже, в трактирах только и речи было о смерти Николая; я не видал пи одного человека, который бы не легче дышал, узнавши, что. это бельмо снято с глаз человечества, и пе радовался бы, что этот тяжелый тиран в ботфортах, наконец зачислен по химии…»[[109]](#footnote-109)

Толстой же, находясь тогда в Балбеке, принял присягу на верность новому царю — реформатору Александру II, на которого либералы вроде Герцена возлагали надежды: на конец самодержавия и на сокрушение бюрократической власти *чиновников*, тайного ужаса «Третьего отделения» — предшественника нынешнего КГБ. Тогда ещё никто не мог представить, какие ужасы ждут впереди.

Однако, что касается жизни в Крыму, всё оставалось по-прежнему — это всё ещё была армия Николая I и его война. Вскоре после принесения присяги люди из 3-й батареи вошли в сам Севастополь. Для Толстого начались шесть месяцев настоящей службы и пристального наблюдения за войной.

Крымская война, подобно Первой мировой, оказалась одним из тех конфликтов, где громкие лозунги и геополитические амбиции оборачивались беспощадной бойней за малозначительные участки территории. Это была война, которая не принесла выгоды ни одной из сторон — но то же можно сказать и об осаде Трои.

Поразительно, насколько мощным остаётся легендарный ореол Крымской войны, несмотря на то, что за последующее столетие человечество пережило войны куда более масштабные и насущные. Для англичан — это не только странное наследие шерстяной одежды (кардиганы и балаклавы — зловещие напоминания о мёрзнущих солдатах на высотах Инкермана), но и святая фигура Флоренс Найтингейл, а также одна из величайших ода военному поражению в английской поэзии.

Для русских — это, прежде всего, осада Севастополя: предприятие, потребовавшее максимума сил и выносливости в условиях страшных страданий, одновременно сочетающее в себе добровольную изоляцию от остального мира и нечеловеческие муки во имя абсолютно бессмысленного дела.

Адмирал Корнилов начал официальную оборону крепости Севастополя с крестного хода: духовенство несло хоругви, иконы и кресты. Всех солдат окропили святой водой. В Православной армии религия и война шли рука об руку. Одной из обязанностей полкового командира считалось следить за тем, чтобы каждый солдат ежегодно исповедовался и причащался. В определении одного современника, солдат — это человек, «на чьих могучих плечах лежит священный долг защищать святую веру, престол царя и родную землю; поражать внешнего врага и искоренять внутренних. Плохой сын Церкви не может быть сыном Отечества».[[110]](#footnote-110)

Однако набожность русских офицеров ничуть не облегчала солдатскую жизнь для тех, кто служил под их началом. Это можно сравнить с тем, как мало членство лорда Кардигана в англиканской церкви мешало ему наслаждаться жесткой военной дисциплиной. Сложно сказать, кому было хуже — обычному солдату в британской или в русской армии 1850-х годов, но, пожалуй, русские здесь всё же выигрывают в худшем смысле.

Император Николай I особенно гордился тем, что смертная казнь, отменённая в России императрицей Елизаветой ещё в XVIII веке, так и не была формально восстановлена. Это было, без сомнения, утешительным «фактом» для пяти декабристов, повешенных в 1825 году. Армия обеспечивала дисциплину посредством кнута и прохождения сквозь строй. Однажды, в самом начале правления Николая, когда двое евреев попытались бежать от чумы через турецкую границу, император собственной рукой написал: «Пропустить виновных сквозь тысячу человек двенадцать раз. Слава Богу, у нас нет смертной казни, и вводить её не стану».[[111]](#footnote-111)

Прохождение сквозь строй означало, что приговорённый должен был пройти между рядами тысячи солдат, каждый из которых был обязан ударить, пнуть или огреть его. Таким образом, те евреи, пытавшиеся избежать чумы в 1827 году, получили приговор: двенадцать тысяч ударов. Если кто-то отказывался бить своего сослуживца — сам подвергался такому же наказанию. Этот вид телесного наказания оставался обычной практикой в русской армии вплоть до конца самодержавия. Одна из самых горьких и блестящих новелл позднего Толстого — «После бала» — описывает именно такую сцену.

Один из офицеров, служивших вместе с Толстым в 1855 году, описывал и другие «рутинные» наказания:  
«Если солдат на учении ошибся — ударить его по спине эфесом или железным шомполом так, что его потом на шинели унесут в лазарет — это ничего не значит. Выбить пару зубов эфесом сабли, чтобы солдат веселее смотрел на командира и держал голову выше, или пробить ему спину саблей, чтобы он расправил грудь — это и есть понимание осанки и воспитание солдата. А если после такой побоищи солдат начнёт кашлять и плевать кровью — он радуется: „Слава Богу, ваше благородие, осенью зачислят в роту! “»[[112]](#footnote-112)

Толстой в своих дневниках никак не осуждает армейские порядки. Говорили, что многие солдаты даже радовались назначению в Севастополь — его тяготы были ничто по сравнению с адом казармы. Всё указывает на то, что Толстой был вполне типичным офицером своего времени. В минуты тоски он мог сидеть во дворе с крестьянами, но с собственными солдатами он не общался. Они чувствовали себя неловко с ним, как и он с ними. Одаховский вспоминал, что Толстому требовалось настоящее усилие, чтобы подойти и сказать солдату, что у того расстёгнута гимнастёрка. Он испытывал отвращение к своим солдатам и часто бил их в припадках ярости. Одна часть его натуры, утончённая и чувствительная, брезговала грубостью армейского языка. Он даже придумывал бессмысленные «псевдоругательства», чтобы заменить обычную солдатскую брань. И всё же, когда он уехал, сменщик услышал от солдат, что никто не ругался так виртуозно, как граф Толстой.[[113]](#footnote-113)

Противоречия в его собственной натуре были столь же очевидны и абсурдны, как и противоречия в окружающем мире. Неудивительно, что, глядя на священников, окропляющих солдат святой водой и благословляющих их на убийство, Толстой начинал жаждать христианства, свободного от церковных рамок. В марте 1855 года, после разговора о религии за офицерским столом, его вновь потянуло к вере. Он исповедался, причастился — и в тот день почувствовал вдохновение: **«Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способнымъ посвятить жизнь. — Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле...»[[114]](#footnote-114)**

На следующий день после этого озарения он проиграл в штосс ещё двести рублей. Потом сильно простудился и погрузился в месяц саможалости, работая над повестью «*Юность»*. После Пасхи он всерьёз воспылал страстью к медсестре, которую увидел в перевязочной…[[115]](#footnote-115)

В Севастополе офицеры 3-й батареи разместились на Екатерининской улице, в доме на главной пристани. Хотя осада города уже шла полным ходом, бомбардировки происходили не ежедневно, и не для всех солдат находилось занятие. Из двенадцати орудий батареи Толстого четыре были установлены на Язоновом редуте, остальные восемь оставались в резерве. Толстой, вместе с «мерзким, подлым» поляком Одаховским и несколькими другими офицерами, оказался в числе резервистов — то есть без дела.​ Днём он возился с рукописями, вечером — ужинал и пил водку с товарищами. Он любил выпить, но никогда не был замечен в пьяном виде. Иногда он садился за фортепиано — в квартире на Екатерининской улице было куда уютнее, чем в грязных хижинах Балбека, — и играл для офицеров. Иногда пел шутливые песни, сочиняя слова на ходу: непристойные куплеты чередовались с патриотическими мотивами. Одну из таких песен, сочинённую Толстым, солдаты запели по всему Севастополю.​[[116]](#footnote-116)

Жизнь в осаждённом городе временами казалась почти нормальной. Однако страсть Толстого к картам начала раздражать сослуживцев. «Товарищи! Он играет без конца. Стыдно! Давайте пообещаем не играть с графом Толстым», — говорили они. Его проигрыши и безумная страсть к игре стали предметом неловкости в офицерской среде. Но Толстого это не останавливало: когда артиллеристы отказались играть с ним, он стал искать партнёров среди пехотных и кавалерийских офицеров в городе. Почти всегда он возвращался с новыми проигрышами.​

Прогулки по городу таили в себе и другие искушения.  
**«С женщинами, похоже, ничего не выйдет… Похоть мучает меня… Много хорошеньких девушек…»** — записал он в дневнике.

Но, как это бывало с Пеписом или Босуэллом, да и, вероятно, с Диккенсом, стремление к сексуальным утехам лишь обостряло в Толстом силу наблюдения. Плотское желание придавало смысл его блужданиям по улицам: человек, охотящийся за женской благосклонностью, смотрит по-особенному остро — как говорится, «глаза у него настиж открыты». И пока он ищет взгляда или улыбки, он невольно замечает многое другое.[[117]](#footnote-117) Крымская война стала первым крупным конфликтом, запечатлённым объективом камеры. (Как иначе мы бы воспринимали наполеоновские сражения, будь тогда фотография!) Но в Севастополе действовала и иная камера — куда более чувствительная, чем фотографическая, — сам Лев Толстой. Его бесценные «Севастопольские рассказы» — это своего рода высочайшей пробы кино правды, запечатлённое в слове.

«Немного далее большая площадь, на которой валяются какие-то огромные брусья, пушечные станки, спящие солдаты; стоят лошади, повозки, зеленые орудия и ящики, пехотные кòзла; двигаются солдаты, матросы, офицеры, женщины, дети, купцы; ездят телеги с сеном, с кулями и с бочками; кой-где проедет казак и офицер верхом, генерал на дрожках. Направо улица загорожена баррикадой, на которой в амбразурах стоят какие-то маленькие пушки, и около них сидит матрос, покуривая трубочку. Налево красивый дом с римскими цыфрами на фронтоне, под которым стоят солдаты и окровавленные носилки, — везде вы видите неприятные следы военного лагеря. Первое впечатление ваше непременно самое неприятное: странное смешение лагерной и городской жизни, красивого города и грязного бивуака не только не красиво, но кажется отвратительным беспорядком; вам даже покажется, что все перепуганы, суетятся, не знают, что делать. Но вглядитесь ближе в лица этих людей, движущихся вокруг вас, и вы поймете совсем другое. Посмотрите хоть на этого фурштатского солдатика, который ведет поить какую-то гнедую тройку и так спокойно мурлыкает себе что-то под нос, что, очевидно, он не заблудится в этой разнородной толпе, которой для него и не существует, но что он исполняет свое дело, какое бы оно ни было — поить лошадей или таскать орудия — так же спокойно и самоуверенно, и равнодушно, как бы всё это происходило где-нибудь в Туле или в Саранске. То же выражение читаете вы и на лице этого офицера, который в безукоризненно белых перчатках проходит мимо, и в лице матроса, который курит, сидя на баррикаде, и в лице рабочих солдат, с носилками дожидающихся на крыльце бывшего Собрания, и в лице этой девицы, которая, боясь замочить свое розовое платье, по камешкам перепрыгивает через улицу...»​[[118]](#footnote-118)

Она не смотрит на него. Ему остаются только дешёвые женщины. Но её розовая юбка, стройные щиколотки и, пусть на мгновение, лицо — всё это запечатлелось в наблюдательном взгляде Толстого.​

« Да! вам непременно предстоит разочарование, ежели вы в первый раз въезжаете в Севастополь. Напрасно вы будете искать хоть на одном лице следов суетливости, растерянности или даже энтузиазма, готовности к смерти, решимости; — ничего этого нет: вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом, так что, может быть, вы упрекнете себя в излишней восторженности, усомнитесь немного в справедливости понятия о геройстве защитников Севастополя, которое составилось в вас по рассказам, описаниям и вида, и звуков с Северной стороны.... »[[119]](#footnote-119)​

Однако это впечатление быстро меняется при посещении госпиталя и под звуки артиллерийской канонады. Первый из «Севастопольских рассказов» трогает так же, как и воспоминания о Лондоне времён Блица:​ «Люди не могли бы принять такие условия жизни ради креста, повышения или угрозы: должна быть какая-то иная, более высокая движущая сила».​ Патриотический пафос «Севастополя в декабре 1854 года» пришёлся по душе читателям «Современника» в Петербурге. Новый император Александр II даже распорядился перевести рассказ на французский язык — что само по себе весьма показательно. Несмотря на всю русскую набожность рассказа, он должен был говорить с половиной придворных на их языке.

Патриотический настрой первого «Севастопольского рассказа» уступает в следующем — «Севастополь в мае» — месту острому сатирическому взгляду на нелепость армейского быта и военной спеси. Появляются и сцены, в которых страдания раненых переданы с почти невыносимой жизненностью.

Образ мужества и патриотизма Калугина в «Севастополе в мае» получился у Толстого более трогательным — и в то же время гораздо смешнее, чем всё, что он писал в своих поздних антивоенных проповедях.

«Ах, скверно! » подумал Калугин, испытывая какое-то неприятное чувство, и ему тоже пришло предчувствие, т. е. мысль очень обыкновенная — мысль о смерти. Но Калугин был не штабс-капитан Михайлов, он был самолюбив и одарен деревянными нервами, то, что называют, храбр, одним словом. — Он не поддался первому чувству и стал ободрять себя. Вспомнил про одного адъютанта, кажется, Наполеона, который, передав приказание, марш-марш, с окровавленной головой подскакал к Наполеону.

— Vous êtes blessé?[16] — сказал ему Наполеон.

— Je vous demande pardon, sire, je suis tué,[17] — и адъютант упал с лошади и умер на месте. »[[120]](#footnote-120)

Читатель ещё не успевает до конца отсмеяться над этой сценой, как натыкается на следующую строку: **«Еиу это показалось прекрасным»**. Вот и вся суть абсурда в патриотической позе.

Майский рассказ — с описанием морга, доверху забитого телами, которые «ещё пару часов назад были людьми, полными надежд — высоких и низменных»; с почти стендалевским ощущением, что в самый «героический» момент никто на самом деле не понимает, что происходит; с образом десятилетнего мальчика, который сначала вдыхает зловоние, а потом сталкивается лицом к лицу с разлагающимся обезглавленным трупом французского солдата — всё это производит впечатление совсем иного рода, чем в «Севастополе в декабре».

Финал рассказа — это резкое обличение воинственной суетности, «храбрости» напыщенных щёголей вроде Калугина, и гневное изумление тем, что христиане, глядя на устроенную ими бойню, радуются — вместо того чтобы, как подобает, каяться.

Именно этот голос — голос проповедника, пророка, безапелляционного обличителя зла — станет доминировать во второй половине жизни Толстого. Это уже не художник из первого рассказа (или отдельных эпизодов второго), который, как безмолвный свидетель, просто вглядывается в лица и описывает всё, как есть. Это и не риторика в обычном смысле: его язык не отличается изяществом, он почти лишён обаяния. Но он звучит с подлинной властью, и, даже если нас отталкивает его суровость, мы всё равно останавливаемся и слушаем.  
**«Герой моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был и есть и будет прекрасен — правда».[[121]](#footnote-121)**

Майский рассказ вырос из личного опыта Толстого на артиллерийских позициях. Неудивительно, что он был подвергнут цензуре. Истина — последнее, на что стоит ставить в литературной карьере в России. Ни одно государство, будь то восточное или западное, не стало бы приветствовать и тем более публиковать такие откровения, пока война ещё продолжается. И почти так же, как сама бессмысленность убийства и увечий, Толстого поражала вражда между войной и его главным героем — Истиной.

Вряд ли кто-то пошёл бы на войну, если бы в момент принятия решения знал всю правду о ней — или мог предвидеть её последствия. И наоборот, те, кто в мирное время считают себя пламенными защитниками правды, зачастую первым делом готовы в военное время оправдывать любую ложь — и откровенную, и умолчания — во имя «национальной безопасности».

Осада Севастополя продолжалась всё лето 1855 года, пока державы пытались договориться о мире на Венском конгрессе. Британия и Франция настаивали на уничтожении российского флота как непременном условии перемирия. Но для генерала Горчакова это было неприемлемо: слишком многое уже было потеряно в Севастополе — жизни, честь, гордость, — чтобы сносить такое унижение.

16 августа, прервав переговоры в Вене, Горчаков убедил нового императора предпринять последнюю попытку прорвать осаду Севастополя. Он повёл русские войска против французов и англичан в сражении на Чёрной речке. Союзники потеряли около двух тысяч человек, русские — не менее десяти тысяч. Это было тяжёлое поражение.

Но одновременно это стало и важным моментом в истории литературы: сражение на Чёрной речке — **единственная крупная военная операция, свидетелем которой Лев Толстой стал лично**.

Именно на Чёрной речке Толстой воочию убедился в том, что уже знал из романа Стендаля *Пармская обитель*: описать «правду» сражения невозможно, поскольку все свидетели слишком заняты тем, что бредут сквозь дым, оступаются в окровавленных телах, пьяны от водки, страха или храбрости — и в этой круговерти просто не в состоянии ясно осознать, что происходит. Как в *Пармской обители* мы теряем Фабриция на поле Ватерлоо, так и здесь — на время теряется сам молодой Толстой.

Но в этом молодом русском офицере, который наблюдает за своими боевыми товарищами с одновременным отстранением и вовлечённостью, с растерянностью, чередующейся с порывами отваги, есть нечто особенное: он контролирует ситуацию — по крайней мере, в самом главном. Он — не просто юноша, попавший на поле битвы. Он — художник, впервые оказавшийся лицом к лицу со своим истинным призванием.

Полковник артиллерии Глебов, встретивший Толстого в эти дни, не мог понять, что за человек перед ним.

«4 августа [то есть в день сражения на Чёрной речке] он примкнул ко мне, но в бою я не мог использовать его смешные маленькие орудия — я оборонял позицию батарейной артиллерией. 27 августа он вновь пришёл ко мне, уже без орудий, и в этот раз я, ввиду нехватки офицеров, поручил ему командование пятью батареями. Очевидно одно: Толстой стремился к пороховому дыму — но, скорее, как партизан, время от времени, избегая тягот и лишений войны. Он разъезжает по разным местам туристом; но как только заслышит где выстрел, тотчас жеявляется на поле брани…»[[122]](#footnote-122)

К этому моменту Толстой уже осознал и внутренне принял своё призвание — стать писателем. Хотя он ещё не знал, каким именно писателем он будет. *Война и мир* — всё ещё впереди. Но именно здесь, на Чёрной речке, были посеяны первые зёрна великого замысла.

Он не столько «собирал материал» (что подразумевает холодную исследовательскую задачу), сколько впитывал опыт — живой, пронзительный, обжигающий. Причём этот опыт определил не только содержание, но и форму будущего творчества. Появляясь то здесь, то там, Толстой хотел всё увидеть сам — целиком, без купюр. Он становился человеком, которого полковник Глебов не мог удержать на месте. Его душевная открытость, ранимость и щедрость, столь же важные для художника, как техника или стиль, уже тогда стали чертами его натуры — как и того романа, который он однажды напишет.

Ведь именно в кажущейся **отсутствующей форме** *Войны и мира*, как справедливо отмечал К. С. Льюис, заключается её колоссальная нравственная сила:

*«Я думал, что страсть к повествованию, это болезненное любопытство узнать, “что же было дальше”, отупляет вкус к другим, более глубоким, но менее захватывающим литературным формам. Но Толстой изменил всё это. Я почувствовал — повсюду — не равнодушие, но некое возвышенное спокойствие по отношению к жизни и смерти, успеху или неудаче героев, не безразличие, а почти смиренное приятие воли Божьей…»[[123]](#footnote-123)*

Именно это **возвышенное безмятежие**, по-настоящему гомеровское по духу, отличало Толстого и на поле боя, и — гораздо важнее — в тот миг, когда он брал в руку перо. Оно пронизывает последний из *Севастопольских рассказов*, как и два предыдущих.

Именно новый артиллерийский штурм французов стал последним актом осады Севастополя. Когда стало ясно, что оборона больше не может держаться, Горчаков приказал войскам отступать на северную сторону бухты, уничтожив по пути все склады, припасы и боезапасы. Город пылал два дня, прежде чем 10 сентября туда вошли французы и англичане.

Если бы Горчаков не организовал своевременный отвод, потери были бы гораздо выше. А так — даже при этом — в последнем бою Россия потеряла около 13 тысяч человек, союзники — почти 11 тысяч.

Хотя в целом война окончилась для России неудачно, на Кавказском фронте генерал Н. Н. Муравьёв одержал значительную победу над британцами под Карсом, что, вероятно, укрепило позиции России на мирных переговорах весной следующего года в Париже. Тем не менее, условия мира серьёзно ограничили военно-морское присутствие России в Чёрном море: Александр II обязался держать флот исключительно в Балтике, а Чёрное море стало нейтральной зоной.

Это шаткое соглашение вспыхнет ещё не раз до конца столетия и сыграет свою роль не только в подготовке Первой мировой войны, но и — опосредованно — в приближении Октябрьской революции 1917 года.

К 2 сентября 1855 года Толстой, извиняясь в дневнике за недельное молчание, ограничился двумя краткими, но ёмкими строками: **«Проиграл 1500 рублей чистыми. Севастополь отдан, я был там в самое мое рожденье».[[124]](#footnote-124)**

В сентябре он отправился домой. Это был месяц особенного, почти безудержного влечения к женщинам — возможно, следствие разрядки после отступления от линии огня. В начале октября он замечает, что уже три дня не менял одежду. Чувствует вялость, апатию. Впервые за долгое время выигрывает небольшую сумму в карты — 130 рублей — и тут же тратит их на покупку лошади. **«Какой вздор! — говорит он себе. — моя карьера литература — писать и писать! С завтра работаю всю жизнь или бросаю все, правила, религию, приличия — все. —!»[[125]](#footnote-125)**

**ГЛАВА 6**

**БРОНХИТ – ЭТО МЕТАЛЛ**

**1854-1855**

*«Бронхит – это металл»*

*Толстой Тургеневу*

Существует знаменитая фотография[[126]](#footnote-126), сделанная 15 февраля 1856 года, на которой запечатлены наиболее выдающиеся сотрудники журнала Некрасова «*Современник»*. Крайний слева — Гончаров, столь вялый, что, кажется, не может удержать голову без опоры на запястье. Его герой Обломов — воплощение этой вялости — стал притчей во языцех в русской литературе. За его комичной неспособностью подняться с дивана и заняться хоть чем-нибудь скрывается целый спектр смутно сформулированных, но по существу глубоко серьёзных тревог: тоска по простоте, благоговение перед природой — чувства, находящие отклик у Толстого. И — пугающая мысль: а что, если у дней нет цели? Что, будь мы счастливы или несчастны, заполняя дни чем можем, мы всё равно исчезнем, так и не поняв смысла своего пути. Даже сегодня Гончаров остаётся малоизвестным среди англоязычных читателей, хотя в России он по праву считается одной из ключевых фигур XIX века. Рядом с ним на фотографии — Тургенев, с таким же выражением моральной истощённости. Безусловно, их облик можно объяснить тягостной атмосферой фотографического салона и тем, что позирование заняло куда больше времени, чем ожидалось. Но в прозе Тургенева того времени, даже сильнее, чем у Гончарова, звучит тревога и нравственная раздвоенность — в отношении собственной жизни, разрыва между властной матерью и несбыточной возлюбленной, в отношении искусства, в отношении будущего России.

Цензура в те годы душила писателей. Описывая период 1849–1856 годов, граф Успенский писал: «Нельзя было пошевелиться, нельзя было даже мечтать; опасно было показать хоть малейший признак того, что ты не боишься думать».[[127]](#footnote-127)

На писателей обрушился главный удар государственной решимости не допустить в России повторения революций, подобных тем, что охватили Европу восемью годами ранее, в 1848 году. К тому времени Герцен уже был в эмиграции, и практически каждый заметный русский писатель либо испытывал на себе давление, либо, как Тургенев, Достоевский и Салтыков-Щедрин, побывал под арестом по инициативе так называемого *Комитета 2 апреля*, подчинённого Третьему отделению — тайной политической полиции, учреждённой Николаем I в качестве контрреволюционного органа. Главой Комитета был реакционер с поразительной убеждённостью — Д. П. Бутурлин, возглавлявший всю пресс-цензуру в столице. Ему приписывали бессмертную фразу о том, что, будь на то его воля, он подверг бы цензуре даже Евангелие — за его демократические наклонности.[[128]](#footnote-128) Это не была шутка — и серьёзность этой фразы получает в поздние годы Толстого свою должную расплату.

Вместе с Гончаровым и Тургеневым на фотографии присутствуют и другие сотрудники «*Современника»* — Дружинин, Островский, Григорович. Уже само участие в этом издании обеспечивало им статус поднадзорных, и их сочинения, как бы безобидны они ни были, могли быть использованы против них в качестве улик в уголовном преследовании.

В те годы никто не сомневался в том, что у России есть будущее — спор шел лишь о том, каким оно должно быть. Между крайностями открытого политического радикализма находились два широких интеллектуальных лагеря. С одной стороны — **московские славянофилы**, считавшие, что России следует противостоять западному влиянию, особенно рационализму, и искать спасение в подлинном православии. С другой стороны — **петербургская интеллигенция**, настроенная против славянофильской программы и выступавшая за открытость миру, за принятие технологического и идеологического прогресса. Эти **западники**, к числу которых принадлежал и Тургенев, пожалуй, наиболее страдающий и обаятельный из них, как правило, придерживались либеральных или радикальных взглядов и были неверующими или, в лучшем случае, испытывали печальную тоску по вере. Ни те, ни другие не были в ладах с властью. Славянофилов возмущала степень, с которой самодержавие подчинило себе церковь и присвоило понятие «русских» ценностей, которые, согласно их учению, должны были рождаться свободно, как естественное цветение духа народа.  
Если бы победили они, Россия, возможно, становилась бы всё более чуждой Западу. И в каком-то смысле, именно так и случилось. Если бы победили западники, Россия могла бы раньше освободить крестьян, улучшить условия жизни беднейших слоёв и развить, как на местном, так и на государственном уровне, систему представительного управления. В чём-то их цели тоже были достигнуты.[[129]](#footnote-129)

Но как бы ни стремилась интеллигенция к будущему России, система сумела обойти обе стороны. Мощь государства, его способность подавлять и разрушать человеческие судьбы только возрастала — в агрессии и, отчасти, в эффективности. Идеи, о которых спорили Тургенев, Аксаков, Чернышевский, значили куда меньше, чем власть, вручённая грубой тайной полиции, способной разбудить мыслителя среди ночи.

На той самой знаменитой фотографии 1856 года один человек выглядит абсолютно чужим. У пятерых мужчин на снимке волосы свободно ниспадают на уши; у этого — короткая, военная стрижка. Пятеро сидят расслабленно: кто-то облокотился на стул, кто-то скрестил ноги. Один — стоит по стойке «смирно». Пятеро одеты в шейные платки, жилеты, цепочки для часов, брюки, сюртуки — они могли бы быть литературными джентльменами где угодно в Европе. Мы могли бы наложить на эту фотографию изображение Флобера, Теннисона или Мандзони, и они не выглядели бы неуместно — в отличие от молодого человека в военной форме, стоящего позади Тургенева.

Толстой прибыл в Петербург прямо из Севастополя осенью 1855 года. Поэт Фет оставил незабываемое описание момента, когда он впервые узнал, что молодой гений прибыл в столицу. Не случайно все биографы цитируют этот анекдот. Афанасий Афанасьевич Фет, которому тогда было тридцать пять, навестил Тургенева в декабре 1855 года и был поражён великолепной короткой саблей, висевшей в прихожей на вешалке. Слуга сообщил Фету, что она принадлежит графу Толстому, который остановился у хозяина дома. В течение следующего часа Тургенев и его гость разговаривали шёпотом, поскольку, несмотря на то что было середина дня, Толстой спал в соседней комнате. «Он всегда такой», — сказал Тургенев. — «Он только что прибыл из своей батареи в Севастополе, живёт у меня, и его словно понесло: кутежи, цыгане, карты — каждый вечер. Потом он спит, как убитый, до двух часов дня. Я пытался его урезонить, но теперь уже махнул рукой».[[130]](#footnote-130)

Напряжение между Толстым и Тургеневым, вероятно, началось с довольно личных причин: Толстому, в частности, не нравился интерес Тургенева к его сестре Марье. Грубость Толстого раздражала утончённую чувствительность Тургенева, но на более глубоком уровне между ними существовала настороженность — обычная между художниками, играющими в одну и ту же игру. Ночные попойки и грубоватое поведение позволяли Тургеневу называть Толстого «тролглодитом», но гораздо более язвительное и точное замечание заключалось в том, что Толстой постоянно играет роль. «Ни одно его слово, ни одно движение — неестественно! Он вечно позирует перед нами, и мне трудно объяснить, как в умном человеке может сочетаться такая графская заносчивость с внутренней бедностью». При этом Тургенев был невероятно щедр в признании литературного гения Толстого. Возможно, он больше всех из современников способствовал становлению его карьеры. («Я не преувеличиваю, когда говорю, что он станет великим писателем и прекрасным человеком», — писал он сестре Толстого, с демонстративным акцентом на будущем времени.)[[131]](#footnote-131)

Но Тургенев знал: за литературной выдумкой всегда скрывается детская тяга к игре. Толстой тоже это понимал и терпеть не мог политический радикализм Тургенева. Учитывая позы и принципы, которые сам Толстой будет принимать позже, интересно, что в начале их знакомства он просто не мог поверить, что кто-то вроде Тургенева — богатый, знатный — может всерьёз желать освободить крестьян. Фет записал, что Толстой считал, будто Тургенев «нарочно теперь ходит взад и вперед мимо меня и виляет своими демократическими ляжками! ».[[132]](#footnote-132)

С самим Фетом, однако, Толстой вскоре сблизился, и их дружба продлилась до конца жизни. Возможно, изначально их сблизило то, что в мире штатской интеллигенции они оба были офицерами, пусть и вскоре оставили службу. Но для Фета его военная карьера имела куда большее личное значение, чем для Толстого.

Бедный Фет имел сложную судьбу, возможную только в России 19-го века. Его родители были немцами (Иоганн и Шарлотта Фёт). Когда ему было четырнадцать, власти постановили, что его крещение недействительно. Носивший имя Афанасий Афанасьевич Шеншин — по отчиму — он был вынужден взять имя Фет (русифицированный вариант «Фёт») и утратить все права на наследство Шеншина и дворянское звание. «Если вы спросите меня, как зовутся все страдания и скорби моей жизни, — писал он, — я отвечу: они зовутся Фет».[[133]](#footnote-133) Он поступил в армию после университета в 1845 году лишь потому, что офицеры кавалерии, достигнув определённого чина, могли снова получить дворянский статус. Это стремление было не просто прихотью: в царской России, если человек не принадлежал к «дворянству», его жизнь была ограничена так же, как у недопущенных в партию в советское время. Место жительства, работа, возможность перемещаться по стране и за её пределами — всё зависело от принадлежности к определенному сословию. К 1853 году Фет получил чин поручика и почти наверняка должен был вернуть себе дворянство, когда был принят жестокий закон: отныне лишь достигшие чина полковника могли претендовать на принадлежность к дворянству.

Это решение повергло Фета в отчаяние. Он женился по расчёту на малопривлекательной сестре Боткина, своего почитателя, и некоторое время продолжал писать лирические стихи, посвящённые девушке, которую по-настоящему любил. Его произведения пользовались большим успехом, и благодаря популярности он смог накопить средства, чтобы купить имение в Мценском уезде, недалеко от места рождения. Но унижения со стороны государства заставили его замолчать. Он впал в обломовщину и коротал дни в унынии, сидя дома за чтением Шопенгауэра — «этого буддиста, этого мертвеца», как называл его Герцен.[[134]](#footnote-134) Знаменательно, что на протяжении всего этого периода Фет не писал стихов. Лишь в пятьдесят четыре года, когда его свидетельства о крещении и рождении были внезапно и капризно признаны действительными, и он был официально восстановлен в правах семьи Шеншиных, а значит, и в дворянстве, поэзия вновь вернулась к нему.

В характере Фета — печальном, мягком — было многое, что сразу откликнулось в Толстом, и он довольно скоро стал называть его (как перевести эти ласковые уменьшительно-ласкательные формы, не сделав их нелепыми?) «драгоценный дяденька». С Фетом Толстой вёл более обширную переписку, чем с кем-либо из писателей. И хотя позже пути поэта и прозаика сильно разошлись, между ними всё же было немало общего. Фет всю жизнь оставался атеистом, тогда как для Толстого вопросы веры в конечном счёте заслонили его интерес к литературе. Толстой был сознательным реалистом, в то время как Фет, как справедливо сказано, «пел о любви, которую не позволил себе испытать».[[135]](#footnote-135) С самых ранних лет Толстой чувствовал, что искусство должно быть, если не политически, то морально ангажированным, тогда как Фет признавался в мемуарах: «Я никогда не мог понять, чтобы искусство интересовалось чемъ либо помимо красоты».[[136]](#footnote-136)

И всё же в поэзии Фета, как и в лучших произведениях Толстого, присутствует поразительная простота. Это не наивность, а трепет и благоговение перед самой природой. В «садовых» стихах Фета он восхищается звёздами, деревьями, цветами — просто за то, что они есть.

«Царит весны таинственная сила»

— эта строка могла бы принадлежать герою «Казаков». Последняя строфа того стихотворения исполнена подлинно толстовского ощущения ничтожности человека перед звёздами. «Дым» в этом стихотворении, на первый взгляд, может напомнить читателю Тургенева, но Фет не говорит, как предполагает название тургеневского романа, что жизнь бессмысленна; он лишь подчёркивает хрупкость всех человеческих стремлений:

А счастье где? Не здесь, в среде убогой,

А вон оно — как дым.

За ним! за ним! воздушною дорогою

И в вечность улетим.[[137]](#footnote-137)

Как и Толстому, Фету была не чужда мысль о неотвратимости конца — эта безмолвная тень сопровождала его и в тот 1856 год, когда он только начинал прокладывать свою трепетную стезю в мире поэзии.

Фет стал для Толстого «дяденькой» — духовно и интеллектуально куда более близким, чем собственные братья. Но именно в первые месяцы этой дружбы Толстой стал свидетелем того, как один из его братьев — словно дым — ушёл в небытие.

Способность к полному восстановлению прошлого не дарована даже самым ярким воображениям и умам. В собственной мифологии мы выбираем лишь немногие эпизоды и лица, чтобы они представляли в памяти — или полупамяти — наше прошлое. Чем чаще мы проговариваем эти «воспоминания», тем меньше они соответствуют истине и тем более удобными и терпимыми они становятся. Личный миф Толстого, как это нередко бывает, — это утраченный рай, и воспоминания о брате Дмитрии лишь усиливают этот миф до яркой, почти гротескной окраски. В казанские годы Дмитрий предстает святым простецом, молящимся, проявляющим доброту к бедным и страждущим, в то время как его мирские братья играют в карты и ухаживают за девушками. Он был образом того, кем Толстой в глубине души стремился стать.

«Кажется, я уже уехал на Кавказ, когда в Дмитрии произошла поразительная перемена. Он вдруг начал пить, курить, сорить деньгами, водиться с женщинами. Как это случилось, я не знаю, я его тогда не видел. Знаю только одно: развратил его младший сын Исленева — человек, с виду привлекательный, но глубоко аморальный».[[138]](#footnote-138)

Интересно отметить, как последняя фраза противоречит предыдущей: Толстой открыто заявляет, что не знает, как произошло "падение" Дмитрия, но в то же время с полной уверенностью утверждает, что причиной стал развращающий пример сына Исленева.

В предыдущей главе говорилось о том, как литературные влияния — особенно Диккенса — помогали Толстому структурировать своё прошлое и придавать детским воспоминаниям облик, очищенный и стилистически отшлифованный, хотя на деле они были отражением переживаемого в зрелые годы. Последовательность «Детство», «Отрочество», «Юность» — это ученические опыты. Да, это опыты великого гения, но сами по себе они не столь значительны, если бы не их автобиографическая ценность. Толстой не просто пытался воспроизвести детство в духе Аксакова или Герцена. Он создавал серию глубоко значимых проекций. Черновики «Детства», не переведённые на английский, показывают, что изначально это был зачаток эпистолярного романа. Эти письма — от имени всё того же Николая Иртенева, рассказчика трилогии, — представляли собой череду откровений: сначала исповедальные признания юноши, затем — попытку восстановить его внутренний облик через череду светотеней детства, всплывающих как сцены из памяти. Все эти тексты были написаны от имени не Толстого, а его друга Иславина. В этом нет сомнений: герой тех писем, как и Иславин, — незаконнорождённый.

Дети Иславина — их было шестеро — были потомками одного из соседей Толстых по Ясной Поляне, А. М. Исленева. (Соседи — в дворянском смысле: имение располагалось в двадцати милях.) Им дали фамилию Иславины, и, поскольку они были ровесниками Толстых, часто вместе играли. В ретроспективе Толстой придавал девочкам облик чистоты и невинности, а мальчиков представлял источником развращения. Но, несмотря на такую мифотворческую установку, иногда прорываются реалистические детали. Например, однажды, во время игры, он толкнул одну из девочек — Иславиных — в спину так сильно, что она упала с балкона. В памяти это объяснялось тем, что он якобы пытался защитить её от внимания других мальчиков. Но в десять лет (а ей было одиннадцать) — насколько это правдоподобно? Эпизод запомнился, и его сохраняют биографии, потому что той самой девочкой, чью невинность он столь ревностно охранял (вплоть до насилия), была Любовь Иславина — будущая тёща Толстого.

Однако вскоре после этого эпизода пути Толстых и Иславиных разошлись. Семья Толстых уехала в Казань, возвращаясь в Ясную Поляну только на летние каникулы. По-настоящему Толстой заново открыл для себя Иславиных лишь после Казани, когда они стали для него по-настоящему значимыми. Их встречи происходили не в деревне, а в Санкт-Петербурге, в тот год, когда он подумывал о поступлении на юридический факультет Петербургского университета. Испытав в детстве, по большинству мерок, «эмоциональный дефицит», Толстой был особенно восприимчив к чужим семьям. Он любил их как нечто целостное, с удовольствием мысленно присоединяясь к ним. Оторванный от братьев, без родителей и тёток, он нашёл такую семью в Иславиных, гостя в их петербургском доме на протяжении восьми «потерянных» месяцев 1851 года. В конце этого периода он записал в дневнике:

«Любовь к Иславину испортила мне все восемь месяцев жизни в Петербурге. Хотя я и не осознавал этого, но всё моё внимание было направлено только на то, чтобы ему понравиться. Все люди, которых я любил, чувствовали это, и я замечал, им тяжело было смотреть на меня. Часто, не находя тех моральных условий, которых рассудок требовал в любимом предмете, или после какой-нибудь с ним неприятности, я чувствовал к ним неприязнь; но неприязнь эта была основана на любви. К братьям я никогда не чувствовал такого рода любви. Я ревновал очень часто к женщинам. Я понимаю идеал любви — совершенное жертвование собою любимому предмету. И именно это я испытывал ».[[139]](#footnote-139)

Для «Детства» он решил «стать» Иславиным, переплетая его воспоминания со своими. Лишь в финале «Юности» рассказчик проецирует свои нравственные искания на добродетельного друга Нехлюдова — автопортрет Толстого как нравственного идеала. Со временем, сначала в «Русском помещике», а затем в «Воскресении», фигура «я» исчезает совсем, остаётся только моралист — Нехлюдов.

Но на раннем этапе Иславин продолжал жить в сознании Толстого как мифологический соблазнитель, а, будучи перенесён в вымысел, — как образ утраченной невинности. По общему мнению, Иславин был пьющим, распущенным молодым человеком, любившим азартные игры и публичные дома. Тем же увлекался и Толстой, потому они так хорошо ладили. Но совесть Толстого не позволяла оставить всё на этом. Иславин был для него не просто собутыльником. Он пробудил в нём любовь, неотделимую от чувства вины. Перерабатывая «Детство» и продолжая цикл в «Отрочестве» и «Юности», Толстой, по сути, прославлял свою любовь к Иславину, стараясь очиститься от неё, перевоплотившись в него и рассказывая историю от его имени. Позже это очищение завершится — через женитьбу на дочери той самой девочки, которую он когда-то столкнул с балкона, через разрыв с виновной мужской линией Иславина и вхождение в сладкий, невинный женский мир.

Что в воображении Толстого происходил именно такой процесс — трудно оспорить, если взглянуть на его реакцию на смерть брата Дмитрия. Дмитрий, как и Нехлюдов, был человеком, которого Толстой почти не видел после его восемнадцати лет. Это лишь облегчило превращение брата в образец безупречной нравственности — таким эмоционально неуверенные люди хотят видеть своих близких. В поздних воспоминаниях Толстого заметно, как трудно ему принять, что этот образец добродетели умер на руках проститутки. Объяснение, которое он даёт, выглядит механическим: младший сын Исленева сбил его с пути. Что же это — ещё одна душа, потерянная Толстым из-за любви к Иславину? Это звучит почти неправдоподобно.

Смерть Дмитрия — один из самых ярких примеров чувства вины, которое Толстой мог искупить только через искусство. Тогда он почти ничего об этом не написал. Однако, как он вспоминал в 1902 или 1903 году, когда воспоминания о «мерзости» прежней жизни причиняли ему «адские муки», именно в момент смерти брата он ощущал себя «особенно отвратительным». Всё происходило в провинциальном Орле. Тётушка Туэнетта приехала из Ясной Поляны ухаживать за больным туберкулёзом племянником и помогать Маше — оспинчатой девушке, спасённой Толстым из борделя. В тот период своей жизни Лев Николаевич был опьянён собственным социальным возвышением и, освободившись от военной дисциплины, с неумеренным увлечением погружался в жизнь столичного общества. Пока брат умирал, как записал Толстой, он не мог пробудить в себе никаких чувств жалости. Его отталкивал запах больничной комнаты. Его ранила доброта и практическая сила женщин. Они знали, что делать в палате, и просто делали это. Лев Толстой наблюдал, как две женщины обтирали Дмитрия, укладывали его на подушки и готовили к визиту священника. « Обе несомненно знали, что такое была жизнь и что такое была смерть, и хотя никак не могли ответить и не поняли бы даже тех вопросов, которые представлялись Левину, обе не сомневались в значении этого явления и совершенно одинаково, не только между собой, но разделяя этот взгляд с миллионами людей, смотрели на это. Доказательство того, что они знали твердо, что такое была смерть, состояло в том, что они, ни секунды не сомневаясь, знали, как надо действовать с умирающими, и не боялись их. Левин же и другие, хотя и многое могли сказать о смерти, очевидно, не знали, потому что боялись смерти и решительно не знали, что надо делать, когда люди умирают».[[140]](#footnote-140)

Этот эпизод встречается в «Анне Карениной», где Толстой добавил к своему имени один слог — и Лев стал Левиным. В остальном сцена удивительно похожа на смерть Дмитрия в Орле. В старости Лев вспоминал, как Дмитрий молился после того, как священник поднёс к его лицу икону. Но и это, как и практическая доброта женщин, стало для него тогда упрёком. Смерть брата стала изолирующим опытом — холодным напоминанием о том, что он не такой, как все. Убеждение, что, потеряв родителей, он был лишён эмоциональной истории, которую другие называют детством, заставило его сконструировать детство заново — как пастиш из Диккенса, выстроенный на реальных переживаниях с Иславиными. Так он мог дать жизнь тому, что было недоступно его сознательной памяти, — смерти матери. В кавказский период ему не столько не хватало воспоминаний, сколько не хватало того, что рождается из утраты памяти: спонтанной реакции на мир, такой, как у старого Епишки. Именно это чувство воплотилось в его раннем шедевре — «Казаках». Смерть Дмитрия тогда почти ничего не значила. Он воспринимал её с физическим отвращением. И, проявив юношескую нечуткость и обывательские ценности начинающего светского льва, Толстой едва мог вынести мысль о том, что пропустит бал. Кто-то пригласил его на торжественный придворный спектакль, и ему казалось жаль упустить такую возможность — только потому, что его брат умирал от чахотки. Спустя всего два дня пребывания в Орле Толстой бросил Дмитрия и уехал в Петербург. Дмитрий прожил ещё немного и скончался 21 января 1856 года.

Весь этот опыт — смерть Дмитрия и собственное бездумное и унизительное участие в происходящем — был надолго вытеснен из сознания Толстого. Комментаторы часто утверждают, что он дал ему точное описание в сценах «Анны Карениной», где Левин навещает умирающего брата. Но не менее выразительны и те детали, которые были изменены. В романе, что показательно, за умирающим ухаживает не тётка, а Китти — жена Левина. Впервые она встретила его в немецком курортном городе Зодене, где, как известно, умирали многие русские чахоточные. Там она и приобрела ту лёгкость обращения с больными, которая так поразила Левина. Зоден — это тот самый город, где в 1860 году умер брат Толстого Николай. Там, как мы увидим, тоже были элементы вины и пренебрежения, но не столь явные, как в случае Дмитрия. Николая Толстой действительно сопровождал в последние дни. Поэтому, хотя нищета гостиничного смертного часа Дмитрия, добрая оспинчатая проститутка и костлявые руки, запомнившиеся Толстому, всё это вошло в роман, он умалчивает о том, что Лев, в отличие от Левина, даже не дождался самой смерти.

Смерть Дмитрия сливается со смертью старшего брата, и в романе умирающий носит имя Николай. Девушка Маша (распространённое уменьшительное от Марии — именно так Толстой звал свою сестру) становится не просто Марией, а Марией Николаевной — полным именем его сестры. «Николая» в романе опекает настоящая няня из Ясной Поляны — Агафья Михайловна. Толстой даже не удосуживается сменить её имя. То, что в реальности было мрачной и виновной смертью, в романе становится по-настоящему семейным делом. К моменту написания этих сцен Толстой уже был женат, и потому мог добавить в роман идеализированный образ жены — так же, как средневековые мастера, изображая Распятие, нередко добавляли в сцену своего покровителя (итальянского князя или фламандского бюргера), рядом с традиционными фигурами Иоанна и Богородицы у подножия креста.

Больше всего Толстого шокировало, когда он оглядывался назад, то, насколько мало он тогда заботился о брате. Это был ярчайший пример того, как переживание не становится осмысленным. Преимущество художественного воображения, особенно у писателя вроде Толстого, в том, что оно способно выхватить неприемлемую сцену из прошлого и разыграть её так, как хотелось бы герою. В «Анне Карениной» он бичует себя за неспособность достойно встретить смерть близкого человека, как это сделали женщины; и с яркой телесностью воссоздаёт зловоние, убожество и страх той комнаты. Особенно незабываем момент, когда Марья Николаевна просит помочь перевернуть больного, и Левин, просунув руки под мокрые, измождённые конечности брата, ощущает острое отвращение, усиленное тем, что брат хочет его поцеловать. Это — одна из самых великих сцен Толстого. Но, вероятно, она смогла возникнуть именно потому, что в реальности всё было совсем не так. «Эмоция, припомненная в спокойствии» — это иной способ назвать вымысел постфактум. Главная тема этих глав в «Анне Карениной» — не чувство, а его отсутствие. Объединив в романе смерть двух братьев, Лев Николаевич смог присутствовать — телом и душой — при смертном одре, который в 1856 году оставил его равнодушным. В романе эта сцена становится почти назидательным эпизодом, который можно было бы читать вслух перед дикинсовской семьёй, с комом в горле:

«Вид брата и близость смерти возобновили в душе Левина то чувство ужаса пред неразгаданностью и вместе близостью и неизбежностью смерти, которое охватило его в тот осенний вечер, когда приехал к нему брат. Чувство это теперь было еще сильнее, чем прежде; еще менее, чем прежде, он чувствовал себя способным понять смысл смерти, и еще ужаснее представлялась ему ее неизбежность; но теперь, благодаря близости жены, чувство это не приводило его в отчаяние: он, несмотря на смерть, чувствовал необходимость жить и любить. Он чувствовал, что любовь спасала его от отчаяния и что любовь эта под угрозой отчаяния становилась еще сильнее и чище.…»[[141]](#footnote-141)

Трогательно — в пределах романа. И, как справедливо напоминают комментаторы, эти мысли отражают нараставшую в 1870-х годах озабоченность Толстого темой смерти. Но потребовалось почти двадцать лет, чтобы выразить эти эмоции верно. Неудивительно, что у Левина всё звучит так совершено. Как преступник, скрывавшийся двадцать лет, Толстой сумел точно проговорить нужные слова, когда пришёл час суда, и он вновь пережил оскорбительную сцену.

Три аспекта столичной жизни особенно влекли его, когда он поспешно покинул одр умирающего брата и вернулся в Петербург: двор, бани и литературные салоны. Иначе говоря — снобизм, секс и слава.

В первом случае болезненная застенчивость и неуклюжесть боролись в нём с гордостью за происхождение и с восторгом — столь ярко отражённым в «Войне и мире» — перед блеском высшего света. Насколько высок этот свет был по тогдашним европейским меркам, может понять любой современный посетитель Оружейной палаты Кремля или Зимнего дворца в Ленинграде: помимо поразительного богатства экипажей, костюмов, мундиров и мебели, просто масштаб и размах всего ошеломляют. Русский двор, во всей своей имперской славе, был самым грандиозным в Европе и затмевал сдержанную роскошь Виндзора и даже — что не скажешь с лёгкостью — габсбургское великолепие Шёнбрунна.

Даже те, кто сегодня видел Зимний дворец в Ленинграде и был поражён его масштабом и роскошью, видели лишь половину того, что наблюдал Толстой, посещая придворные приёмы. В те времена дворец был не музеем, а живой декорацией имперского великолепия: зал за залом блистал хрусталём и мрамором, был полон людей, поражавших иностранцев блеском своих нарядов, драгоценностей и вычурных мундиров. Причём Зимний дворец был не исключением. Там, действительно, бюрократы, высшие офицеры и дипломаты блистали наряду с великими князьями и княгинями. Но, вероятно, ещё более изысканными были собрания в домах петербургской аристократии — поразительных по богатству, размерам и утончённости.

В этот мир, где его предки были привычными фигурами, Толстой врывался с чувством благоговения и неловкости. На любом таком приёме все знали, «кто он», но он не принадлежал к узкому кругу, и даже его родственники-дворяне были ему чужими. Единственным придворным, с кем он завязал тесную дружбу, стала графиня Александра Александровна Толстая, фрейлина великой княгини Марии Лейхтенбергской. Но это одна из важнейших дружб в его жизни расцвела только за границей. Во дворце, как и в литературных салонах, он всегда оставался немного чужим.

Тот факт, что его приглашали на придворные приёмы, не остался незамеченным среди литературных коллег — и выделял его. В язвительном восклицании Тургенева, выкрикнутом за литературным ужином: «Чего ты к нам ходишь? Ступай к своим принцессам! » — слышна явная ревность.[[142]](#footnote-142)

Тургенев был человеком трудного характера. В разные периоды жизни он вступал в резкие ссоры с Достоевским, Фетом, Катковым и Некрасовым. Толстой был не единственным, кто вызывал его гнев. Но и Тургенев, в свою очередь, обладал редкой способностью раздражать Толстого — и в их самых памятных перепалках ощущается вкус подлинной антипатии. Серьёзные современники, быть может, пытались извлечь из этих ссор глубокие идеологические или интеллектуальные разногласия. Если за обеденным столом оказывался Тургенев (друг Жорж Санд и настоящий европеец), Толстой, как по заказу, пускался в грубые выходки в адрес «модной» французской писательницы. «Я не могу повторить ту пошлость, которую он нёс про Жорж Санд — это было откровенное непристойное хамство», — в ярости писал Тургенев своему другу Боткину, клянясь никогда больше не видеться с Толстым. Но спустя время они снова встречались и снова становились друзьями — до очередной выходки Толстого. Хороший способ довести писательскую компанию до белого каления — сказать, что в Шекспире нет ничего особенного. Толстой пользовался этим приёмом не раз и всегда с эффектом. Особенно успешно — в тот самый сезон в Петербурге. Фет пришёл на званый вечер уже после того, как сцена разыгралась, и услышал от одного из друзей: «Как жаль, что ты опоздал — ты бы узнал, что Шекспир — это заурядный писатель, а весь наш восторг перед ним — просто стремление следовать моде и привычка повторять чужие мнения…»

Но не стоит думать, что за этими провокациями всегда скрывался какой-то интеллектуальный расчёт. Лучшая из словесных дуэлей между Толстым и Тургеневым достойна того, чтобы её сохранить. В один из таких моментов Тургенев так разозлился, что едва не задохнулся. Схватившись за горло, он воскликнул: «Не могу больше! У меня бронхит! — «Бронхит?!» — презрительно переспросил Толстой. А затем, словно решив, что его слова имеют смысл: «Бронхит — это металл! » Это замечание чуть менее абсурдно по-русски, чем по-английски — «бронхит» мог быть им услышан как нечто вроде «графит» — вещество, а не болезнь. Возможно, Толстой просто ослышался. Но в этом обмене репликами есть своя сюрреалистическая логика. Годы спустя Толстой с упорством пророка будет опровергать общепринятые истины: низводить Шекспира до ремесленника, Христову веру — до искажения первоначального замысла, ставить крестьянскую балладу выше симфонии Бетховена и утверждать, что право собственности — лишь узаконенное воровство. Иными словами — он проповедовал собственное парадоксальное евангелие, в котором бронхит становился металлом, а очевидное — поводом для подрыва всех авторитетов. Это был не просто жест эпатажа, но форма метафизического сопротивления здравому смыслу и общественному консенсусу, в которой Толстой стремился переформулировать саму суть истины.

Нигде человек с независимым умом не чувствует себя более призванным нести это евангелие, чем в небольшом интеллектуальном кружке — вроде того, что окружал «Современник». Писатели, публиковавшиеся в журнале, яростно спорили о будущем России, и каждый был уверен, что знает ответ. Во второй половине 1850-х они начали делиться на враждующие лагеря. Тургенев и более «цивилизованные» авторы были либералами, надеявшимися на постепенную реформу и традиционно мечтавшими о союзе доброй воли по всему миру…

Но были и другие — они смотрели на Герцена в эмиграции, читали Прудона и считали, что несправедливости в обществе так вопиющи, а неравенство столь омерзительно, что нужна только радикальная, возможно насильственная, мера. Эту точку зрения представляли Николай Чернышевский и его друг Добролюбов. Поддержав этих радикалов, Некрасов потерял почти всех выдающихся авторов. Первыми ушли Тургенев, Боткин, Фет, Салтыков-Щедрин, Гончаров и сам Толстой. Журнал был окончательно закрыт цензурой в 1866 году.

Характерная черта Толстого — его отчуждённость от подобных споров, и она проявлялась не только в этот период. Он одинаково свободно позволял себе грубость в адрес обеих сторон. Он высмеивал либерализм Тургенева как позёрство, и одновременно нападал на безбожие и агрессию левых радикалов. Если подобный скептицизм приводил к скандалу или даже к угрозе драки — тем лучше. Тем не менее, он молча впитывал идеи с обеих сторон. И трудно представить, чтобы его жизнь в Ясной Поляне пошла тем путём, каким она пошла, не будь у него опыта пребывания в атмосфере петербургской интеллигенции. Однако, как и многие провинциалы, Толстой был склонен к упрямому сопротивлению веяниям времени. Показательно, что решение освободить своих крестьян он принял не дома, а именно в Петербурге. И хотя, вернувшись в Ясную Поляну во второй половине 1856 года, он так и не осуществил этот замысел, он серьёзно пытался сделать это. Толстой впитал в себя и вину Тургенева, и тревогу за положение помещиков. Но столь же сильно он впитал и многое из крайнего радикализма Чернышевского, Герцена и Прудона. Всё это вошло в его сознание — как и положено истинному сыну Руссо — легко и без чёткого осознания. Хотя он эмоционально не мог принадлежать ни к одной группе и не умел открыто соглашаться с кем-либо, отныне Толстой стал попутчиком тех, кто стремился к падению существующего порядка.

Третье великое искушение петербургской жизни — помимо двора и салонов — было в доступности плотских удовольствий. Дневники показывают, что этот период был временем неограниченной активности в борделях и банях. Все сословия и оба пола посещали бани, ведь дореволюционное водоснабжение в России оставляло желать лучшего даже по сравнению с послереволюционным. Каждое петербургское здание, где один каменный блок по размеру превосходил деревенскую избу, включало множество квартир. Но размеры домов делали затруднительным даже простую доставку воды. Один англичанин замечал, что всё в Петербурге будто построено для будущих поколений, а не для нужд настоящих жильцов.[[143]](#footnote-143)

Так что самые уважаемые петербуржцы, наряду с самыми сомнительными, могли быть замечены днём или вечером направляющимися в баню. «Ужасно», «отвратительно», «никогда больше» — таковы частые записи в дневнике Толстого, когда он блуждал по тем же самым маршрутам бань и борделей, которые спустя сорок лет станут ареной разгулов Распутина. « Даю себе правило на веки никогда не входить ни в один трактиръ и ни въ одинъ бардель», — писал он в мае[[144]](#footnote-144). Но похоть возвращалась снова и снова, столь мучительной, что при виде обнажённых тел в бане она становилась почти физической болью.

Вскоре после этого он отправился домой, в деревню. Сначала он остановился у Тургенева в Спасском, и по пути туда пережил некое религиозное потрясение (подробности не уточняются), вызвавшее у него слёзы.

К началу июля он вернулся в Ясную Поляну. Многое изменилось за время его отсутствия — и в нём самом, и в облике имения. Дом деда был снесён, и Толстой поселился в уцелевшем флигеле. Его снова начала волновать (эта забота будет преследовать его всю жизнь) судьба крестьян. В Петербурге всё чаще говорили, что правительство готовится к отмене крепостного права, и Толстой хотел опередить события, дать свободу своим крестьянам, независимо от официальных решений.

Старая тётушка Туанетта, которая оставалась в Ясной Поляне как связующее звено с прошлым и со старыми порядками, не поддавалась убеждениям в том, что отпускать крестьян — дело хорошее.

«Сравнивая себя с прежним, по воспоминаниям о Ясной, — писал Толстой, — я ощущаю, насколько стал более либеральным. Даже Т. А. [т.е. тётушка] меня раздражает. За сто лет ей не вбить в голову, что крепостное право — это несправедливость».

Следующие пять месяцев Толстой провёл дома, и, по-видимому, был этому рад. Несмотря на огромные долги, накопленные за годы службы, они ещё не довели его до полного разорения. Печальным, но в некотором смысле зловещим обстоятельством стало то, что помогло этому — смерть Дмитрия, после которой его наследство было разделено между оставшимися братьями и сестрой.

Толстому был необходим эта передышка: он сидел дома, ожидая, куда повернёт его дальнейшая жизнь. Это было в каком-то смысле счастливое время: он много виделся с другом Дьяковым — человеком, которого он, как однажды признался в дневнике, любил глубже всех. Они хорошо знали друг друга и могли говорить на уровне подлинной близости. Дьяков посоветовал Толстому жениться на своей подопечной — Валерии Владимировне Арсеньевой. Она была дочерью соседа Толстого по Ясной Поляне. После смерти её отца в 1854 году Толстой стал законным опекуном троих его детей. К лету 1856 года Валерии было двадцать лет, и предложение Дьякова, чтобы её двадцатишестилетний опекун женился на ней, уже не казалось столь странным. Она была красива. Носила соблазнительно откровенные вечерние платья. Была «мила». Была «ограниченной и безнадёжно пустой». Для Толстого она олицетворяла всё, чем могла быть женщина. Но чем больше он размышлял, тем меньше мог представить себя в семейной жизни, а главное — в сексуальной близости с девушкой, столь «милой». В сентябре его начали мучить кошмары, что он стал импотентом — страх, который ему прежде был чужд. Осенью, ожидая увольнения из армии (оно пришло 28 ноября), он засыпал Валерию письмами. Они были чрезмерно длинны и исполнены покровительственной снисходительности, но в совокупности читались как искусно завуалированный отказ от перспективы, не радовавшей ни одну из сторон. В ноябре он написал ей из Москвы: « Вам простительно думать и чувствовать, как глупый человек, но мне бы было постыдно и грешно… Ходите гулять каждый день… и корсет носите … Христос с вами, да поможет он нам понимать и любить друг друга …»[[145]](#footnote-145) Советы не прекращались. Он отмёл всех её друзей и родственников («не понимаю, как ты можешь жить среди этих людей, не испытывая отвращения»), и при этом не забыл задеть и возможные следы её самоуважения, которые могли остаться после лета, проведённого с ним. «Увы, — писал он из Петербурга, — ты обманываешь себя, если думаешь, что у тебя есть вкус… Яркие цвета и прочее простительны — хоть и нелепы — для безобразной девицы, но тебе, с твоим милым личиком, непростительно так ошибаться… Христос с тобой…»[[146]](#footnote-146) «Религия — великая вещь, особенно для женщин…»[[147]](#footnote-147) «Почему ты ничего не говоришь о Диккенсе или Теккерее…? » «И что это за вздор, который ты читаешь?..»[[148]](#footnote-148)

Можно представить, с какими смешанными чувствами Валерия осознавала, что её молодой опекун постепенно отходит от мысли о женитьбе. Его тон и манера обращения к ней показывают, что он вряд ли когда-либо мог бы быть счастлив в браке с женщиной своего круга или уровня. Не зная настоящей семейной жизни, он избегал её; трудно не почувствовать, что чередование назидательного тиранизма и приторной нежности было бессознанным выражением нежелания быть втянутым в тот мир «семейного счастья», который, если не разумом, то воображением и инстинктом, он всегда считал разновидностью ада.

В январе он перерезал гордиев узел и написал ей:

«Любезная Валерия Владимировна, Что я виноват перед собою и перед вами ужасно виноват— это несомненно... Но что же делать, я не в состоянии дать вам того же чувства, которое ваша хорошая натура готова дать мне.… Я на днях еду в Париж и вернусь в Россию когда? — Бог знает…»[[149]](#footnote-149)

**ГЛАВА 7**

**ПУТЕШЕСТВИЯ**

**1857-1862**

*«Я пройду немало стран,*

*Чтобы попросту понять —*

*Нет милей на свете мест,*

*Чем родная благодать»*

Хилэр Беллок

Весной 1857 года, стремясь продолжить образование своего юного друга, Некрасов и Тургенев взяли Толстого с собой в Париж.[[150]](#footnote-150) Этот заграничный город вызвал в нём смесь страха и восторга. «Новый город, образ жизни, отсутствие связей — и весеннее солнышко, которое я понюхал ».[[151]](#footnote-151) В первые февральские дни он страдал от расстройства желудка, подолгу не выходил из своей промозгло холодной спальни и общался в основном с русскими. Некрасов, находившийся в Париже лишь несколько дней перед возвращением в Россию, был мрачным спутником, а Тургенев начинал раздражать. Однажды когда они пошли по какой-то причине в тир, Толстой отделился от них и снял себе отдельную квартиру. У него, без сомнения, были причины стремиться к независимости. Уже к середине февраля он начал заводить интересные знакомства прямо на улице.

Тем не менее, общество Тургенева оставалось надёжной опорой. Старший писатель показывал младшему все достопримечательности: они побывали в лесах и замке Фонтенбло, поехали в Дижон, осмотрели все церкви. «Тургенев ни во что не верит — вот его беда; не любить, а любить любить».[[152]](#footnote-152) Они играли в шахматы в кафе, беседовали и праздно проводили дни. В Дижоне Толстой записал в дневнике: «Тургенев скучен; хочется в Париж, он один не может быь... Чуть ссорились».[[153]](#footnote-153)

В марте, уже вернувшись в Париж, Толстой пережил один из тех *mauvais quart d’heure*, которые преследовали его на протяжении всей жизни. Вернувшись после разврата, он лежал без сна в своей квартире и внезапно почувствовал: «Вчера ночью мучало меня вдруг пришедшее сомненье во всем. И теперь хотя оно теперь не мучит меня, оно сидит во мне. Зачем? И что я такое? »[[154]](#footnote-154) Мгновение прошло. Через несколько дней приехал его брат Сергей, и вместе с их другом Оболенским они провели радостные две недели. Они поехали в Версаль, ходили в театр. Тургенев устроил для них череду балов и званых ужинов. Женщины находились без особого труда. 30 марта они проводили Сергея на вокзале, а 3 апреля Тургенев разбудил Толстого в его квартире, чтобы доверить ему свои тревоги: он опасался, что страдает от сперматореи. «У него сперматорея, кажется наверно, а все не лечится и шляется …»[[155]](#footnote-155) До этого момента всё шло, как и подобает молодому человеку, впервые погружающемуся в жизнь большого города. Париж оправдывал ожидания: был шумен, жив, щедр на впечатления. « Я живу всё в Париже, вот скоро 2 месяца и не предвижу того времени, когда этот город потеряет для меня интерес и эта жизнь свою прелесть», — писал он своему другу Боткину.[[156]](#footnote-156)

Однако письмо так и осталось незавершённым. На следующий день Толстой — по собственному признанию — оказался «достаточно глуп и черств», чтобы отправиться на публичную казнь через гильотину. Это переживание найдет параллель в судьбе князя Мышкина — героя «Идиота» Достоевского, который тоже стал свидетелем казни во Франции. Когда Толстой вернулся к письму Боткину, его настроение полностью изменилось: « Я видел много ужасов на войне и на Кавказе, но ежели бы при мне изорвали в куски человека, это не было бы так отвратительно, как эта искусная и элегантная машина, посредством которой в одно мгновение убили сильного, свежего, здорового человека ».[[157]](#footnote-157)

Письмо продолжилось в подлинно толстовском духе — с осуждением не только самого убийства, но и всей системы, породившей подобное деяние. В нём звучали мощные обобщения: « Закон человеческой — вздор! Правда, что государство есть заговор не только для эксплуатаций, но главное для развращения граждан ».[[158]](#footnote-158) Такие суждения наводят на мысль, что он читал Прудона и Жозефа де Местра, или, по крайней мере, вращался в кругу тех, кто был ими проникнут. Позднее именно эти идеи станут краеугольными камнями его мировоззрения, неизменной частью толстовского взгляда на жизнь.

Омерзение, вызванное увиденным, останется одним из самых ярких и судьбоносных впечатлений в его жизни.

« Когда я увидал, как голова отделилась от тела, и то, и другое врозь застучало в ящике, я понял — не умом, а всем существом, — что никакие теории разумности существующего и прогресса не могут оправдать этого поступка и что если бы все люди в мире, по каким бы то ни было теориям, с сотворения мира, находили, что это нужно, — я знаю, что это не нужно, что это дурно и что поэтому судья тому, что хорошо и нужно, не то, что говорят и делают люди, и не прогресс, а я с своим сердцем».[[159]](#footnote-159)

Эти строки были написаны двадцать лет спустя. А тогда, сразу после события, он ощущал лишь отвращение — и прежде всего к самому себе, за то, что позволил себе быть свидетелем подобного зрелища.

После казни Толстой в течение нескольких ночей не мог уснуть. Париж вдруг стал ему ненавистен. Он утратил интерес к «литературной» среде, в которой вращался Тургенев. Да и сама его квартира была неудобной, шумной, обременительной. «...в maison garnie , где я остановился, жили 36 пар, из коих 19 незаконных. Это ужасно меня возмутило».[[160]](#footnote-160) Одинокий человек среди столь шумной плотской суеты чувствовал себя особенно оторванным от мира. Он тосковал по своим, по дому. Когда, будучи студентом Казанского университета, он получил в наследство Ясную Поляну, мысль о том, что теперь он может жить только среди своей семьи, мгновенно понесла его домой — в объятия тётушки Туанетты. И вот, спустя десять лет, в Париже, он вновь совершал такой же бег — к родне. На этот раз это был бег отчаянный. Случайно он узнал, что его родственницы, с которыми он едва был знаком во время прошедшего сезона в Петербурге, проводят зиму в Женеве. Это были его двоюродные тётки — Лиза и Александра Александровны Толстые. Обе — фрейлины при единственной дочери Николая I, великой княжне Марии Лейхтенбергской. Лиза прежде была её гувернанткой, а Александра готовилась стать воспитательницей дочери нынешнего императора, великой княжны Марии Александровны, которая впоследствии выйдет замуж за принца Альфреда, герцога Эдинбургского и герцога Саксен-Кобург-Готского.

Так что Толстой ворвался в весеннюю Женеву 1857 года к небольшой придворной компании, которую знал лишь поверхностно. « Париж мне так опротивел, что я чуть с ума не сошел. Чего я там не насмотрелся...» — воскликнул он Александре.[[161]](#footnote-161)

Для неё, быть может, он ещё находился в России — так мало она знала о его передвижениях. Без особых объяснений он продолжил: «К счастью, узнал нечаянно, что вы в Женеве и бросился к вам опрометью, будучи уверен, что вы меня спасете».[[162]](#footnote-162) И как часто бывает между мужчиной и женщиной, даже если это сказано в шутку, в этом скрывалась правда. Между двумя родственниками завязался живой и тёплый разговор — диалог, который не оборвётся почти полвека.

Они были здесь просто иностранцами, происходившими из одного круга, одной семьи, одного общественного слоя. Но пребывание в Швейцарии облегчало заведение знакомств. Неуклюжие манеры Толстого, словно списанные с Пьера Безухова, мешали ему наслаждаться обществом придворных. Когда же он узнал её ближе, его изумляло стремление Александры проводить всё своё время с королевской семьёй — «в дымоходе», как он насмешливо называл королевский двор.

В Швейцарии же, в прохладную весну, они могли гулять вдоль озёр и гор, свободные от стеснений, которые налагал бы парадный зал при дворе.

«Погода стояла чудная, о природе и говорить нечего. Мы ею восхищались с увлечением жителей равнин, хотя Лев старался подчас умерить наши восторги, уверяя, что все это дрянь в сравнении с Кавказом. Но нам и этого было довольно....»[[163]](#footnote-163)

После нескольких радостных дней в Женеве Толстой исчез, а его тетки отправились в пеший тур.

«После нескольких дней странствования по горам и по долам, мы наконец очутились в Люцерне, и тут нежданно-негаданно опять явился Лев, как будто вырос из земли...»[[164]](#footnote-164)

Александра, которая, вероятно, узнала Толстого лучше всех на свете, включая его жену, оставила нам не только лучшие воспоминания о нём, но и на протяжении последующих сорока пяти лет стала причиной появления целого потока великолепных писем, в которых он открыл больше о себе и своей жизни, чем где бы то ни было. Эти письма превосходят его дневник: они были обращены к человеку, перед которым невозможно было притворяться. Александра Александровна просто нравилась этому юному литературному гению в семье. В её лице он нашёл спутницу — живую, остроумную, чуткую, нравственную и знатного происхождения. Для человека, чей опыт общения с женщинами сводился, по сути, к тётушкам и проституткам, это было головокружительно и прекрасно. Вот женщина, которую он мог любить как друга. Она пробуждала в нём лучшее. « Как я готов влюбиться, что это ужасно. Ежели бы Александрин была 10-ю годами моложе. Славная натура., — писал он в дневнике».[[165]](#footnote-165)

Ей было сорок. Ему скоро должно было исполниться двадцать девять. Всё лето они становились всё ближе. Она даже едва не сделала из Толстого христианина: в дневнике появились записи о исповедях и причащениях. Но он так и не смог представить её себе в роли спутницы жизни — ни в каком ином качестве, кроме духовного и умственного. Всё лето он продолжал томиться по одной девушке, затем по другой. Иногда его вожделение находило удовлетворение, иногда — нет. «Я просто глупый мальчишка, — признавался он. — У Александры чудесная улыбка».[[166]](#footnote-166)

Циники могли бы сказать, что Александре просто повезло. Они считают, что «быть женой Толстого» — это не просто обстоятельство, а настоящее испытание, которое довелось пройти лишь его супруге. Если бы он женился на Александре, он бы связал жизнь с добрым и зрелым другом, понимающим его и способным смеяться над многими бедами, выпавшими на долю будущих лет. Есть немало признаков, что она ему и физически была привлекательна. Но как-то так получилось, что летом 1857 года они решили остаться «просто друзьями». Хотя и не совсем «просто». Он даже подчеркнул разницу в возрасте, прозвав её «бабушкой». Это почти как назвать её старушкой.

К своему дню рождения — 28 августа — он уже был дома и гордился тем, что не поругался с сестрой Машей. Между братом и сестрой было немало тем, которых они избегали. Её брак рушился. С Тургеневым она ладила слишком уж хорошо. Его повесть «Фауст», опубликованная в прошлом году в «Современнике», явно была написана о ней: образ Веры — прозрачный портрет сестры Толстого. И вот в августе 1857-го она объявила, что поедет одна в Спасское — к Тургеневу. «Это злило меня, — писал Толстой. — Свиделись мы с ней таки холодновато...»[[167]](#footnote-167) Но мыслями он всё ещё был с Александрой в Остенде:

« Наконец-то оно прошло, это ужасное 28 августа, и я надеюсь, милый Лев, что вы еще живы, — писала она. — Вчера и сегодня моя мысль обращалась к вам чаще обыкновенного, и к своему большому стыду должна сознаться, что к этому воспоминанию примешивался какой-то суеверный страх. В этом малодушии я виню вас, а также отдаление, окутывающее тех, кого мы любим, страшными призраками. Все это, вместе взятое, заставляет меня горячо желать вашего письма. Я жду его, полагая, что имею дело с существом разумным, аккуратным и способным помнить свои добрые намерения. Жду от вас также вестей о вашей сестре, она меня очень интересует, и я часто думаю о ней после наших с вами разговоров... Остенде — ужасный муравейник, в котором шум моря заглушается гулом до противности нарядной толпы, которая с утра до вечера толчется на пляже и без различия пола и возраста беспорядочно бросается в воду...»[[168]](#footnote-168)

Никто не знает, что на самом деле произошло тем летом между Тургеневым и сестрой Толстого. Вероятнее всего, всё ограничилось флиртом. Осенью брат с сестрой перебрались в Москву, где с радостью повидали Фета, но получили куда меньше удовольствия от других встреч. Например, от «омерзительной литературной атмосферы» в доме Аксакова. Или от обеда у Берсов. Старик Берс был человеком, сочетавшим медицинское мастерство с тщеславием и склонностью к интрижкам. Он имел роман с матерью Тургенева и почти наверняка был отцом его сводной сестры.[[169]](#footnote-169) Семья Берс была давними друзьями Толстых. Раньше Лев находил их обаятельными, но только не в тот вечер. Жена Берса, всего на два года старше самого Толстого, показалась ему «ужасной, облысевшей и хилой».

Эти оценки были бы неинтересны, если бы мы не знали, что эта самая «ужасная и лысая женщина» станет впоследствии тёщей Толстого. В ту пору Софья Берс была всего лишь тринадцатилетней девочкой — одной из тех малышек, которых он знал с детства. С облегчением он покинул Москву и сел в поезд до Петербурга — поездка, ставшая судьбоносной для его самой удивительной литературной героини. Осенью 1857 года это была чуть ли не единственная железнодорожная линия во всей империи (её проложили всего шесть лет назад).

Всю осень он провёл в Петербурге. « Прелесть Александрин, отрада, утешенье. И не видал я ни одной женщины, доходящей ей до колена».[[170]](#footnote-170) В ноябре: «Она — единственная, кто по-настоящему меня чарует».[[171]](#footnote-171) В декабре: « Александрин держит меня на ниточке, и я благодарен ей за то. Однако по вечерам я страстно влюблен в нее и возвращаюсь домой полон чем-то — счастьем или грустью — не знаю».[[172]](#footnote-172)

В Петербурге были счастливые времена. Новый император был либералом, его супруга — европейкой. Впервые со времён Александра I появилась надежда на перемены к лучшему в российской политике; надежда, что Россия станет страной, где ум, свобода и всё то, за что жил и писал Пушкин, обретут ценность.

Как это происходило почти при каждой смене власти в России последние двести лет, оптимисты увидели в происходящем знамения весны. В первый же год нового правления прошли реформы, были объявлены амнистии. Оставшимся в живых декабристам позволили вернуться. Была упразднена система кантонистов — детей солдатских, которых забирали в военные приюты и делали солдатами, — это освободило восемьдесят тысяч детей. Больше не штрафовали за еврейское происхождение. Император высказывался за реформу образования, строительство железных дорог и — самое главное — за освобождение крестьян. «Лучше освободить крестьян сверху, чем ждать, пока они начнут освобождать себя снизу», — этой знаменитой фразой император выразил суть либеральной надежды: предотвратить революцию, опередив её реформами. Либеральное дворянство лелеяло надежды на реформу местного самоуправления и появление представительных собраний.

Спустя всего несколько лет, когда воображение Толстого успело вобрать и осмыслить этот период, его восторг от реформаторского духа первых лет правления Александра II и изумление при виде возвращающихся декабристов обратятся в франкофильский энтузиазм 1805 года и в вольнодумный пыл того перво-декабриста — Пьера. Таков был обычный для Толстого процесс превращения опыта в художественную выдумку. События настоящего или недавнего прошлого отбрасывались им в далёкое прошлое. Мальчик из «Детства» во многом является на самом деле молодым человеком на Кавказе. А этот реальный молодой человек на Кавказе, когда придёт время переработать «Казаков», станет куда более невинным существом, чем был сам Толстой. Но рядом с кузиной Александрой он как будто добыл руду более высокой пробы. У него всегда был вход в «высший свет», если бы он захотел воспользоваться им, — но именно она дала ему эту возможность. «Война и мир» была бы невыносимой, если бы все сцены «мира» мы воспринимали исключительно через близорукие глаза Пьера. Рассказчик, описывающий эти сцены, освободил неуклюжую, неловкую сторону Толстого — ту, что написала «Историю вчерашнего дня», — и дал ей свободу, как у Джейн Остин, — наблюдать, сатирически изображать мир Шереров и Ростовых. Это тот самый мир, который Александра открыла Толстому в зимний сезон 1857–1858 годов. Она буквально пробудила в нём всё лучшее. Полезно общаться с теми, кто нас любит. Александра любила своего кузена. Она воспитала в нём культурность — так, как не могли сделать это ни манерная вялость Тургенева, ни его политическое изящество. Она же, с присущим ей добродушием, увидела в Толстом суть: она поняла, почему его нравственные стремления — и в жизни, и в литературе — трогательны, в то время как его нравственное самомнение — отталкивающе. Она процитировала ему слова Шарлотты Бронте: «Не заблуждайтесь относительно меня —не думайте, что я добра, я только хочу быть доброй».[[173]](#footnote-173) Уже летом 1858 года она писала ему: между желанием делать добро и самим добром — огромная пропасть. К тому времени она была неразрывно связана придворной службой, а он находился в деревне. Она описывала, как она и великая княгиня, а также другие дамы двора сталкивались друг с другом, бросаясь к журнальным столикам в поисках чего-нибудь нового от своего нового кумира. А он был в Ясной Поляне, всё более сосредоточенный на крестьянах и их будущем. Но его творчество и воображение были бы неизмеримо беднее, если бы не эта амitié amoureuse с «бабушкой», не этот мимолётный взгляд вверх по дымоходу.

По всем сведениям, полученным в Петербурге, Толстой знал, что освобождение крестьян в России неизбежно. Уже происходили перемены. Под руководством П. Д. Киселёва значительно расширялись крестьянские права. Киселёв предусмотрел возможность для тех крестьян, которые не были «барскими» (т. е. не принадлежали помещикам), объединяться в общины, заселять малонаселённые области, пользоваться государственными лесами и даже брать ссуды у государства. Предполагалось определённое самоуправление. В деревнях должен был избираться волостной старшина — представитель интересов общины перед крупными землевладельцами, а после 1864 года — и перед местными земскими учреждениями, то бишь, земствами.

Всё это предполагало, что кто-то, где-то в русской деревне умеет читать — а это было далеко не всегда так. В интересах консерваторов было поддерживать неграмотность населения; да и сами крестьяне, чья жизнь полностью зависела от земли, не всегда видели смысл в грамоте. Один приходской священник на юге России в те годы решил обучать своих прихожан грамоте и выбрал тридцать деревенских мальчиков, чтобы научить их читать. Сначала родители не возражали. Но когда узнали, что обучение необязательно, они немедленно обратились к священнику с жалобами. «Крестьяне, — писал он, — не только не видели материальной пользы от обучения своих детей, но воспринимали это как потерю рабочего времени, и обратились ко мне с просьбой платить их детям жалованье за посещение школы…» В этом приходе обучение прекратилось, и население осталось неграмотным — так, как оно и хотело. Когда в 1861 году был опубликован манифест об освобождении, было отпечатано двести восемьдесят тысяч экземпляров, и сразу же потребовалось больше. Но это ничтожная доля от шестидесятимиллионного населения. Современная картина художника Г. Г. Мясоедова «Чтение манифеста» изображает группу крестьян разных возрастов, столпившихся вокруг маленького мальчика — предположительно единственного грамотного человека в деревне — державшего в руках экземпляр манифеста.[[174]](#footnote-174)



В переносном смысле именно этому мальчику и уделял Толстой значительную часть своего внимания в последующие годы. Ещё с тех пор, как в 1848 году он предпринял краткую и неудачную попытку основать школу в Ясной Поляне, он вынашивал мечту о просвещении крестьян. Вначале это была идея, словно вышедшая из Руссо. С течением времени его стремление быть педагогом стало одной из тех нитей, которые сильнее всего связывали его с судьбой страны. Он разделял с революционерами, с Церковью, с правительством, с зарождающейся интеллигенцией стремление овладеть умами необразованных крестьян. Но отличался он от всех своим желанием — предвосхищающим многие идеи педагогики XX века — дать каждому ребёнку возможность развиться как личности. Он не рассматривал их как сосуды, которые надо наполнить знаниями и идеями.

История образования в России начинается с некоей грубоватой комедии и заканчивается кровью. В XIX веке, сколь бы ни старались педагоги «возвысить» крестьян до того уровня, где они могли бы наслаждаться чтением ради некой высокой цели — даже «ради самого чтения», — большинство учащихся хотело читать по сугубо практическим причинам. Например, умение читать карту давало огромные возможности тем, кто хотел покинуть неудовлетворяющее место жительства и переселиться в другую часть империи. Завистливый сосед, умевший читать документы на дом или надел, получал власть над неграмотным соседом. С чтением дети из многодетной крестьянской семьи могли уехать в город, читать вывески, отличать одну лавку от другой — и даже устроиться работать в трактир, где уже могли бы читать меню. Именно на таком уровне грамотность и привлекала широкие массы.

Толстой смотрел на это с более возвышенной точки зрения, но и практическую пользу грамотности он признавал и получал удовольствие от организации школы. Всё началось в 1859 году примерно с двадцати учеников, но вскоре школа расширилась, появились помощники. Один из них, Пётр Васильевич Морозов, описывал, как он прибыл пешком в имение и увидел стайку крестьянских ребятишек, направлявшихся к низким сельским постройкам, служившим тогда классами. На веранде стоял приветливый человек с густой тёмной бородой, в мягких сапогах — вполне крестьянского вида. «Как бы нам увидеть графа?» — спросил Морозов. «Я граф, что вам нужно? », — последовал ответ.[[175]](#footnote-175) Толстой с огромным наслаждением находился среди крестьян и любил носить крестьянскую одежду. Женщины казались ему привлекательными и доступными. Он любил целовать и мужиков. «У них бороды пахнут удивительно хорошо весной», — говорил он Александре.[[176]](#footnote-176) Среди таких людей он был монархом всего, что видел. Ему не нужно было быть ни застенчивым, ни воинственно-резким, как того требовали петербургские и московские салоны.

Основание школы в Ясной Поляне было лишь одним из жестов в поисках той самой зелёной палочки, на которой было записано сокровенное: секрет счастья, средство уничтожения зла и построения Царства Небесного на земле. В классной комнате, где он со смехом обучал детей азбуке, ему могло казаться, что Муравейное братство возрождается.

Но на его пути стояли преграды. Он знал немного об образовании, и, будучи европеизатором и западником, верил, что ему следует отправиться за границу — узнать, как дела обстоят в Германии, Франции, Англии. К тому же именно туда летом 1860 года направлялось и зарождавшееся Муравейное братство. Его старший брат Николай страдал от чахотки, и болезнь становилась всё серьёзнее. Он уже поселился в Содене, прусском курорте. По мере приближения жатвы и ухода детей в поля, Толстой решил оставить Ясную Поляну на попечение своих помощников-учителей и отправиться за границу. Его сопровождала сестра Марья, а несколькими неделями позже к ним присоединился брат Сергей. Всё это выглядит так, словно он предчувствовал грядущее. Но нет — он не знал. Возможно, его вёл инстинкт, но его сознание не готово было к тому, что его ожидало.

Это было лето ярких снов. Вероятно, болезнь брата Николая затронула его глубже, чем он сам осознавал. Или, быть может, просто немецкая пища не способствовала покою. В одном сне он понял, что религия нашего времени — и его собственная религия — всего лишь вера в прогресс. « Кто сказал одному человеку, что прогресс — хорошо? » В другом сне, возможно более пророческом, он «оделся мужиком, и мать не признает меня»...[[177]](#footnote-177)

Почти весь июль и весь август он посвятил посещению немецких школ и постижению духа этой земли. «Лютер велик», — написал он, побывав в одной церковной начальной школе. — «Одна Библия — без толкований и сокращений».[[178]](#footnote-178) Эта фраза говорит о том, как мало он на самом деле знал о Лютере. Вся философия Лютера зиждилась на признании человеческой несовершенности и необходимости благодати. Та «чистая и незапятнанная религия», к которой стремился Толстой, показалась бы Лютеру плотской и языческой. Лютер был неприятным человеком, но блестящим и оригинальным толкователем августиновского мифа о мире. Его представление о человечестве, которое должно принять собственную вину и даже полюбить её, находилось в полном противоречии с простым морализмом веры Толстого.

Чистейший лютеранский дух оказывал мало влияния на повседневную практику немецких начальных школ, и во многих местах, которые посетил Толстой, он находил условия ужасными: «Молитва за короля, побои, все наизусть, испуганные, изуродованные дети».[[179]](#footnote-179) В начале августа он встретился с Юлиусом Фрёбелем, племянником Фридриха Фрёбеля, основателя системы детских садов. Рассказы самого Фрёбеля о том, как его поучал русский собеседник, звучат как типичный диалог между западным либералом и русским — от тех времён и до наших дней. Особенно примечательно умение Толстого критиковать немецкую систему образования и одновременно делать добродетелью тот факт, что в России системы вовсе нет. Немцы, которые по крайней мере пытались выработать приемлемый способ подготовки детей к жизни, получают от него и слева, и справа: с одной стороны, Толстого убедили всего две недели наблюдений, что они всё делают неправильно; с другой — в России, мол, всё обстоит гораздо лучше — именно потому, что ничего не делается. «Прогресс в России, — сказал он мне, — должен исходить от народного образования, которое у нас даст лучшие плоды, чем в Германии, потому что русская масса ещё не испорчена ложным просвещением…»[[180]](#footnote-180) Толстой продолжал говорить о русском народе как о «таинственной и иррациональной» силе, из которой однажды произойдёт «совершенно новое устройство мира».[[181]](#footnote-181) Никто не может отрицать, что это пророчество сбылось — и когда оно сбылось, мы все знали, чем это обернулось.

Встреча Толстого с Фрёбелем состоялась в Киссингене. Через несколько дней прибыл Николай из Содена. « Положение Н[иколиньки] ужасно. Страшно умен, ясен. И желание жить. А энергии жизни нет, — записал Толстой в дневнике.[[182]](#footnote-182) И всё же, несмотря на трезвое понимание с одной стороны, он не отдавал себе отчёта в серьёзности состояния брата. Кроме того, оба брата были вынуждены наблюдать образ жизни Сергея, который также приехал в Киссинген и успел проиграть всё своё состояние в казино. Муравейное братство в реальности уже не было таким уж родственным. В Сергее чувствовался «блеск аристократии», а Лев всё чаще уходил в одиночные прогулки, предпочитая общество немецких крестьян или писателя Ауэрбаха собственной семье. Через несколько дней Николай вернулся в Соден к Машеньке. «А я ни к чему», — записал Лев в дневнике.[[183]](#footnote-183)

Биографы Толстого с более строгим нравственным чувством, чем моё, упрекали его за эту «бесполезность».[[184]](#footnote-184) Но что он мог сделать? Осознание того, что близкие нам люди умирают, нередко жестоко утаивается от нас самих. Толстой уже потерял одного брата. Хотя ему было всего тридцать, он знал, что мы не бессмертны. Но вел себя так, будто Николай — бессмертен. Николай писал ему, прося приехать в Соден. Тот откликнулся медленно: провёл пару дней во Франкфурте, работал над рассказом «Идиллия». Когда он добрался до Содена, ему показалось, что брат бодр и в добром расположении духа. Но он ошибался. Николай умер 20 сентября. «Какой смысл в борьбе и усилиях, если не осталось ничего от того, кем был Н. Н. Толстой?» — писал Лев своему другу Фету.

Он не говорил, что чувствует приближение смерти, но я знаю, что он за каждым шагом ее следил и верно знал, что еще остается. За несколько минут перед смертью он задремал и вдруг очнулся и с ужасом прошептал: «Да что ж это такое?» Это он ее увидел — это поглощение себя в ничто. А уж ежели он ничего не нашел, за что ухватиться, что же я найду? Еще меньше. И уж, верно, не я и никто так не будет до последней минуты бороться с ней, как он. Дня за два я ему говорю: «Нужно бы тебе судно в комнату поставить». — «Нет, говорит, я слаб, но еще не так; еще мы поломаемся». До последней минуты он не отдавался ей, все сам делал, все старался заниматься, писал, меня спрашивал о моих писаньях, советовал. Но все это, мне казалось, он делал уже не по внутреннему стремленью, а по принципу. Одно, природа,— это осталось до конца. Накануне он пошел [...] в свою спальню и упал от слабости на постель у открытого окна, я пришел. Он говорит со слезами в глазах: «Как я наслаждался теперь час целый». Из земли взят и в землю пойдешь. Осталось одно, смутная надежда, что там, в природе, которого частью сделаешься в земле, останется и найдется что-нибудь. Все, кто знали и видели его последние минуты, говорят: «Как удивительно спокойно, тихо он умер», а я знаю, как страшно мучительно, потому что ни одно чувство не ускользнуло от меня.[[185]](#footnote-185)

Это одно из самых сильных описаний предсмертного часа, которые когда-либо дал нам Толстой. И, не подразумевая ни на мгновение, что Толстой не испытывал глубочайшего горя по поводу смерти Николая, всё же можно увидеть: смертное ложе уже превращается в сцену романа. Чувства умирающего, строго говоря, принадлежат лишь ему одному. Мы не можем их знать. Но для романиста, который знает всё, ничто не ускользает. И в этот момент личного ужаса видно, как крайний эгоцентризм Толстого питает его дар художественного сочувствия. Он сам становится Николаем на смертном одре — и смерть, что больше всего тревожит его в этом, это вовсе не смерть брата, а собственная. Именно потому он способен ощущать все чувства Николая — как за него, так и за себя самого.

Старший брат, которого он столь глубоко почитал и уважал, умер у него на руках. Ему было тридцать семь. Лев Николаевич, на пять лет младше, теперь мог считать своё детство завершённым. Да, Сергей и Машенька были живы, но ни на одного из оставшихся в живых братьев и сестёр уже нельзя было проецировать фантазии о чистоте семьи или невинности детства — как это было возможно с Николенькой и Муравейным братством. Более того, оба оставшихся могли внушать ему опасение, что он родился с непростым наследием.

Ещё в 1852 году, находясь на Кавказе, он писал тёте Туанетте, делясь с ней сном, который ему приснился. «Сон был прекрасный, но даже он не передаёт всего, о чём мне хочется мечтать. Я женат — моя жена нежная, добрая, ласковая женщина; она любит тебя так же, как и я. У нас дети, они зовут тебя „бабушкой“; ты живёшь в большом доме, наверху — в той самой комнате, где жила бабушка; весь дом такой, каким он был при папе, и мы начинаем ту же самую жизнь заново… Если бы меня сделали императором России, если бы мне отдали волшебное перо, словом, если бы пришла фея с волшебной палочкой и спросила, чего я желаю — я бы, положив руку на сердце, ответил, что единственное моё желание — чтобы всё это стало реальностью».

С братом Сергеем такие мечты, какими бы искренними они ни были, уже казались далекими от действительности. В конце концов, именно он когда-то впервые отвёл Льва в публичный дом. Повзрослев, Лев часто жаловался, что у них с братом мало общего. А может быть, под этим скрывался страх, что общего у них слишком много.

Так же он был свидетелем распада брака Марьи с Валерианом и начала её флирта с Тургеневым. Те образы невинности, с которыми Лев Толстой любил связывать свою семью, ушли вместе с Николаем. Отныне воображение Толстого было свободно искать утешение в мифологизации прошлого. Он мысленно возвращался всё дальше — за пределы времён Муравейного братства, ко времени брака родителей, и ещё дальше — во времена, когда в Ясной Поляне не было ещё никаких Толстых, а жил лишь старый князь Волконский со своей страдающей дочерью. Он возвращался в то время, еще до восстания декабристов, когда офицеры, прошедшие маршем до Парижа, возвращались и привозили с собой ощущение нового начала, в то время, когда «таинственная иррациональная сила» русского народа казалась благостной, даже величественной. Неудивительно, что следующими родственниками, которых он решил навестить, были именно Волконские — Волконские, жившие воспоминаниями именно о той эпохе.

В ноябре он отправился в Италию. Во Флоренции он нанес визит самому романтическому и знатному из всех русских эмигрантов в этих краях — двоюродному брату своей матери, графу Сергею Григорьевичу Волконскому, которому тогда исполнилось семьдесят лет. «Внешностью он был — с длинными седыми волосами — совершенно как пророк из Ветхого Завета», — вспоминал Толстой. «Это был удивительный старик, цвет петербургской аристократии, знатного рода и обаятельный. И всё же в Сибири, уже после каторги, когда у жены его не было никакого салона, он трудился вместе с рабочими, и в его комнате нередко можно было видеть развалившихся крестьян...»[[186]](#footnote-186)

Это именно та сцена, которую мы ассоциируем впоследствии с самим Толстым — жена, вынужденная соседствовать с удивительными крестьянскими гостями, муж — пророк с ветхозаветным обликом и развевающимися седыми волосами. Толстой провёл рядом с почтённым родственником всего несколько дней, но невозможно представить, чтобы они не говорили о восстании декабристов и страданиях графа Волконского от рук самодержавия. Из всех его заграничных встреч, возможно, именно эта произвела наибольшее впечатление. Пророческие устремления и педагогические идеи будут занимать Толстого на многие годы вперёд, и именно в роли начинающего пророка и просветителя он будет суетиться по столицам Европы последующие пять месяцев. Но Волконский затронул в нём струну глубже и потряс его воображение.

После Италии — Англия.

В Лондоне Толстой пробыл всего шестнадцать дней, в начале марта 1861 года. В последующие годы он ясно помнил его преступный, развращённый подземный мир. «Я был поражён, увидев на улицах Лондона преступника в сопровождении полиции: полицейским приходилось защищать его от толпы, которая грозила растерзать его. У нас всё наоборот: полиция вынуждена отгонять людей, пытающихся дать преступнику хлеба и денег. У нас преступники и арестанты — это „несчастные малые“».[[187]](#footnote-187)

Его занимало английское двуличие, особенно в вопросах морали и пола. В каком-то смысле он даже восхищался этим. Через девять лет после своего визита он писал Страхову с осведомлённостью знатока: «Представьте себе Лондон без своих 80 тысяч магдалин. Что бы сталось с семьями? Много ли бы удержалось жен, дочерей чистыми? Что бы сталось с законами нравственности, которые так любят блюсти люди? Мне кажется, что этот класс женщин необходим для семьи, при теперешних усложненных формах жизни ».[[188]](#footnote-188)

Хочется надеяться, что одна или несколько женщин, торговавших телом в Хэймаркет, могли бы привлечь будущего автора «Крейцеровой сонаты». Но у нас нет ни одного свидетельства, подтверждающего такую встречу. Зато у Толстого была возможность наблюдать, как «нравственные законы» попираются в доме Александра Герцена, за двадцать лет пережившего целую череду любовных катастроф — желательно, чтобы хотя бы одна из них была связана с женщиной по имени Наталья. Наталья Первая, которую Герцен увёл от мужа в Москве, родила ему детей и стала его женой, но была постоянно ему неверна — с его же лучшим другом. Она умерла. После нескольких лет траура Герцен принял в свой лондонский дом русского радикала Огарёва и его супругу. Та тоже звалась Натальей и родила Герцену троих детей. В момент визита Толстого эта запутанная история была в самом разгаре. Дочь от первого брака Герцена — ещё одна Наталья — была так восхищена «Детством», что умоляла отца позволить ей сидеть в уголке кабинета и слушать, как беседуют эти два великих человека. Это должно было быть нечто: величайший русский романист и величайший русский мыслитель XIX века. К тому же им действительно было о чём говорить. 2 марта в Illustrated London News сообщалось: «Завтра утром почти сорок миллионов членов человеческой семьи, которые сегодня лягут спать рабами, проснутся свободными. 3 марта (19 февраля по старому стилю) назначен днём освобождения крестьян во всей Российской империи». Нет сомнений, что два русских обсуждали освобождение крестьян — но не при Наталье. Она была потрясена, когда слуга ввёл графа Толстого. Он был в новой модной одежде и говорил с её отцом о кулачных боях, которых, по-видимому, немало повидал со дня прибытия в Лондон. Ни одного слова «достойной беседы» она так и не услышала.

Сам Герцен находил Толстого столь же раздражающим, как и большинство его коллег-литераторов. Он писал Тургеневу, что они видятся почти каждый день. «Мы поссорились. Он упрям и несёт вздор, но человек наивный и хороший».

Встреча с соотечественником, тем более обладавшим безупречной радикальной репутацией, была для Толстого неизбежна. Но он также стремился, насколько мог, вкусить английскую жизнь и увидеть великих людей своего времени. Он побывал в Палате общин и слушал лорда Пальмерстона, державшего речь три часа. Неудивительно, что он нашёл её довольно скучной. Трудно сказать, насколько хорошо он понимал разговорный английский. 14 марта он побывал в зале Сент-Джеймс в Пикадилли, где услышал одно из знаменитых чтений Диккенса — отрывок из «Рождественской песни». Портрет великого романиста с тех пор навсегда занял место в кабинете Толстого в Ясной Поляне. Он вновь и вновь перечитывал Диккенса. В старости он признавался: «Диккенс всё больше меня занимает. Я просил Орлова перевести “Повесть о двух городах”, а Озмидова — “Крошку Доррит”. Сам бы взялся за “Наших общих друзей”, если бы не был занят другим делом». У нас нет сведений о личной встрече Толстого с его кумиром, но есть характерный пример того, насколько биографические «свидетельства из первых уст» могут быть ненадёжны. Толстой говорил своему первому биографу Бирюкову, что якобы слышал, как Диккенс читал «лекцию о воспитании» в большом зале. Однако почти наверняка установлено, что в то время Диккенс не читал никаких лекций о воспитании. Единственное задокументированное его выступление — это чтение «Рождественской песни». Это приводит к двум возможным выводам. Первый — комический: что английского языка у Толстого было недостаточно, чтобы понять выразительное чтение Диккенса, и тот, со всеми своими театральными эффектами, старался вызвать образ призрака Марли и Духа Прошедшего Рождества — только для того, чтобы у умного иностранца сложилось впечатление, что он слушает «лекцию о воспитании». Эти англичане! Увы, более скучное объяснение, вероятно, ближе к истине: Толстой сказал Бирюкову, что слышал Диккенса в большом зале, а Бирюков, зная о педагогических интересах обоих, самовольно добавил «лекцию» — и тем самым породил роковую неточность.[[189]](#footnote-189)

Ошибиться было нетрудно, ведь Толстой действительно продолжал в Лондоне знакомство с европейскими образовательными системами. Разве он не оказался на родине самого мистера Градгринда?

Спустя несколько дней после прибытия в Лондон он отправился в тур по семи школам с рекомендательным письмом от Министерства просвещения на Даунинг-стрит:  
«Я был бы весьма признателен учителям упомянутых ниже школ, если они окажут содействие предъявителю сего письма, графу Льву Толстому, русскому господину, интересующемуся народным образованием, и позволят ему ознакомиться с их школами, а также, насколько это возможно, предоставят все объяснения и сведения, которых он пожелает. Граф Лев Толстой особо заинтересован в том, чтобы ознакомиться со способом преподавания естественных наук в тех школах, где они преподаются. Мэтью Арнольд».[[190]](#footnote-190)

Жаль, что у нас не сохранилось никаких записей о том, что произошло между Толстым и Арнольдом при составлении этого письма. Арнольд, инспектор школ, обладал непревзойдёнными знаниями о школах неконформистских приходов по всей Англии и, возможно, знал больше об английской бедноте, чем кто-либо из людей его круга и образования. Те, кто знают его только как поэта и критика, не представляют, насколько усердно он трудился и насколько глубоко понимал происходящее. Толстой, что поразительно, обратился к этим вопросам лишь позднее — его «Так что же нам делать?» (1881) являет собой ужасающее свидетельство о нищете московских низов. В нём ясно: всё, что он знал о жизни городских бедняков, до этого момента было смутно и поверхностно. У Арнольда таких иллюзий не было.

Тем больше хотелось бы знать, как прошла их встреча, ведь Арнольд, с его редкой космополитической образованностью, был первым англичанином, написавшим умный, вдумчивый очерк о романах Толстого. Его статья об «Анне Карениной» до сих пор остаётся одной из лучших вещей, написанных о Толстом. Возможно, если бы при встрече присутствовал некий Босуэлл, он услышал бы, как Толстой задаёт великому поэту и критику вопросы о кулачных боях. Но я в этом сомневаюсь. Думаю, им было что сказать друг другу.

Вооружённый письмом Арнольда, Толстой направился в школы. То, насколько он ценил эти дни, видно по тому, что он хранил памятные свидетельства об этом всю оставшуюся жизнь. В школе святого Марка в Челси, например, детей попросили написать сочинения о том, как они проводят день, и преподнести их своему знатному иностранному гостю. Эти небольшие сочинения хранятся ныне в музее Толстого в Москве, и, как застывшие фигуры из Помпей или Геркуланума, аккуратные строчки, выведенные каллиграфическим почерком, мгновенно возвращают нас к тому моменту: «Чокли, 12 лет. Дорогой сэр! Когда я пришёл в школу, я играл в шарики и проиграл все свои. Потом нас позвали, и после трёх уроков мы снова вышли играть, я достал ещё шарики и снова их проиграл. Потом у нас были латинский и музыка, и пока шёл урок музыки, начался град, но когда мы вышли обедать, дождь закончился. Тогда я купил ещё шариков и снова их проиграл. Потом мы играли в „яйцо“, потом нас позвали обратно в школу на дневные занятия. Сначала у нас была арифметика, а теперь у нас сочинение, и оно мне очень нравится».[[191]](#footnote-191)

Немецкий педагог Леопольд Вайзе, побывавший в Англии за десятилетие до Толстого, остался разочарованным. Он жаловался на отсутствие «непринуждённой радости, поэзии мальчишеских и юношеских лет...». Даже маленькие мальчики в Англии носили шляпы и «уже с двенадцати лет во всём считались мужчинами».[[192]](#footnote-192) Толстой, вероятно, ощущал то же самое, но чтение Диккенса убедило его, что англичане прекрасно осознают пороки своей системы. Вместо того чтобы думать, что Диккенс всё исправил, у него должно было возникнуть более жуткое чувство: будто весь Лондон, и особенно бедные школьники, были вызваны к жизни одним лишь воображением Диккенса. Даже тот факт, что у нас сохранилось сочинение Чокли, не избавляет нас от очевидного ощущения, что Чокли — персонаж, придуманный Диккенсом. Всё это, должно быть, заставило молодого романиста задуматься, когда он покинул Лондон и направился в Брюссель, где тогда жил французский анархист и философ Прудон.

Позднее Прудон говорил Герцену, что «месье Толстой» выделялся из числа многочисленных русских, навещавших его, своей яркой индивидуальностью. Они говорили об освобождении крестьян и о том, что оно принесёт новой Российской империи. Они говорили и о христианстве, к которому Прудон был непримиримо враждебен. Во многих позднейших нотах самого Толстого слышится отголосок Прудона. Вот, например, слова Прудона о Христе:  
«Я видел, как в моём доме мать, тётушки и другие женщины читали Библию и следовали за проповедником из Назарета, как за святым человеком. Теперь народ уже не понимает Евангелий и вовсе их не читает. Чудеса вызывают у него смех, а остальное — непонятный набор слов. Что касается нравственной стороны, то и она больше не отзывается в его сердце».[[193]](#footnote-193)

Толстой, не скрывая почтительности, сообщил философу, что раньше он не мог постичь, откуда у Прудона такая одержимость римским католицизмом, но, побывав в Англии и Франции, всё для него прояснилось. «Лишь тогда я понял, как вы были правы». Но в чём именно? В Англии 1861 года? Каким образом Толстой пришёл к такому выводу? Как бы то ни было, он заверил Прудона: «В России Церковь — ничто».[[194]](#footnote-194) Возможно, это утверждение соответствовало внутреннему миру интеллигенции, но как описание реального положения вещей в стране оно не только неточно, но и бесполезно в сравнении с теми странами, по которым путешествовал Толстой. Как бы ни были несовершенны школы у лондонских методистов или евреев, они, в отличие от всех российских учреждений — университетов, армии, тюрем — не были присягнувшими на верность государственной религии. Да, католицизм во Франции пытался кое-где вернуть расположение интеллектуалов, которые склонялись к соблазнам Ренана, а позже — Луази. Но это была обречённая попытка: Церковь во Франции не обладала той политической властью, какой обладала Церковь в России. Ересь во Франции не считалась уголовным преступлением, как в России. Можно ли воспринимать эти слова Толстого всерьёз? Если да, то имел ли он хоть малейшее представление о том, как живут его соотечественники, не окружённые защитным коконом помещичьего класса?

Его реакция на происходящее всегда была инстинктом землевладельца, ощущавшего почти монаршую независимость: он был хозяином своих земель и распорядителем судеб живущих на них людей. Время от времени он извергал громы против самодержавия, писал царю с мольбами о милосердии или вступал в конфликт с властями. Но это никогда не было похоже на обычную оппозицию: это было поведение человека, чьи кузены при дворе, поведение аристократа, чьё воображение питалось воспоминаниями о восстании декабристов и, ещё раньше, об убийстве безумного царя Павла. Он всегда исходил из мысли, что именно аристократы должны указать самодержцу, когда тот заходит слишком далеко. Как и прочие великие семьи, чьи родословные вели начало от Рюриков, Толстой — по линии Волконских — вполне мог считать себя представителем более древнего и благородного рода, чем сами Романовы.

Фраза о Церкви — показательная: «В России Церковь — ничто». Это значило лишь то, что большинство знакомых ему писателей в Петербурге не были верующими, а в Ясной Поляне хождение в церковь оставлялось для тётушек. Как характеристика России в целом, это утверждение было абсолютно бессмысленным.

Тем не менее, быть может, важнейшей из идей Прудона, усвоенных Толстым, стала фраза: La propriété, c’est le vol — «Собственность есть кража». Для Толстого она останется верной истиной, более прочной, чем британская конституция, на протяжении всего существования человечества. В 1865 году он утверждал, что «только на этой мысли может быть основана русская революция». [[195]](#footnote-195) С точки зрения развития Толстого, не столь важно, что он вкладывал в эту формулу не совсем тот смысл, что сам Прудон. Прудон, например, главным образом критиковал коммунистов за то, что они стремились полностью уничтожить частную собственность. Он не выступал против невинных владельцев. Он обличал крупных собственников, использовавших свои владения для эксплуатации труда и свободы других. В книге *Что такое собственность?* Прудон начинал с риторики: «Если на вопрос „Что такое рабство?“ вы можете ответить одним словом — „убийство“, — то почему бы на вопрос „Что такое собственность?“ не ответить так же кратко: „кража“?»

К счастью, не входит в задачу этой книги — выяснять, был ли Прудон прав или нет в своих аналитических построениях, равно как и перечислять, как часто он отступал от собственных теорий и пересматривал взгляды.[[196]](#footnote-196) Толстого привлекала в Прудоне именно анархическая струя. И когда придёт время, мысль о собственности как краже взорвётся в жизни Толстого с разрушительной силой. Однако, возможно, Прудон остался в истории Толстовского мышления ещё и как автор словосочетания, которое стало названием великого романа.

Во время их встречи Прудон как раз заканчивал книгу под названием *Война и мир* (*La Guerre et la Paix*). Русский хроникёр, обычно весьма подробный, лишь сухо отмечает: «Очевидно, что Прудон, находясь в конце работы над *La Guerre et la Paix*, рассказал Толстому об этом».[[197]](#footnote-197) В течение многих лет в России было почти невозможно упомянуть Прудона из-за его откровенно не-марксистского социализма. Когда в 1928 году Эйхенбаум осмелился выразить удивление тем, что ни один русский критик не усмотрел связи между Прудоном и великим романом Толстого, его встретили ледяным молчанием. Его гипотеза была отклонена, а книга, в которой она излагалась, опубликована за границей. В 1957 году Эйхенбаум таинственным образом отказался от прежних теорий, призвал читателей не обращать внимания на его исследования о Толстом и читать исключительно «бессмертно увлекательные» статьи Ленина.

Здесь сходятся два обстоятельства: Прудон, с точки зрения марксизма, был еретиком — и, что ещё важнее, он не был русским. Среди русских существует особенно острое национальное чувство по отношению к *Войне и миру* и её автору — Льву Толстому, «солдату и патриоту», как называл его один из отечественных трудов, вышедший в 1960-х.

В книге Прудона *La Guerre et la Paix* действительно есть черты, способствующие сравнению с Толстым. Начавшись в почти эпическом ключе, она представляет собой обличение войны. Автор описывает великие битвы прошлого и признаёт, что война выявляет в человеке лучшие качества — силу, храбрость, бескорыстие. Но при этом Прудон утверждает, что современная война — порождение капитализма, её корни экономические. Измени общественный строй, преобрази экономические основы, — и война исчезнет. Война будет преодолена, «отныне героизм должен уступить место труду».[[198]](#footnote-198)

Удивительно, что, хотя Толстой и усвоил многие из этих доводов в своих публицистических трудах о бедности — особенно в *Так что же нам делать?*, — всё же он не разделял прудоновского взгляда на происхождение войны и не принимал его определения того, что в войне пагубно. Один из самых выразительных современных толстоевцев (в смысле — мыслителей, воспринимающих Толстого как великого философа и разделяющих его идеи), профессор Сэмпсон, доказал, что влияние Прудона на Толстого было не столь велико, как полагал Эйхенбаум. Он указывал скорее на трёх более ироничных наблюдателей — Стендаля, Герцена и де Местра. Все трое были совершенно разными, но всех объединяло одно: они были людьми 1812 года.

Де Местр, прославлявший войну и любивший подавление, видел в Наполеоне фигуру, изменившую саму природу войны, сделав её кровавее, чем когда-либо прежде. Он был полномочным послом короля Сардинии при дворе Александра I в Петербурге. Стендаль, офицер в армии Наполеона, провёл зиму 1812 года в Москве и чудом пережил отступление. Для Герцена же это было временем рождения: он появился на свет в охваченной огнём Москве, брошенный младенцем, когда жители подожгли город. Все трое понимали, что в кампании 1812 года было нечто исключительное. Сам Наполеон говорил: «Бородино было самым страшным из всех моих сражений». Никогда ещё не было битвы такой мощи и ужаса. Профессор Сэмпсон сравнивает её по значению для Толстого с Хиросимой — событием, после которого невозможно смотреть на мир по-прежнему.[[199]](#footnote-199)

Встреча Толстого с Прудоном напоминает нам о направлении движения его мысли в этот период. Поездка за границу в 1861 году оказалась куда более насыщенной будущим, чем прежняя вылазка в Германию, потому что она пробудила в нём глубокие размышления о прошлом. Смерть брата Николая отозвалась резким возвращением в утраченный мир детской чистоты; встреча с Волконскими во Флоренции напомнила о ещё более далёком рае — России до восстания декабристов, когда свободомыслящие дворяне вроде Герцена имели, или во всяком случае верили, что имеют доступ к императорскому уху. С самим Герценом, с Прудоном, Толстой имел возможность задуматься о несправедливости мироустройства — но ни одно из их решений не стало для него по-настоящему близким.

Без сомнения, причин этому множество, но самые очевидные — воображаемые. Толстой не был социалистом по той простой причине, что не верил в само общество. Так было всегда, но смерть Николая и одиночество за границей окончательно укрепили его в этом. Толстой не хотел принадлежать ни к кружку, ни к группе, ни к движению, ни к партии. Более того, увиденное за границей лишь усилило его стремление укорениться в России — особенно в Ясной Поляне, с её непосредственными, местными трудностями и заботами. Теперь он с отвращением вспоминал своё увлечение вольнодумным, европеизированным миром, в который его ввёл Тургенев. (Как блестяще заметил Эйхенбаум, всё это, отвергнутое Толстым в себе самом, в его романе воплощается в фигуре Наполеона; Бонапарт в «Войне и мире» со своими вольнодумными и прогрессивными идеями во многом сильно отличается от исторического императора.) «Бог возвращён, — писал Толстой, вернувшись домой, — вместе с надеждой и бессмертием». За всю свою жизнь он больше никогда не покидал Россию.

Толстой одновременно принадлежал и не принадлежал к обществам, в которых жил. Ясная Поляна даровала ему безопасность, силу и независимость — ту основу, на которой позднее он сможет написать «Войну и мир». И в то же время она была символом его отчуждённости от провинциальной России. Он был и не был крестьянином; был и не был петербургским аристократом; был и не был писателем, представителем интеллигенции.

Эта двойственность проявилась в первый год его возвращения домой и породила целый ряд конфликтов — порой комических, порой трогательных, порой пророческих. Толстой не знал точно, где он находится — и кто он сам.

До возвращения в Россию он узнал, что был назначен, заочно, мировым судьёй тем, кому надо было наблюдать за исполнением нового законодательства, вступившего в силу после освобождения крестьян. Посторонний мог бы удивиться: странная честь — поручить её молодому человеку, который не пользовался популярностью у местного дворянства и чей образ жизни едва ли соответствовал судебному сана. Но если вдуматься в характер этой задачи — всё становится понятнее. Предводитель местного дворянства уже обращался к губернатору Тулы с просьбой, чтобы права помещиков на «своих» крестьян были сохранены — несмотря на новые законы. Однако по закону крестьяне теперь имели право на справедливость. Они могли требовать денежную компенсацию, если стали жертвами незаконного телесного наказания. В тех многочисленных случаях, когда освобождение крестьян фактически саботировалось, обязанностью мирового посредника было вмешаться и восстановить правду. Именно такие задачи стояли перед Толстым по возвращении. Так, например, один из его соседей, Костомаров, утверждал, что все его «души» — это личные дворовые, и потому не имеют права на землю.

Можно ли удивляться, что губернатор Тулы поручил столь неблагодарную задачу молодому дворянину, который на момент назначения даже не находился в стране? Любой, кто бы взялся за дело, неминуемо нажил бы себе врагов — так почему бы не доверить его тому, кого соседи и без того не любили? Сам факт назначения говорит не столько о лидерских качествах Толстого, сколько о его уже тогда очевидной социальной изоляции.

Таких случаев, как дело госпожи Артуховой, было немало. Она обратилась с жалобой в земство: её слуга Марк пожелал уйти, сославшись на то, что он теперь свободный человек. Более того, «мировой посредник граф Л. Н. Толстой» постановил, что Марк и его жена не только свободны, но и должны получить три с половиной месяца жалованья за время, в течение которого их неправомерно удерживали у Артуховой на службе. Когда она подала апелляцию в земство — состоявшее из людей её круга — решение Толстого, хоть и справедливое, но непопулярное, было отменено.

Хотя губернатор и надеялся, что назначение Толстого снимет давление с других помещиков, реакция оказалась обратной: они пришли в ярость. Толстой был странной смесью. Они знали, что он побывал за границей и нахватался всяких идей. Но никак не ожидали, что дворянин такого происхождения встанет на сторону крестьян. Магистрат в Туле отменил почти все его решения. Я «заслужил страшное негодование дворянства, — писал он Боткину. — Меня и бить хотят и под суд подвести, но ни то, ни другое не удается… Я жду только того, чтобы они поугомонились, и тогда сам выйду в отставку».[[200]](#footnote-200)

Властные круги стали рассматривать Толстого как опасного революционера — кем он, в сущности, и был: гораздо более потенциально опасного, чем могли осознать и они, и он сам. Это особенно проявилось, когда они начали проверку школы, которую он открыл в Ясной Поляне. Побывав в школах Италии, Германии, Франции, Бельгии и Англии, он стремился воплотить в жизнь собственные педагогические принципы. С современной точки зрения, они кажутся поразительно прогрессивными и просветительными. Он не считал, что детей нужно рассматривать как пассивные сосуды для вбивания знаний — по методу Градгринда — через зубрёжку и страх. Напротив, он стремился, как сказали бы мы, «раскрыть» их. Сочинения и рассказы, написанные его учениками, сохранились. Многие из них были опубликованы ещё при жизни авторов. К тому времени у Толстого уже были помощники, он составил полноценную учебную программу. Он описывал всё это Александре, которая жаловалась, что переписка с «помещиком Ясной Поляны» — как игра в теннис с самой собой: мяч вкидывается в стог сена и не возвращается. Он просил не сердиться, а затем описал ей идиллию, объясняя, почему был слишком занят, чтобы писать:

«Вырвавшись из канцелярии и от мужиков, преследующих меня со всех крылец дома, я иду в школу, но так как она переделывается, то классы рядом в саду под яблонями, куда можно пройти только нагнувшись, так все заросло. И там сидит учитель, а кругом школьники, покусывая травки и пощелкивая в липовые и кленовые листья. Учитель учит по моим советам, но все-таки не совсем хорошо, что и дети чувствуют. Они меня больше любят. И мы начинаем беседовать часа 3—4, и никому не скучно. Нельзя рассказать, что это за дети — надо их видеть. Из нашего милого сословия детей я ничего подобного не видал. Подумайте только, что в (продолжение) двух лет, при совершенном отсутствии дисциплины ни один и ни одна не была наказана. Никогда лени, грубости, глупой шутки, неприличного слова. Дом школы теперь почти отделан3 . Три большие комнаты — одна розовая, две голубые заняты школой. В самой комнате, кроме того, музей. По полкам, кругом стен разложены камни, бабочки, скелеты, травы, цветы, физические инструменты и т.д. По воскресениям музей открывается для всех, и немец из Иены4 (который вышел славный юноша) — делает эксперименты. Раз в неделю класс ботаники, и мы все ходим в лес за цветами, травами и грибами. Пения четыре класса в неделю. Рисования шесть (опять немец), и очень хорошо.»[[201]](#footnote-201)

Без сомнения, причин этому множество, но самые очевидные — воображаемые. Толстой не был социалистом по той простой причине, что не верил в само общество. Так было всегда, но смерть Николая и одиночество за границей окончательно укрепили его в этом. Толстой не хотел принадлежать ни к кружку, ни к группе, ни к движению, ни к партии. Более того, увиденное за границей лишь усилило его стремление укорениться в России — особенно в Ясной Поляне, с её непосредственными, локальными трудностями и заботами. Теперь он с отвращением вспоминал своё увлечение вольнодумным, европеизированным миром, в который его ввёл Тургенев. (Как блестяще заметил Эйхенбаум, всё это, отвергнутое Толстым в себе самом, в его романе воплощается в фигуре Наполеона; Бонапарт в «Войне и мире» со своими вольнодумными и прогрессивными идеями во многом сильно отличается от исторического императора.) «Бог возвращён, — писал Толстой, вернувшись домой, — вместе с надеждой и бессмертием». За всю свою жизнь он больше никогда не покидал Россию.

Толстой одновременно принадлежал и не принадлежал к обществам, в которых жил. Ясная Поляна даровала ему безопасность, силу и независимость — ту основу, на которой позднее он сможет написать «Войну и мир». И в то же время она была символом его отчуждённости от провинциальной России. Он был и не был крестьянином; был и не был петербургским аристократом; был и не был писателем, членом интеллигенции.

Эта двойственность проявилась в первый год его возвращения домой и породила целый ряд конфликтов — порой комических, порой трогательных, порой пророческих. Толстой не знал точно, где он находится — и кто он сам.

До возвращения в Россию он узнал, что был назначен, заочно, мировым судьёй со специальной задачей — наблюдать за исполнением нового законодательства, вступившего в силу после освобождения крестьян. Посторонний мог бы удивиться: странная честь — поручить её молодому человеку, который не пользовался популярностью у местного дворянства и чей образ жизни едва ли соответствовал судебному сана. Но если вдуматься в характер его задачи — всё становится понятнее. Предводитель местного дворянства уже обращался к губернатору Тулы с просьбой, чтобы права помещиков на «своих» крестьян были сохранены — несмотря на новые законы. Однако по закону крестьяне теперь имели право на справедливость. Они могли требовать денежную компенсацию, если стали жертвами незаконного телесного наказания. В тех многочисленных случаях, когда освобождение крестьян фактически саботировалось, обязанностью мирового посредника было вмешаться и восстановить правду. Именно такие задачи стояли перед Толстым по возвращении.

Так, например, один из его соседей, Костомаров, утверждал, что все его «души» — это личные дворовые, и потому не имеют права на землю.

Можно ли удивляться, что губернатор Тулы поручил столь неблагодарную задачу молодому дворянину, который на момент назначения даже не находился в стране? Любой, кто бы взялся за дело, неминуемо нажил бы себе врагов — так почему бы не доверить его тому, кого соседи и без того не любили? Сам факт назначения говорит не столько о лидерских качествах Толстого, сколько о его уже тогда очевидной социальной изоляции.

Таких случаев, как дело госпожи Артуховой, было немало. Она обратилась с жалобой в земство: её слуга Марк пожелал уйти, сославшись на то, что он теперь свободный человек. Более того, «мировой посредник граф Л. Н. Толстой» постановил, что Марк и его жена не только свободны, но и должны получить три с половиной месяца жалованья за время, в течение которого их неправомерно удерживали у Артуховой на службе. Когда она подала апелляцию в земство — состоявшее из людей её круга — решение Толстого, хоть и справедливое, но непопулярное, было отменено.

Хотя губернатор и надеялся, что назначение Толстого снимет давление с других помещиков, реакция оказалась обратной: они пришли в ярость. Толстой был странной смесью. Они знали, что он побывал за границей и нахватался всяких идей. Но никак не ожидали, что дворянин такого происхождения встанет на сторону крестьян. Магистрат в Туле отменил почти все его решения. «Я заслужил страшный гнев дворянства, — писал он Боткину. — Они даже хотят избить меня и подать на меня в суд… Жду, пока всё уляжется, и тогда подам в отставку».

Властные круги стали рассматривать Толстого как опасного революционера — кем он, в сущности, и был: гораздо более потенциально опасного, чем могли осознать и они, и он сам. Это особенно проявилось, когда они начали проверку школы, которую он открыл в Ясной Поляне. Побывав в школах Италии, Германии, Франции, Бельгии и Англии, он стремился воплотить в жизнь собственные педагогические принципы. С современной точки зрения, они кажутся поразительно прогрессивными и просветительными. Он не считал, что детей нужно рассматривать как пассивные сосуды для вбивания знаний — по методу Градгринда — через зубрёжку и страх. Напротив, он стремился, как сказали бы мы, «раскрыть» их. Сочинения и рассказы, написанные его учениками, сохранились. Многие из них были опубликованы ещё при жизни авторов. К тому времени у Толстого уже были помощники, он составил полноценную учебную программу.

Он описывал всё это Александре, которая жаловалась, что переписка с «помещиком Ясной Поляны» — как игра в теннис с самой собой: мяч вкидывается в стог сена и не возвращается. Он просил не сердиться, а затем описал ей идиллию, объясняя, почему был слишком занят, чтобы писать:

«Когда я выбираюсь из своего кабинета и от крестьян, которые осаждают меня со всех сторон дома, я иду в школу; но, так как она на ремонте, занятия проходят в саду, под яблонями, куда можно попасть только пригнувшись — настолько густая растительность. Учитель сидит там, а вокруг ученики — жуют травинки, щёлкают липовыми и ясёневыми листочками. Учитель обучает по моим указаниям, но, в сущности, не слишком хорошо, и дети это чувствуют. Они больше любят меня. Мы начинаем беседовать — три-четыре часа, и никто не скучает. Этих детей невозможно описать — я никогда не видел таких среди детей нашего сословия. Подумай только: за два года, безо всякой дисциплины, не было ни одного наказания — ни мальчика, ни девочки. Ни лени, ни грубости, ни глупых выходок, ни грязных слов. Школьный дом почти готов. Три больших комнаты — одна розовая, две голубые — отданы под школу. Ещё одна комната — под музей. Вдоль стен на полках — камни, бабочки, скелеты, травы, цветы, физические приборы и прочее. По воскресеньям музей открыт для всех, и немец из Йены (превосходный человек) проводит опыты. Раз в неделю — ботаника: идём в лес искать цветы, травы и грибы. Четыре раза в неделю — пение; шесть — рисование (опять немец) — и всё идёт очень хорошо…»

Всё это звучит почти слишком прекрасно, чтобы быть правдой — но свидетельства учеников показывают, что в школе Ясной Поляны действительно было нечто особенное, и что они по-настоящему любили Толстого. Этот тридцатидвухлетний чудак, доводивший до бешенства своих «собратьев по сословию» и не вписывавшийся ни в один из социальных или интеллектуальных шаблонов эпохи, обрел подлинное товарищество в кругу юных друзей. Он говорил с ними как с равными. Неудивительно, что они слушали его затаив дыхание. «Вот я всё думаю, — говорил он. — Может, бросить всё: и поместье, и жизнь барина, — поставить избу на краю деревни, взять в жёны крестьянку, и жить, как вы: косить, пахать, делать всё, что делает простой человек». Пока мальчики и девочки обсуждали эту идею, Толстой делал пометки.

Ко всем своим другим раздражающим чертам Толстой мог прибавить ещё одну — он прекрасно ладил с детьми. И это не осталось незамеченным в округе. Когда на следующий год начал выходить журнал «Ясная Поляна», основанный на школьных экспериментах, министр внутренних дел Валуев составил записку, в которой говорилось:  
«Внимательное ознакомление с педагогическим журналом “Ясная Поляна”, издаваемым графом Толстым, наводит на мысль, что, пропагандируя новые методы обучения и принципы устройства школ для простого народа, это издание распространяет идеи не только ложные, но и опасно тенденциозные... Продолжение его издания представляется нежелательным, особенно учитывая, что его автор, обладая исключительными и убедительными литературными дарованиями, абсолютно вне подозрений в преступных намерениях или недобросовестности...»

Хуже некуда! Даже обвинить его в мошенничестве или коррупции было невозможно — и тем самым заставить замолчать. «Вредна, — говорилось далее, — не злонамеренность, а неточность и причудливость его взглядов, которые, изложенные с исключительным красноречием, могут показаться убедительными для неискушённых учителей и таким образом увлечь народное образование по ложному пути».[[202]](#footnote-202)

Существует привычка воспринимать стремление Толстого жить как крестьянин как признак его зрелого, религиозного, «постлитературного» периода. Но оно было с ним всегда. И в годы, непосредственно последовавшие за его возвращением из-за границы, эта руссоистская отождествлённость с крестьянами была особенно сильна. Это было важным симптомом той изоляции, которая так необходима была ему как художнику. Он не мог творить, будучи частью «мейнстрима». Ему необходимо было быть на обочине. После смерти двух братьев он мог вкусить, в то счастливое лето, нечто от утешительной радости «братства Муравьёв». И, осознавал он это или нет, частью этой радости была та злоба, которую оно вызывало — не только у соседей, но и у самой власти. Оно выносило его на край — **contra mundum**, вне системы. Всю жизнь Толстой испытывал двойное влечение: с одной стороны, ему был необходим узкий круг верных, смотрящих на него как на Учителя. Он нашёл этот круг в яснополянской школе. Когда он женился, он попытался найти его в своих детях. Позже он вновь найдёт его в разрозненной группе «тёмных» последователей, следовавших его учению и примеру.

Но он никогда не стремился примкнуть к готовым братствам, не искал участия в кружках. И в тот же год, когда он вывел из себя Министерство внутренних дел и настроил против себя почти всех соседей-помещиков, он окончательно порвал с литературной средой Петербурга. Его позиция по отношению к крестьянам поставила его на грань слияния с крайними радикалами вроде Чернышевского. Но беспокоиться о том ему не стоило.

Чернышевский с яростью обрушился на педагогические труды Толстого в резкой статье в журнале «Современник».[[203]](#footnote-203)Ему было важно продемонстрировать невежество Толстого, напоминая, что тот не имеет университетского диплома, возмущался, что Толстой не относился с должным почтением к модным фигурам вроде Фрёбеля, и разделял типичное мнение городских радикалов: дворянин не имеет права быть на стороне крестьян, если не научился у интеллигенции «правильным» установкам. На самом деле, нападка Чернышевского — ранний сигнал того, насколько серьёзно российская «политическая» левая ненавидела крестьян. Им была неприятна сама мысль о том, что кто-то может добиться независимости — а именно этого всегда желали умные и самостоятельные деревенские люди. Толстой, несмотря на весь внешний пафос, на деле действительно был на стороне тех крестьян, которых он знал и которые его любили. Он хотел, чтобы они были свободны.

Доктринёрский радикализм Чернышевского интересно напоминает реакцию английских социалистов 1920-х годов на движение дистрибутизма. Само предложение — освободить бедных не только от гнёта капиталистов, но и от тирании государства — внушало ужас таким людям, как Шоу и чета Уэббов. Они не медлили с тем, чтобы высмеять дистрибутизм как утопию «назад к земле» и «по три акра с коровой». Это были идеи, которых придерживались и бедные кулаки. Пока Шоу насмехался над дистрибутистами у себя дома, его кумир Сталин прибегал к средствам посерьёзнее сатиры и в ходе коллективизации земли истреблял миллионы крестьян, не вписывавшихся в рамки пятилетнего плана.

Ссора Толстого с Чернышевским предвосхищает ту крайнюю подозрительность, с которой впоследствии большевики будут относиться к «толстовцам». Его конфликт с Тургеневым, несомненно, имел корни в том же стремлении разорвать все связи с тем, что можно было бы счесть «столичной модой». И в то же время — он уходил глубже. Это было и трагично, и фарсово.

Тургенев вернулся из-за границы в мае 1861 года и почти сразу пригласил Толстого погостить в своём имении Спасское. Встреча прошла вполне радушно, был хороший ужин. После еды Тургенев с гордостью вынес только что законченный рукописный текст своего романа «Отцы и дети» и, усадив друга на диван в гостиной, вручил ему своё произведение. Затем он оставил Толстого наедине с книгой, чтобы тот насладился чтением.

Когда Тургенев вернулся, чтобы узнать, какое впечатление произвела на Толстого рукопись, он с изумлением обнаружил его растянувшимся на диване и мирно спящим. Поскольку оба участника этой сцены были романистами — а значит, искусителями действительности — трудно понять, насколько всё это было на самом деле, а насколько — плод их собственного воображения. Толстой приукрасил рассказ, добавив, что, открыв глаза, он увидел, как Тургенев, крадучись и стараясь не быть замеченным, уходит из комнаты, отвернувшись.

Таков был приговор Толстого в адрес «Отцов и детей». Следующий раунд ссоры разразился, когда Толстой позволил себе оскорбительное высказывание в адрес внебрачной дочери Тургенева — и сделал это почти в том же тоне, в каком Чернышевский однажды прошёлся по нему самому. Тургенев как-то упомянул, что у его дочери замечательная английская гувернантка, которая обратилась к нему с просьбой определить сумму, которую девочка могла бы жертвовать на благотворительность. Он продолжил: гувернантка учит дочь штопать изношенные лохмотья бедняков.  
— И вы считаете, что это хорошая идея? — резко перебил его Толстой.  
— Да, конечно. Это приближает её к реальной жизни.  
— А по-моему, — сказал Толстой, — хорошо одетая барышня с грязными, вонючими тряпками на коленях участвует в неискреннем театральном фарсе.

Лицо Тургенева налилось краской.  
— Я прошу вас не говорить так.  
— Почему я не могу говорить то, что думаю?  
— То есть вы хотите сказать, что я плохо воспитываю свою дочь?  
Толстой ответил: да, именно так он считает. Но это всего лишь его мнение. Оно не касается лично Тургенева.  
— Тогда, — закричал Тургенев, — если вы так думаете, я вам сейчас дам в нос!

Так закончился этот «взвешенный» педагогический диспут. Тургенев выскочил из комнаты, но спустя минуту вернулся, чтобы извиниться перед женой Фета, ставшей ошарашенной свидетельницей этой сцены.  
— Ради Бога, простите меня за столь недостойное поведение, — сказал он, — я глубоко сожалею, — и, словно персонаж Диккенса, снова поспешно выбежал из комнаты.

Но Толстой не собирался оставлять всё на уровне салонного недоразумения. Неприязнь между двумя писателями была подлинной и глубокой. Те, кто наблюдал за этим, возможно, надеялись, что ссора скоро уляжется, ибо объективных причин для вражды между ними не было. Но была причина куда весомее — та таинственная ревность, столь же сильная, как любовная страсть: литературное соперничество.

Толстой уехал, но ссора не давала ему покоя, и на первой же почтовой станции он написал Тургеневу записку, напоминая о его неподобающем поведении. На следующей станции он ждал ответа. Ответа не последовало. Тогда Толстой немедленно заказал пистолеты и отправил второе письмо, в котором официально вызывал Тургенева на дуэль. Он предложил встретиться в роще на опушке деревни Богослово — название которой в переводе означает «Слово Божие».

Случилось так, что Тургенев действительно ответил на первое письмо, но отправил его не туда — не на движущуюся по дороге станцию, а по следующему постоянному адресу Толстого. В письме он предлагал прекратить всякие отношения — решение, в общем-то, разумное, но вызов уже был отправлен. Пугающая мысль: случись этот конфликт с Достоевским, они почти наверняка встретились бы, стрелялись — и мир бы потерял двух величайших романистов XIX века. Хорошо ещё, что они так никогда и не встретились.

Тургенев, получив вызов, ответил уничижительными извинениями, полностью — и уже почти неправдоподобно — приняв на себя всю вину. Он писал, что Толстой, будучи полностью прав, справедливо вызвал его на дуэль, и тот готов предстать перед ним с пистолетом в руках. Но письмо было составлено таким тоном, что продолжать настаивать на поединке стало невозможно. Он просил прощения. Толстой ответил, что знает — Тургенев боится его. «Я презираю вас и не желаю иметь с вами больше ничего общего».

Последующие несколько месяцев между ними царило перемирие, во время которого совесть Толстого, как это часто случалось, начала его терзать. Он осознал, что зашёл слишком далеко, и написал Тургеневу письмо, в котором признавался, что для него невыносимо иметь врага. Письмо он направил через книжную лавку в Петербурге. Но Тургенев был за границей и прочёл его лишь спустя три месяца. К тому времени до него уже дошли слухи, будто Толстой, якобы, распространяет по Москве обвинения в его трусости, рассылает копии своего письма. Что ж, если Толстой действительно обвиняет его в трусости — он должен будет за это ответить. Когда он вернётся в Тульскую губернию, он потребует дуэли, чтобы защитить свою честь. Поскольку Тургенев тогда находился в Париже и не планировал возвращаться в Россию до конца года, дуэль можно было провести не раньше, чем через восемь месяцев, но в его глазах это была уже твёрдая договорённость.

Даже Толстой увидел, насколько это абсурдно. Одно дело — вызов, брошенный в разгар страстей, и совсем другое — поддерживать затаённую обиду в искусственно разогретом состоянии две трети года. Он написал Тургеневу письмо с просьбой простить его за возможную обиду и отказался от вызова.

Следующие семнадцать лет между ними не было никакого общения. Это и стало завершением того, что формировалось на протяжении двух-трёх последних лет: социальной, политической и интеллектуальной изоляции, в которой мог расцвести демон Толстого. Ссора с Тургеневым была ни о чём — её можно было уладить за полчаса, если бы Толстой этого захотел. Но Тургенев на тот момент был самым очевидным соперником пробуждающегося Толстовского гения. (Когда открылся гений Достоевского — Толстой просто отказался с ним встречаться.) Он уже оказался отрезан от Петербурга — но благодаря своим занятиям в качестве мирового судьи и самодеятельного школьного учителя — и от местного дворянства вокруг Тулы. Он уже сказал и написал достаточно, чтобы нажить себе врагов во властных кругах, и вскоре они дадут о себе знать. Единственное, что теперь требовалось, — эмоциональный кокон, в котором его одиночество могло бы обрести тепло и укрытие. Пришло время жениться.

**ГЛАВА 8**

**ЖЕНИТЬБА**

**1862**

*Представим себе, что мы женились на женщине, которая может стать нам настоящим другом. Теперь предположим, что нам сказали: «Влюбленность ваша исчезнет, но вы всегда будете вместе искать Бога, истину, красоту. Если же это вам не нравится, вы будете всегда влюблены друг в друга, но друзьями не станете. Или то, или это. Выбирайте». Что мы выберем? О каком выборе не пожалеем?*

К.С.Льюис, Четыре любви

В 1862 году Толстой завершил своё первое зрелое произведение — *Казаки*. Сам он называл его своим «кавказским» романом,[[204]](#footnote-204) и различные его варианты существовали ещё с тех пор, как он сам жил на Кавказе. Однако именно мрачный период, проведённый в Москве в начале года, принёс новые карточные долги, и в начале февраля к Толстому обратился Михаил Никифорович Катков, редактор *Русского вестника*, с предложением: тысяча фунтов — если роман достанется ему, а не Некрасову в *Современник*.

Так началось судьбоносное сотрудничество. Катков станет впоследствии издателем *Войны и мира* и большей части *Анны Карениной*. Это был человек интересный и далеко не бездумный реакционер, как его иногда представляют литературные историки. Его биография во многом олицетворяет сложности той смутной эпохи российской истории. Он был на десять лет старше Толстого и происходил из московской интеллектуальной среды. С 1845 года преподавал философию в Московском университете — в те времена, когда он ещё сохранял дух Герцена и распространял его радикальные идеи. Катков искренне верил в конституционную монархию по английскому образцу, но его либерализм был окончательно сломлен восстанием в Польше в 1863 году. После этого он сблизился с крайне консервативными и патриотическими взглядами — ближе к Достоевскому, чем к Толстому.

Толстого и в этот период, как и в любой другой, невозможно было однозначно отнести ни к одной политической или интеллектуальной категории. Катков приобрёл *Казаков* вовсе не потому, что их автор был единомышленником. Он приобрёл их потому, что это было произведение гениальное. Это — одно из самых ярких свидетельств таланта Толстого в его умении, по выражению формалистов, «остранить» давно известное, изъезженное. Молодой человек, уезжающий на Кавказ, — это был уже штамп раннего русского романтизма. Но отношения Оленина с Ермошкой и Марьянкой прорисованы столь тонко, что читатель ни на миг не ощущает, будто Толстой вторгается на территорию Лермонтова или Пушкина. Эти двое — Ермошка и Марьянка — подлинные литературные оригиналы. И вместе с тем, каждый по-своему, они воплощают полную инаковость мира, в который Оленин стремится проникнуть, но так и остаётся в нём чужаком.

Изоляция Оленина — это отчасти типичное одиночество романтического героя, того, что переживали Руссо или Вордсворт, потому что они были столь «особенные», столь «сами по себе». Но вдали от родины это одиночество ощущается особенно остро — как у поэта, для которого «чужбина» становилась самим условием существования. Толстой чужд как лермонтовскому, так и байроническому (или, скажем, лоуренсовскому) влечению к слиянию с иным племенем, иным этносом. С предельным реализмом он признаёт, что это невозможно: не только потому, что он не может преодолеть преграды расы и сословия даже в любви к Ермошке и Марьянке, но прежде всего потому, что не в силах сделать себя невинным.

В последнем разговоре с Ермошкой тот резко осуждает русских докторов, называя их «фальшивыми».

*Оленин не ответил. Он был слишком согласен: всё в мире, к которому он принадлежал и к которому возвращался, было фальшиво.[[205]](#footnote-205)*

Это, между прочим, и есть тот мир, в котором находился сам Толстой, когда писал повесть — факт важнейший, и он ещё даст о себе знать в этой главе. Возвращение Оленина — столь же решающий момент, как возвращение Веверли в одноимённом романе Скотта в весьма схожих обстоятельствах. В этом смысле и вправду не стоит с пренебрежением относиться к советским критикам середины XX века, утверждавшим, что народ является коллективным героем повести. «Главная идея произведения — это превосходство народа, его сознания, его трудовой морали над нравственным ничтожеством и деградацией дворянства». Западные критики высмеивали подобную точку зрения, но она не лишена смысла — по крайней мере, как один из уровней повествования. Было бы ошибкой утверждать, будто это всё, о чём речь в *Казаках*. Но это — нечто существенное.

Сколько бы Оленин ни старался сблизиться с казаками, он остаётся для них столь же чужим, как и прочие офицеры; а с его тонкой нравственностью — порой даже более чужим, чем, скажем, Белецкий. Для Ермошки оба — Оленин и Белецкий — родом из мира изнеженного, смешного: там полагаются на никчёмных докторов, не умеют пить, плохи и в охоте, и в любви. Для мудрого Ермошки это — самоочевидные истины, и он до конца пользуется дружбой с Олениным, как только может.

Слово «выгода» становится здесь ключевым. В их печальной сцене прощания звучит по-настоящему фальстафовский штрих: Ермошка вымаливает у Оленина ружьё — и получает его. Толстой использует язык как средство подчеркнуть крайнюю инаковость Ермошки. Впервые он появляется перед нами в следующем облике:

*«На нём был рваный, в пояс заткнутый, домотканый кафтан; на ногах, обмотанных верёвками, поршни из оленьей кожи, и белая, всклокоченная шапка. За плечами, через одно плечо — кобылка и мешок с курицей и мелким соколом, приученным к приманке...»[[206]](#footnote-206)*

Здесь потребовалось две авторских сноски, чтобы объяснить читателю значения слов «поршни» и «кобылка». Этот приём, кстати, любимый у Скотта: он так же щедро усеивает сцены в Шотландском нагорье гальскими словами, требующими пояснений. Но Оленин (чьё имя, впрочем, отсылает к слову *олень*) — не читатель текста со сносками. Он встречает охотника и хищника по-настоящему. И, желая слиться с ним, пытается поздороваться на местном наречии — отвечает словом *кошкильды*. Но Ермошка радостно поправляет его. Обращаясь ко второму лицу, как к младшему или подчинённому, он говорит:

*— Э-э, милый, ты формы не знаешь! Глупый ты! Если кто говорит «кошкильды», ты должен сказать «Аллах разы бо сун» — Бог тебе в помощь.[[207]](#footnote-207)*

Непреодолимая пропасть между Олениным и казаком, ощущающаяся в его отношениях с Ермошкой и Марьянкой, особенно ярко проявляется в его жалком стремлении подружиться с Лукашей, которому он снисходительно дарит коня. Почти в каждом их разговоре подчеркнуты различия между ними. Мы уже знаем, например, из одной документальной главы, что старообрядцы запрещали курение, ссылаясь на Священное Писание: «не то, что входит в уста, а то, что выходит из них, оскверняет человека». Оленин же то и дело нервно затягивается папиросой — и это придаёт особую грусть и комизм следующей сцене:

*— А ты зачем куришь? Это что, и впрямь хорошо?  
Он, видно, сказал это только потому, что заметил, как неуютно Оленину среди казаков.  
— Так уж привык, — ответил тот. — А что?  
— Гм. А у нас кто бы закурил — тому бы беда...[[208]](#footnote-208)*

Лукашка сочувствует Оленину и снисходит до него, затевая этот полубессмысленный разговор. Оленин преклоняется перед казаком-воином, но отнюдь не считает его «благородным дикарём». Наоборот, он смотрит на него современно и по-европейски: вспоминает, как тем утром слышал, как Лукашка и Марьянка целовались у хаты, и размышляет об их гордости — о числе убитых в бою «неприятелей».

*«Какой прекрасный молодой человек», — подумал Оленин, глядя на весёлое лицо казака. Он вспомнил о Марьянке и о том поцелуе за воротами, который ему довелось подслушать, — и почувствовал жалость к Лукаше, к его невежеству. «Что же это за чепуха такая, — думал он, — какой-то нелепый вздор… Человек убил другого человека — и счастлив, доволен, будто совершил нечто великое и славное. Неужели ничто внутри не подсказывает ему, что в этом нет повода для ликования? Что счастье не в убийстве, а в самопожертвовании?..» [[209]](#footnote-209)*

С позиции сегодняшнего дня мы слышим в размышлениях Оленина те интонации, которые спустя десятилетия прозвучат в проповедях яснополянского мудреца. И действительно — это свидетельствует о том, что нравственные поиски были для Толстого делом всей жизни, а не плодом кризиса середины пути. Но в контексте самой повести Лукашка и Оленин уравновешивают друг друга. Толстой ясно видит классовую пропасть — и в этом советские критики, особенно марксисты, отчасти правы: *народ*, стихийная, необразованная, но мощная сила — гораздо ощутимее, чем утончённые размышления героя. Толстой осознаёт это, даже несмотря на то, что мысли Оленина — его собственные. Мы имеем дело с ранним Толстым. И уже здесь проступает то, что так восхищало в нём Ленина: его способность отбросить классовые установки и взглянуть на мир глазами народа. Ленин понимал: дело не в политических взглядах Толстого, а в его художественной правде — в той истине, которую способен выразить только художник, ибо только в искусстве возможна подлинная отстранённость.

Толстой никогда не был менее озабочен «авторским посылом», чем в *Казаках* — и на то были вполне биографические причины. Многие современники, у которых не было возможности сравнивать *Казаков* с поздним творчеством писателя, считали, что повесть испорчена «философствованием». Говорили, что граф Толстой пожертвовал характером ради того, чтобы наполнить голову героя мыслями о жизни, которые тот, с учётом своего ума и воспитания, вряд ли мог бы выдержать. Но в этом мнении есть две примечательные вещи. Да, Оленин — это не столько персонаж, сколько носитель идеи, он — фигура, через которую Толстой говорит. Да, он не «живой» в том смысле, в каком живы казаки. Но причина этого — в том, что Оленин озвучивает мысли Толстого, сформировавшиеся десятью годами позже описываемых событий. Мы видим параллель между Олениным и Толстым 1862 года. Как и многие герои Толстого, он решает, что счастье — в жизни ради других. Он молится, чтобы не умереть прежде, чем сделает доброе дело; он не понимает, как можно радоваться убийству; он жаждет нравственной чистоты — и (что особенно важно) остаётся целомудренным. Это, к слову, сильно отличает его от самого Толстого времён Кавказа. Главное отличие Оленина от последующих героев — Пьера, Левина, Нехлюдова из *Воскресения* — в том, что он отказывается от поиска. Он не возвышается, не преображается через своё пребывание среди казаков. Он лишь чуть лучше узнаёт самого себя и чуть меньше себе доверяет. *«Он больше не обещал себе новой жизни. Он любил Марьянку сильнее прежнего, и теперь знал, что она никогда его не полюбит».[[210]](#footnote-210)*

Но Оленин — не единственный герой повести. В каком-то смысле — он даже наименее значим. Полнокровный, необузданный, материалистичный Ермошка противопоставлен Оленину с его невнятным «духовным» стремлением. И, по правде говоря, в жизнеутверждающей стихии Ермошки гораздо больше от будущего Толстого, чем в мрачноватом шопенгауэровском унынии Оленина.

Советские интерпретации *Казаков*, с их изнурительным акцентом на «народе», правы лишь наполовину. Если у повести и есть «идея», то она — не в прославлении народного превосходства над дворянской испорченностью, а в утверждении чего-то более могущественного, вне морали — в созидательной, беспощадной силе Природы. Оленин, прогуливаясь по лесу, в тех самых местах, где они с Ермошкой когда-то спугнули оленя, сперва ощущает: находиться здесь невозможно — жарко, комары съедают с ног до головы его и собаку. Но потом, почти в духе индуистского отрешения, он покоряется — и к полудню укусы начинают казаться даже приятными. И вдруг рождается поразительно современная, «экологическая» мысль:

*Эти мириады насекомых так гармонировали с дикой, неистовой растительностью, с тёмной зеленью, с густым знойным воздухом, с мутными ручейками, сочившимися повсюду из Терека и журчавшими под тяжёлыми листьями… что всё то, что раньше казалось ему ужасным и невыносимым, теперь стало почти приятным.[[211]](#footnote-211)*

Как древний мореплаватель Колриджа, который вдруг благословляет «тысячи тысяч ползучих тварей», Оленин принимает — благословляет — мир. Именно это природное откровение рождает в нём мысль: жить только для себя — абсурд. Всего за несколько страниц — а их мог бы написать только Толстой — он проходит путь от раздражения на укусы комаров до самопожертвования во имя добра. Это — не просто одно из красивейших мест повести *Казаки*; это — ключ к пониманию самого Толстого: как человека, как художника, как мыслителя. Так и тянет противопоставить позднего моралиста — той «грубой биологической силе жизни», что стоит не *выше*, а *вне* всякой морали. Но подобная дихотомия — лишь попытка рационализировать то, что не поддаётся логике: способность Толстого пробуждать, или казаться пробуждающим, саму природу. И он делает это как в поздних трактатах, так и в ранних повестях. Это — не столько противоречие между идеями и жизнеприятием Толстого, сколько — вопрос иерархии. Укушенный комарами Оленин ощущает вдруг, что он часть природы, живой организм. Не дворянин, не родственник знатных особ, а просто существо — как олень, как комар. И в толстовской системе ценностей это — мысль животворящая: *«Всё равно, что я такое: животное, над которым вырастет трава, — или же облик, в который заключена частица единого Божества, — всё равно: жить надо как можно лучше».* Мы бы извратили Толстого, если бы попытались представить его жизнь и творчество лишёнными противоречий. Но это смирение перед жизнью, это ощущение её божественного значения — одно из главных сокровищ его гения. *«И вдруг, словно солнце засветило у него в душе».*

В этом свете и следует читать любовную линию в *Казаках*. И с биографической точки зрения она весьма показательна. У Оленина, как намекается, есть «прошлое» — но он оставляет его в Москве, с её попойками и карточными долгами. К моменту прибытия на Кавказ его целомудрие уже стало предметом обсуждения среди офицеров. Лукашка лазает по окнам к Марьянке и, по всему видно, пользуется её благосклонностью. Ермошка же и вовсе считает: в любовных забавах нет ничего предосудительного. Оленин же застенчив и сдержан. Изредка он делает попытки сблизиться с Марьянкой, но уже одно лишь прикосновение к её руке вызывает в нём неловкость и упрёк совести. Он чувствует, что не может восхищаться её красотой так же чисто, как он любит горы, утреннюю дымку, лес. Он ревнует Лукашку с яростью. Он любит Марьянку не умом — всем существом. Но в итоге он уезжает — и она даже не поднимает на него взгляда, когда повозка проезжает мимо.

В ранней версии повести Лукашка уходил в горы, оставляя Марьянку — и та выходила замуж за Оленина. В дневниковых записях Толстого, положенных в основу повести, контрасты были ещё ярче. Ермошка — это очевидно его друг Епишка, вдохновивший Толстого на замысел. И в восторге перед природой, в стремлении к добру, в отвращении к светской жизни, в романтическом увлечении казачьими обычаями, одеждой, речью — легко угадывается сам Лев Николаевич. Лев — и Олень. Но в жизни Лев, увы, уложил в постель едва ли не столько же кавказских женщин, сколько подстрелил кабанов, а в конце своего кадетского года лечился от подозрения на сифилис.

Иными словами, финальная версия *Казаков* стала для Толстого способом «отмыть» собственное прошлое. К тому моменту, когда он завершил повесть, он, должно быть, уже начал задумываться — а существует ли вообще подлинная версия тех событий? Роман получился куда живее, чем дневник. Когда этот приём срабатывал, искусство дарило Толстому глубокое удовлетворение: оно позволяло ему справляться с тёмными воспоминаниями. Но дневник — со всеми напоминаниями о том, как он на самом деле себя вёл и каким мог быть — не подлежал ни уничтожению, ни забвению. Он был ему нужен. Его навязчивое возвращение к этим записям было, пожалуй, не столько расковыриванием старой раны, сколько актом недоумения, вопроса к себе: что же это такое — совесть, эта сила, которая порой так властно действует в нём? Отчасти это была примета того, что он не в ладу с физическим миром, не в согласии с окружающим, как был, например, Епишка. До того, как над ним вырастет трава, Толстой жаждал разрешения этой внутренней раздвоенности. В искусстве он мог управляться с разными сторонами собственной натуры, раскладывая их между персонажами. Но в жизни он с тоской стремился к невинности. Когда настало время жениться, он хотел предстать перед своей избранницей чистым, очищенным. Но в то же время он боялся брака — именно потому, что знал: он не невинен, и что в брачную постель он принесёт тело, куда менее чистое, чем у его героя Оленина.

Тремя годами ранее, 1 января 1859 года, он записал в дневнике: «Надо жениться в этом году — или не жениться вовсе». Год прошёл, а Толстой оставался холостяком. Учитывая неудачный брак его сестры с их двоюродным братом Валерианом и благоразумное решение брата Сергея вовсе отказаться от женитьбы и жить как цыган, удивительно, что Толстой ощущал столь неотложную потребность в браке. Это ведь был не светский человек: его поездки в Москву или Петербург сводились либо к посещению родных и старых друзей, либо к встречам с писателями и интеллигентами, чьё отношение к браку трудно было бы назвать буржуазно-респектабельным. И уж, во всяком случае, он не испытывал недостатка ни в любовных историях, ни в доступности женщин. Он размышлял о предложении руки дочери поэта Тютчева, одной из дочерей своего друга Львова, и ещё целому ряду барышень. Он считал, что Екатерина Тютчева, скорее всего, согласилась бы — но увидел в её согласии не страсть, а вежливое равнодушие: «Она приняла бы меня с тщательно сдерживаемой холодностью».

Можно спросить — и его петербургские приятели с циничным юмором наверняка бы спросили: «Ну и что с того?» Но Толстой искал в жене чего-то большего. Он, похоже, искал любви — той самой, прощающей любви, которая могла бы вернуть его в состояние детской невинности. Но в то же время, судя по его суждению о Тютчевой, он хотел, чтобы жена разделяла и его сильные эротические потребности.

Такую женщину он нашёл совсем рядом — в лице Аксиньи Базыкиной, двадцатитрёхлетней замужней крестьянки, с которой у него с 1858 года завязалась страстная и продолжительная связь. «Я влюблён, как никогда в жизни», — записал он в то первое лето. — «Она очень красива… Сегодня — в большом лесу. Я — дурак. Зверь. У неё шея красная от солнца»[[212]](#footnote-212). В отношениях между помещиком и крестьянками в ту пору не было ничего необычного. У отца Толстого был, по-видимому, внебрачный сын от крепостной, который потом служил кучером в Ясной Поляне. Но похоже, что чувства Толстого к Аксинье превосходили простое вожделение. С другими женщинами оно вспыхивало — и угасало. С Аксиньей было иначе. «Продолжать встречаться только с Аксиньей», — записал он год спустя, в противоречивом параграфе, где взвешивал достоинства дочерей Львова. Перед отъездом за границу в 1860 году он вставал в пять утра и отправлялся разыскивать её в деревне: «Искал её. Это уже не чувства оленя, а мужа к жене».[[213]](#footnote-213)

К тому моменту, когда школа была уже основана, и педагогические увлечения Толстого находились в полном разгаре, Аксинья подарила ему по меньшей мере одного ученика — сына по имени Тимофей. В более поздние годы он станет кучером одного из законных сыновей Толстого — точное повторение того, что некогда происходило в Ясной Поляне двадцатых годов.

Скорее всего, Аксинья была неграмотной. И уж точно не обладала даром выражать чувства, изливать душу словами — как это делала женщина, на которой Толстой в итоге женился. Поэтому мы не знаем, что чувствовала сама Аксинья. Когда родился её сын, первенец Толстого, Лев Николаевич уже вступил в законный брак в Москве.

Это произошло в конце лета 1862 года. Семья Берсов давно занимала особое место в поле внимания Толстого — среди тех, кого он рассматривал как возможных невест. Старый Берс был тем самым типажом, который Толстой описывает с таким блеском — как графа Ростова-отца или Стиву Облонского: человек гедонистичный, добродушный, жизнерадостный. Напомним, именно он когда-то был любовником матери Тургенева — и Толстой, который, как известно, с наслаждением дразнил Тургенева, не мог упустить соблазна бывать в доме Берсов. Старик был придворным врачом, и семья жила в Кремле. Его жена была значительно моложе — всего на полтора года старше самого Толстого — и вот здесь, быть может, кроется причина того, что случилось дальше: она была не просто детской знакомой Льва Николаевича, но и уже была «пропущена» через его художественное воображение в трилогии *Детство*, *Отрочество*, *Юность*. Женой Берса была Любовь Александровна Иславина — одна из тех девочек, которых Толстой в детстве толкнул с балкона в приступе доотроческой ревности: его брат был влюблён в неё, и рассказчик *Детства* тоже. Любовь осталась близкой подругой сестры Толстого, Марьи. Здесь была любовь, как он её помнил — до постыдной сцены в казанском борделе, до соития, слёз и венерической болезни. Здесь была семья — целая, шумная, крепко связанная — всегда волновавшая сердце Толстого. Если, как часто говорят, сцены в доме Ростовых в *Войне и мире* основаны на семейной атмосфере Берсов, — то становится понятно, почему он так тянулся к ним. Ему было мало просто «обработать» прошлое, как Диккенсу. Ему нужно было *очищение*. Вернуться, если нужно — даже в доутробную эпоху, и объявить страницу жизни чистой. Эти добрые, весёлые, цельные люди давали ему такую возможность.

И, быть может, не случайно, что Толстой впервые встретил свою будущую жену, когда ей ещё не исполнилось двенадцати лет.[[214]](#footnote-214) Это было в 1856 году. Толстой, недавно вернувшийся с Крымской войны, заехал к Берсам в их летнюю резиденцию в Покровском, в восьми милях от Москвы.

Его попросили научить их исполнять «Восьмое сентября» — одну из патриотических песен, якобы им сочинённых на войне. Потом он сел за фортепиано с Татьяной Андреевной (будущей золовкой), десятилетней девочкой, и играл дуэты. Затем он уступил место их дяде, который начал играть мазурки и вальсы Шопена, а сам Толстой прошептал их матери: «Ах, Любовь Александровна, помните, как мы под это с вами танцевали, когда были молоды?» Татьяна Берс в своих воспоминаниях неверно поняла сцену — ей показалось, будто между матерью и гостем проскочила искра. Но ключевая фраза — «когда были молоды». Ему — двадцать девять. Ей — немного за тридцать. Но он имел в виду: «*когда вы были молоды*». Сейчас он находил Любовь Александровну безобразной, лысеющей и хилой. Зато её маленькие дочки пробуждали в нём ту странную смесь похоти и тоски по детской невинности, которую так хорошо передал Диккенс в *Дэвиде Копперфильде*. С конца 1850-х и до начала 60-х взгляд Толстого был устремлён на сестёр Берс. На других тоже — но именно их мать связывала их с его воображаемым прошлым, воплощённым в автобиографической трилогии. Нельзя переоценить значение того, насколько проза Толстого — это его вариант жизни, какой он хотел бы её видеть. Это не автобиография в буквальном смысле слова (если таковой вообще существует). Но именно художественный текст — главное: он выстраивает события так, чтобы с ними можно было жить. И в этот мучительный процесс дочери Берс теперь оказались невольно вовлечены. И один из самых удивительных фактов, если вспомнить, каким вздорным, вспыльчивым и резким был Толстой в семейной жизни — это относительная устойчивость его отношений с семьёй Берс в целом. Их собственные браки едва ли можно назвать счастливыми. Старый доктор был вечно похотлив и изменял жене. Замужества дочерей тоже обернулись неудачами: первый брак Елизаветы закончился разводом, а младшая Татьяна не слишком счастливо жила со своим кузеном Кузьминским. Но для Толстого семья Берс оставалась символом счастливого дома. Потому что родители были живы, они представлялись более жизнеспособным, более крепким и весёлым семейством, чем Толстые в Ясной Поляне. А главное — он их *любил*. По крайней мере, одного из будущих шуринов он считал настоящим другом.

Когда дело стало подходить к браку, перед Толстым встали два вопроса. Первый — следует ли ему вообще жениться. А второй — если всё-таки жениться на одной из сестёр Берс, то на ком именно: на Елизавете, Софье или Татьяне? В начале 1862 года оба этих вопроса ещё оставались сугубо гипотетическими. Он был так же близок к тому, чтобы выбрать одну из других девушек, или же просто остаться в вольной связи с той, кого действительно любил — с Аксиньей. Но летом 1862 года в жизни Толстого произошло одно из тех внешне случайных событий, которые толкали его на внезапные и стремительные поступки.

\*

Эта книга рассказывает прежде всего историю писателя — но не писателя, произведения которого замкнуты сами в себе. Напротив, это история великого гения, чьё искусство росло из трёх тревожных и неразрешимых связей: с Богом, с женщинами и с Россией. Все эти связи были бурными, полными противоречий. Это были отношения любви-ненависти, и порой ненависть трудно было отделить от любви. В разные моменты повествования может показаться, что самая важная из этих связей — это любовь-ненависть к Богу. Большинство биографов Толстого — поддавшись обилию дневников и писем, запечатлевших сорокалетнюю «бородинскую» бомбардировку, каковой и была их супружеская жизнь, — сосредоточились именно на этом. Об этом невозможно забыть. Но было бы ошибкой забыть и о его связи с Россией. Это не просто риторический оборот, не просто дело чувств. Если бы старый князь Волконский, дед Толстого, не рассорился с императором Павлом; если бы отец Толстого не был столь подвержен халатности; если бы всё сложилось немного иначе — братья Толстые могли бы занять важнейшие посты в государстве. Их кузен Дмитрий был министром народного просвещения и обер-прокурором Святейшего синода. Их кузина Александра ежедневно бывала при дворе. Они принадлежали к высшим родам, были связаны с влиятельнейшими людьми — но череда случайностей и загадочная сила собственного характера обрекла их на совсем другую судьбу. Вместо того чтобы быть фрейлиной при дворе, Марья Николаевна вела череду невероятных романтических авантюр, завершив свой печально известный неудачный брак. Сергей с равнодушием относился к условностям и не желал добиваться успеха в мире. А сам Лев Николаевич — даже если бы вовремя сдал экзамены и не пристрастился к образу жизни, несовместимому с «службой» в бюрократическом аппарате, — всё равно находился на далёком расстоянии от реальной власти. И всё же, как он, без сомнения, ощущал, они были рождены, чтобы править; и если бы история сложилась иначе — ах, сколько этих «если» в личной и национальной истории Толстого! — он был бы законодателем не только своего маленького царства Ясной Поляны, но и куда более широкой сферы.

Согласно личной мифологии Толстого, жизнь пошла наперекосяк в момент полового созревания, с пробуждением желания. В национальном же мифе, в который верили он и многие просвещённые дворяне, утрата невинности наступила с восстанием декабристов.

Толстой начал размышлять о декабристах как о возможной теме для романа ещё в 1856 году, а затем вновь вернулся к ней в 1860–1861 годах.[[215]](#footnote-215) Завершив *Казаков* в 1862 году, он снова обратился к теме декабристов — примерно в то же время, когда начали занимать его и сёстры Берс.[[216]](#footnote-216)

Сюжет должен был строиться вокруг декабриста, вернувшегося в Россию из ссылки в Сибири в 1856 году. Сознательно или нет, он черпал вдохновение из собственных чувств как молодого ветерана, вернувшегося с Крымской войны. Какой была та Россия, в которую возвращался его герой? Но с присущей ему всесторонней жаждой охвата, Толстой хотел через образ возвращенца показать всю Россию. Его герой теперь уже пожилой человек, вспоминающий времена 1825 года, когда, будучи зрелым и женатым мужчиной, он пытался изменить деспотический, самодержавный порядок в империи.

Однако Толстой вскоре понял, что для того чтобы понять этого человека, нужно проследить его путь ещё глубже в прошлое — в эпоху Наполеона и кампании 1812 года.

*«В третий раз я вернулся ещё дальше в прошлое, побуждаемый чувством, которое многим из читателей, возможно, покажется странным, но, я надеюсь, будет понятно тем, чьё суждение я особенно ценю. Это чувство можно выразить одним словом — стыд; я стыдился рассказывать о наших победах над Наполеоном и его армией, не упомянув при этом и о наших собственных бедах, о наших унижениях. Кто может читать многочисленные патриотические рассказы о 1812 годе, не испытывая тайного стыда?»[[217]](#footnote-217)*

\*

В воображении Толстого восстание декабристов представлялось, пожалуй, величайшей попыткой искупить вину России, её стыд. Самодержавие смотрело на это иначе. Николай I учредил знаменитую Третью секцию, которая под разными названиями — ЧК, КГБ — украшала российскую жизнь до самого недавнего времени. Либеральный Александр II ничего не сделал, чтобы её упразднить. Именно Третья секция собрала материалы для ссылки Герцена. Именно они посадили Тургенева под домашний арест за единственную неосторожную фразу в его некрологе Гоголю. Именно они следили за Толстым.

Он знал, что они враги, ещё с тех пор, как цензор возмутился поздними *Севастопольскими рассказами*. Теперь их начала беспокоить и его педагогическая деятельность. Свободные школы, вроде той, которую он открыл в Ясной Поляне, были запрещены новым законом 1861 года.

Один из нанятых им учителей в студенчестве подозревался в печати и распространении антирелигиозной литературы. Тульская полиция, получив запрос от Третьей секции, охотно предоставила пикантные слухи о «разврате» графа Толстого. Без сомнения, имя Аксиньи было аккуратно занесено в полицейское досье.

Однако никаких действий предпринято не было — до лета 1862 года. Толстой, которого всегда преследовал призрак туберкулёзного брата Николая, начал беспокоиться из-за кашля и отправился на отдых в башкирские степи, в Самарскую губернию. Он оставил Ясную Поляну под надзором тёти Татьяны (Танте Туэнетт) и сестры Марьи. 6 июля в Ясную Поляну на рассвете нагрянула полиция во главе с офицером Третьей секции полковником Дурново. Они напугали тётю и сестру Толстого и начали тщательный обыск — вывернули ящики, сундуки, шкафы. Надежда Мандельштам, описывая обыск своей квартиры в мае 1934 года, писала: «В наши притихшие, нищие дома они входили, как в разбойничьи притоны, как в хазу, как в тайные лаборатории, где карбонарии в масках изготовляют динамит и собираются оказать вооруженное сопротивление. К нам они вошли в ночь с тринадцатого на четырнадцатое мая 1934 год».[[218]](#footnote-218) Похожие чувства, несомненно, испытывали тётя и сестра Толстого, наблюдая, как полицейские переворачивают дом вверх дном. Им сказали, что где-то в усадьбе спрятана подпольная типография, печатающая подрывную литературу. Они нашли экземпляр журнала *Колокол* Герцена, что лишь усилило подозрения. Перевернув всё в доме, один из них — как это часто бывает у полицейских умов — решил, что в пруду в парке тоже может быть что-то интересное. Погрузившись в пруд, они нашли там лишь тину, рыб и водоросли.

Вторжение этих грубых людей в его маленькое царство возмутило Толстого. Он был потрясён тем, что напугали его тётю и сестру. Его ужасало осознание того, что правительство, допустившее такое, состоит из его же родственников и знакомых, и он в ярости написал письмо кузине Александре в Петербург:

*«* *Хороши ваши друзья! Ведь все Потаповы, Долгорукие и Аракчеевы и равелины4 — это всё ваши друзья... Мне пишут из Ясной: 1-го июля приехали 3 тройки с жандармами5 , не велели никому выходить6 ; должно быть, и тетиньке, и стали обыскивать7 . — Что они искали — до сих пор неизвестно. Какой-то из ваших друзей, грязный полковник, перечитал все мои письма и дневники, которые я только перед смертью думал поручить тому другу, кот(орый) будет мне тогда ближе всех, перечитал две переписки, за тайну кот(орых) я бы отдал все на свете, — и уехал, объявив, что он подозрительного ничего не нашел... Счастье мое и этого вашего друга, что меня тут не было, я бы его убил. Мило! славно! Вот как делает себе друзей правительство. Ежели вы меня помните с моей политической стороны, то вы знаете, что всегда и особенно со времени моей любви к школе, я был совершенно равнодушен к правительству и еще более равнодушен к теперешним либералам, кот(орых) я презираю от души*. *…»[[219]](#footnote-219)*

По сути, политические взгляды Толстого с того момента уже не менялись, хотя он изо всех сил старался культивировать в себе равнодушие — величайшую привилегию человека, живущего на собственной земле и обладающего независимыми средствами. Но он продолжал любить Александру — и через неё весь тот самый класс, всё то самое правительство, которое ненавидел и поносил. В его отношении никогда ничто не бывало так просто, как ему самому хотелось бы представить. Не была прямолинейной и позиция самого правительства. На протяжении правления трёх императоров оно относилось к Толстому с настороженностью и боязнью — боязнью того, что он, своими сочинениями, способен пробудить недовольство в народе. Но при всём этом сохранялось и восхищение его гением, и кое-что ещё: нечто сродни снисходительной терпимости, которую в семье могут питать к своенравному дяде. Толстой был «один из них».

Примечательно, что в своей ярости по поводу полицейского обыска он особенно возмущался тем, что полковник читал его письма и дневники. Уже тогда в голове Толстого оформлялась мысль, что эти документы когда-нибудь прочтёт кто-то — тот, кто окажется ближе всех к нему. Если бы письма действительно были столь личными, что он не желал бы, чтобы их кто-либо читал, странно, почему он сохранял по два экземпляра каждого. Что же до того, кто должен был стать этим читателем — читателем его дневников — то кто была эта «она»? Хотя в июле он писал Александре, что эти записи настолько сокровенны, что их никто не должен увидеть до его смерти, уже через несколько недель он сам вручил их в руки восемнадцатилетней девушке.

Можно с большой долей уверенности предположить, что Толстой женился бы на любой из сестёр Берс, не вмешайся Любовь Александровна лично. Спустя месяц после полицейского налёта на Ясную Поляну последовал налёт берсовский. Любовь Александровна увезла трёх своих дочерей в имение своего отца — Ивицу, в тридцати пяти милях от Ясной Поляны, — и однажды вечером они все отправились в гости, якобы чтобы навестить Марию Николаевну. Годом раньше мать ясно дала понять, что хочет выдать замуж сначала старшую дочь. Елизавете было уже почти двадцать. Когда в прошлом году заговорили о браке, Толстой записал в дневнике: «Мне страшно жениться на Лизе». Теперь же, летом 1862 года, он чувствовал: « Л[иза] как будто спокойно владеет мной. Боже мой! Как бы она была красиво несчастлива, ежели бы была моей женой».[[220]](#footnote-220) Слова зловещие, и та сестра, которая в итоге стала его супругой, читала их, возможно, не раз.

Беда в том, что по-настоящему ему нравилась младшая, Татьяна. Ей было всего шестнадцать, но она обладала в полной мере той живостью, которая поразила поэта Фета в семействе Берс. («Все они, несмотря на пристальный надзор матери и безукоризненную скромность, обладали тем обаянием, которое французы называют *du chien*».) Её прозвали «Татянчик-чёртёнок». Страстная, восторженная, эгоцентричная — она воплощала в себе то самое качество, которое Толстой не раз выделял и любил в своих героинях: она была полна жизни.

После берсовского налёта на Ясную Поляну Любовь Александровна пригласила Толстого в Ивицу — чтобы он поближе присмотрелся к дочерям. Это был дом не доктора Берса, а старого Александра Ислянева, то есть самого отца из *Детства*. Всё словно сливалось: воспоминание и желание, жизнь и литература. Визиты графа Толстого вызывали у девушек всё возрастающее волнение. Всё происходило благопристойно — не более чем музыка да болтовня. Но после одного из таких вечеров тётя Ольга отвела Татьяну в сторону: «Почему Лиза сказала мне, что Лев Николаевич хочет на ней жениться, если мои глаза видят другое?» — спросила она.

Именно в Ивице, накануне отъезда девушек в Москву, разыгралась та самая романтическая сцена, которую Толстой позже мифологизировал в *Анне Карениной* — в эпизоде объяснения Левина и Кити. Несмотря на прекрасную грусть Лизы и живость Татянчика, Толстого всё более неудержимо тянуло к средней сестре, Софье. Он находил её «некрасивой и вульгарной, но она меня интересует». Очевидно, между ними существовало сильное сексуальное влечение. Но, помимо этого, он видел в флирте с Софьей путь к бегству от сети, что затягивалась вокруг него и Лизы. Он не хотел жениться на Лизе. Он хотел переспать с Софьей. Так, грубо говоря, обстояли дела в последний вечер в Ивице.

Было довольно многолюдно. Кто-то играл на фортепиано. Толстой улавливал моменты, чтобы переговорить с Софьей. — Почему вы не танцуете? — спросила она. — О, я для этого уже слишком стар, — ответил он. Вечер продолжался. За карточными столами сидели пожилые гости, которые потом стали собираться домой. Когда танцы закончились, Любовь Александровна настояла, чтобы дочери отправились спать. Дальнейшее лучше всего передать словами самой Софьи Андреевны:

« Уже я была в дверях, когда Лев Николаевич меня окликнул:

— Софья Андреевна, подождите немного!

— А что?

— Вот прочтите, что я вам напишу.

— Хорошо,— согласилась я.

— Но я буду писать только начальными буквами, а вы должны догадаться, какие это слова.

— Как же это? Да это невозможно! Ну пишите.

Лев Николаевич счистил щеточкой все карточные записи, взял мелок и начал писать. Мы оба были очепь серьезны, но сильно взволнованы. Я следила за его большой, красной рукой и чувствовала, что все мои душевные силы и способности, все мое внимание были энергично сосредоточены па этом мелке, на руке, державшей его. Мы оба молчали

*«В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и и. с.», — написал Лев*

*Николаевич.*

*«Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья»,— прочла я*

«В в. с. с. л. в. и. м. и в. с. Л. 3. м. в. с в. с. Т.».

«В вашей семье существует ложный взгляд на меня и вашу сестру, Лизу. Защитите меня вы с вашей сестрой Танечкой»,— быстро и без запинки читала я по начальным буквам.

Лев Николаевич даже не был удивлен. Точно это было самое обыкновенное событие. Наше возбужденное состояние было настолько более повышенное, чем обычное состояние душ человеческих, что ничто уже не удивляло нас. Послышался недовольный голос матери, звавшей меня спать. Мы наскоро простились, потушили свечи и разошлись. Наверху за шкапом я зажгла маленький огарок и принялась писать свой дневник, сидя на полу и положив тетрадь на деревянный стул. Я тут же вписала слова Льва Николаевича, написанные мне начальными буквами, и тут же смутно поняла, что между им и мной произошло что-то серьезное, значительное, что уже не может прекратиться».[[221]](#footnote-221)

Если бы мы знали все факты этой истории к данному моменту, но не знали её продолжения, мы всё равно не смогли бы предугадать, что предпримет Толстой дальше. И чем больше бы мы знали, тем труднее было бы предсказать. Представьте, что вы знаете всё — не только всю совокупность свидетельств (а они по определению ненадёжны) из дневников, писем, романов, — а буквально всё. Представьте, что у вас был бы «божеский» взгляд на всё, что прошло в сердце Толстого тем летом. И даже тогда следующий его шаг стал бы неожиданностью.

Инцидент с мелом и инициалами имел для Софьи Андреевны глубочайшее значение. Если прежде она была лишь наполовину влюблена, то теперь она ушла в это чувство с головой. Она начала набрасывать рассказ о безобразном, мрачном, старшем мужчине, абсолютно непоследовательном в своих взглядах, которого она, тем не менее, обожала. История с инициалами и мелом — в которую поверили как Толстой, так и его будущая жена — при трезвом размышлении не может быть правдой. Ни один решатель кроссвордов, ни один знаток криптограмм не обладал такой телепатией, какую приписывает себе Софья Андреевна. И, как часто бывает в её дневниках, она показывает нам происходящее, сама того не понимая.

Толстой оказался в затруднительном положении. Он не хотел жениться на Лизе. Он не был уверен, хочет ли жениться вообще. Но внезапный прилив интереса к Софье был сродни тем вспышкам, что он испытывал прежде к не менее чем сорока женщинам: чувству, которое могло бы освободить его от брачных обязательств.

Когда пришло время всем возвращаться в Москву, Толстой импульсивно сел в дорожную карету вместе с сёстрами Берш. Это была та самая четырёхместная повозка с двумя дополнительными местами снаружи. Внутри сидели госпожа Берс, сестра Толстого Марья, Елизавета и их младший брат Володя. Снаружи, укрывшись пледами, прижавшись друг к другу, разместились сам Толстой и Софья. Карета медленно двигалась из Тулы сквозь ночную темноту. На последней станции перед Москвой Елизавета демонстративно заявила, что внутри душно, и выразила желание пересесть наружу. «О, — сказал Толстой бестактно, — но ведь сейчас очередь Софьи Андреевны сидеть снаружи».

Для Софьи это был важнейший момент поездки. Для всех остальных, вероятно, главным драматическим событием была судьба сестры Толстого. Уже год она состояла в связи со шведским виконтом Виктором-Гектором де Кленом. Её брак был окончен. Она собиралась уехать за границу, как ей казалось, навсегда. Вероятно, именно это волновало брата и давнюю подругу Любовь Александровну куда больше, чем вопрос, кто с кем ехал на облучке.

Вернувшись в Москву в последнюю неделю августа, Толстой заметил, что стал меньше думать о Софье и больше — о делах общественных. Он составил и отправил пространное письмо-протест Императору, касающееся полицейского обыска в Ясной Поляне, случившегося семь недель назад. Он обедал у Катковых («всё обсуждают благо России»). За два дня до своего тридцать четвёртого дня рождения он вновь посетил семью Берс, где Софья показала ему свой рассказ о «восхитительно безобразном» мужчине. Он забрал его с собой, прочитал в день рождения и был поражён, насколько точно она ухватила суть его самого.

Вечер он провёл не у Берсов, а у Тютчевых — за ужином и неспешной беседой. Ему было приятно думать о том, чего он избежал с мадемуазель Тютчевой. «Эй ты, рожа безобразная, — сказал он себе, вспоминая рассказ Софьи, — не мечтай о браке: у тебя иное предназначение, и ты к нему щедро одарён».

29 августа он поехал с доктором Берсем в их дачу в Покровском. После ужина с девушками он записал в дневнике загадочную фразу: «Она заставила меня расшифровать письмо. Мне было неловко, и ей тоже». Что это означало? «Она» в контексте — безусловно Софья Андреевна, которую в тот вечер окружали два поклонника — господа Попов и Поливанов. Ни один из них не вызвал у Толстого ревности: он уже был уверен, что Софья его любит. Но что это было за письмо, которое требовало расшифровки? Куда логичнее предположить, что речь шла о той самой криптограмме, о ряде инициалов, которые, как вспоминали впоследствии оба, он нацарапал мелом на карточном столике, и которые она якобы безошибочно и мгновенно расшифровала. Гораздо вероятнее, что он просто отправил ей записку, а она не смогла в ней разобраться. Её преданность вызвала у него смешанные чувства: и жалость, и упрёк себе самому — «свинья ты».

Прошла ещё неделя. Он снова обедал у Тютчевых, и на сей раз «голубой чулок» их разговоров показался ему отвратительным. Он встретился со старым другом Перфильевым — они знали друг друга уже лет восемь или девять — и крепко напились. Оба — мужчины средних лет — чувствовали себя старыми. Они объелись и улеглись на полу, их лица почти соприкасались, дыхание было тяжёлым. «Дублицкий, — сказал Толстой, называя себя именем отталкивающе обаятельного героя рассказа Софьи, — не лезь туда, где юность и поэзия, любовь и красота — оставь это кадетам, друг мой… Ерунда всё это. Твоя дорога — монастырская, и с её высоты ты будешь смотреть вниз на чужую любовь и счастье — спокойно и с улыбкой…»

Но на следующий день он вновь увидел Софью — и «она влечёт меня неудержимо». Он попытался побороть возбуждение, которое она в нём пробуждала, отправившись в деревню и проведя вечер с крестьянкой по имени Саша. Но это не помогло. Остаток недели он пребывал в муках влюблённости. Он не находил себе места. Делал гимнастику. Ужинал в клубе. Он слишком боялся, чтобы действовать или хотя бы говорить. К 13 сентября он уже решил: «Завтра утром пойду и всё скажу. Или застрелюсь».

На следующий день он не застрелился. Вместо этого он написал Софье письмо с предложением руки и сердца. Но не отправил его. Письмо он сунул в карман и провёл следующие двадцать четыре часа в состоянии лихорадочного возбуждения. Он навестил Тютчевых. Затем зашёл в квартиру Берсов, молча вложил письмо в руку Софьи — и не смог вымолвить ни слова. Потом вернулся домой и лёг в постель. Но сон не пришёл. Он встал и провёл ночь, разговаривая с Перфильевым о прошлом. Он рассказал ему всё о смерти Николая. Он плакал. В этом волнении он понял, что более всего желает в Софье не просто любви, а доверия, соучастия. «У меня не будет больше тайн для себя одного; будут тайны на двоих; она прочтёт всё».

На следующий день, 16 сентября, он снова явился к Берсам.

Весь дом был охвачен волнением из-за его визитов. Лиза была рядом с Софьей, когда та читала письмо. «Что это?» — спросила она. «Граф сделал мне предложение», — ответила Софья. В комнату вошла мать. Узнав новость, она спросила: «Ты хочешь выйти за графа?» — «Да», — сказала Софья. И они вместе пошли сообщить об этом остальным.

Лиза плакала, а родители были ошеломлены. Это было вовсе не то, на что рассчитывала Любовь Александровна. Первая реакция доктора Берса была гневной, но, как человек циничный и опытный, он дал согласие. Толстой настоял на том, чтобы свадьба состоялась немедленно. Удивительно, что родители Софьи с этим согласились. На следующий день, 17 сентября, был её день ангела, и все гости, пришедшие на праздник, узнали, что она выходит замуж через неделю. Свадьбу назначили на 23 сентября.

Почему такая спешка? За исключением флиртующих разговоров и молчания в обществе за последний месяц, да одной поездки в карете, будущие супруги едва ли провели вместе хоть немного времени. Они даже не знали толком, нравятся ли друг другу. Вероятно, так и не узнали. Он находил её странной и притягательной. Она — его пугающим и чудовищным. Между ними была сильная физическая тяга. На этом и основывался их союз — один из самых документированных и, в то же время, самых несчастливых браков в истории.

Подарком Толстого Софье к её именинам стало предложение прочитать его дневники. В девятнадцатом веке это было не так уж редким жестом (Николай II и его невеста сделали то же самое). Но это не значит, что это было благоразумно. Он хотел, чтобы от неё не было никаких тайн. У отца Софьи попросили разрешения на то, чтобы она прочла эти записи, и он его дал. О чём он только думал, давая согласие? Надеялся ли он, что, узнав о репутации Толстого — хорошо известной в их кругу — Софья сама всё отменит? Она была неопытной восемнадцатилетней девушкой. В 1890 году, спустя двадцать восемь лет, она всё ещё перечитывала эти дневники, делала чистовые копии и старалась не дать их в руки друзьям и ученикам мужа. « Я думаю, что тот ужас, который я испытала, читая дневники Левочки, когда я была невестой, та резкая боль ревности, растерянности какойто перед ужасом мужского разврата — никогда не зажила, — писала она. — До сих пор помню мучительные приступы ревности, ужас от этого первого столкновения с мужской развращённостью»[[222]](#footnote-222). Всё это лежало перед ней, как на ладони, в одном огромном комке: ранние годы блудной жизни и вольных похождений, многократные случаи венерических заболеваний, цыганки, казачки, полугомоэротическая преданность к студенческим друзьям, флирты в гостиных — целый каталог бурной сексуальной биографии, охватывающей двадцать лет. Хуже всего было то, что она узнала: всего за месяц или два до этого Толстой был без ума влюблён в свою крестьянскую любовницу Аксинью.

Тем не менее подготовка к свадьбе продолжилась. В их первой частной встрече после прочтения дневников Софья была в слезах.

— Значит, ты не простишь меня? — спросил он.

— Нет, прощу… но это ужасно, — ответила она, возвращая ему тетради.

Толстой пробудил в ней зависимость, которая стала неотъемлемой частью их отношений на всю жизнь. Они вели дневники не всегда, но в те годы, когда вели, это превращалось в неотразимую игру. Ей было необходимо читать его записи — как бы больно или шокирующе они ни звучали. А чтобы восстановить справедливость, ей было необходимо записывать и свою версию событий. Казалось, что без этого они не до конца существовали — пока не становились персонажами на страницах.

С обыденной человеческой точки зрения поступок Толстого — показать ей дневники — был жестоким. Но он не жил на уровне обычной человеческой морали. Что бы он ни думал в тот момент, когда вручал ей эти книги, на самом деле он подвергал её главному испытанию: не простит ли она его, а — прочитает ли его? И она прошла это испытание.

С глубокой, интуитивной проницательностью — без всякой радости — она сразу уловила: Толстому нужно было не только искупление, но искупление именно через слово, через письмо. Это связало их невероятно тесно — даже в периоды взаимной ненависти и страха. Она была его читателем. Она пережила все взлёты и падения супружеской жизни до тех пор, пока это положение — быть его главной читательницей — не оказалось под угрозой, когда другие начали претендовать на её место. Даже меньше, чем большинство невест, в день своей свадьбы Софья Андреевна понимала, на что она идёт. Но ошибочно думать, будто она была бессознательной жертвой. Её терзала любовь к чудовищному герою собственной повести. Но именно это чудовище она и любила. И с самого начала она понимала: чтение этих дневников дало ей уникальную власть. Власть, от которой она не могла отказаться.

После беспокойной недели, в течение которой она с матерью закупала приданое и улаживала последние приготовления, наступил день свадьбы. С самого утра Толстой явился в квартиру Берсов — в состоянии смятения и волнения. Он сомневался, правильно ли они поступают.  
— Я пришёл сказать, — произнёс он, — что ещё не поздно… Всё это можно остановить.

Софья расплакалась. Неужели он пришёл, чтобы отменить свадьбу?  
— Да, если ты меня не любишь, — ответил он.

Появилась Любовь Александровна, увидела, как Толстой утешает её дочь, и, должно быть, в тот момент все трое задавались вопросом: а не прав ли он? Ситуация была безумной. Но у Любови Александровны на кону стояла репутация дочери. Вся Москва уже была в курсе. Приглашения разосланы, церковь заказана, подарки получены, платья выбраны.  
— Нашли, когда её расстраивать! — сказала будущая тёща и выпроводила Толстого, напомнив ему о времени венчания.

Как Толстой провёл день, мы не знаем. Возвратился он слишком поздно, чтобы переодеться. Угрюмый слуга сообщил, что чистых вещей не осталось: всё бельё и костюмы были упакованы и отправлены вместе с братом Толстого, Сергеем Николаевичем, в Ясную Поляну. Ни одной чистой рубашки.

Венчание было назначено на восемь вечера в кремлёвской церкви Рождества Богородицы. К семи часам Софья Андреевна уже стояла в свадебном платье, готовая. По обычаю, друг жениха должен был прийти и известить невесту, что жених уже ждёт её в церкви. Прошёл час, а он всё не приходил. В половине девятого отчаяние охватило всю семью. Толстой, казавшийся утром таким растерянным и неуверенным, похоже, сбежал. В этот момент появился лакей Толстого, объяснивший недоразумение с багажом и рубашками. А вскоре пришёл и друг жениха, сообщив, что рубашка наконец найдена, и жених ждёт в церкви.

Софья Андреевна отправилась туда в состоянии сильнейшего волнения. Когда он повёл её к алтарю, хор запел: «Прииди, голубица». В церкви собралось три сотни гостей, уже час ожидавших начала продолжительного обряда — с пением, гашением свечей и держанием венцов над головами жениха и невесты. Софья Андреевна почти весь обряд плакала.

После венчания, уже собираясь сесть в карету, чтобы уехать с мужем, она бросилась в объятия матери и зарыдала, как дитя.  
— Если расставание с семьёй причиняет тебе такую боль, значит, ты не слишком-то меня любишь, — сказал ей Толстой, когда они уже ехали в экипаже.

Они сделали остановку в местечке Бирюлёво. Уже в дороге Толстой удостоверился, что невеста осведомлена о фактах супружеской жизни. В постоялом дворе им отвели лучшие комнаты — «покои императора». Молодая графиня сидела на диване, молчаливая и застенчивая. Принесли самовар. Всё та же угнетающая тишина, и, по мнению Толстого, излишняя робость.  
— Ну что ж, покажи, что ты хозяйка. Давай, наливай чай, — сказал он.

Софья стеснялась даже назвать его по имени. Она уже прочла его дневники. Обратила ли она внимание на то, как быстро у Толстого телесное влечение превращается в тягостное чувство? Как часто самоненависть в этой сфере перерастает в раздражение на ту, кто стала причиной этих бурных чувств? Или же она просто боялась стать ещё одной записью в этом скорбном реестре?

На следующий день, после ещё одной долгой дороги, пара прибыла в Ясную Поляну. Всего пару месяцев назад она приезжала сюда с матерью, кокетливая школьница. А теперь возвращалась — как полновластная хозяйка. У дверей их встречал брат жениха, Сергей Николаевич, и тётушка Туанетта, которая, как заметил Толстой, «уже готовилась страдать» — теперь, когда её любимец обрел жену.

Тётя, по обычаю, держала икону, и Софья Андреевна поклонилась, поцеловала её, затем поприветствовала новых родственников. Сергей подал хлеб-соль на подносе. В ту ночь Толстой увидел дурной сон. Был ли это кошмар или сон, исполненный греховных видений — сказать трудно. Но к записям он добавил два слова: «Не она».[[223]](#footnote-223)

**ГЛАВА 9**

**АЛХИМИЯ**

**1862 - 1864**

*Неужто я, прияв любви венец,*

*Как все монархи, лестью упоен?*

*Одно из двух: мои глаз - лукавый льстец.*

*Иль волшебству тобой он обучен.*

В.Шекспир Сонет 114 (пер. С.Я.Маршака)

Английский путешественник, посетивший Россию на излёте XVIII века, оставил колоритный образ провинциального помещика своего времени. Вряд ли найдутся веские основания полагать, что за последующие шесть десятилетий картина претерпела сколь-нибудь существенные изменения.

*Вы найдете, что весь день напролет он ходит с голой шеей, с неухоженной · бородой, одетый ·в овчину, ест сырую редьку и пьет квас, полдня спит, а другую половину рычит на жену и*

*семейство. Знатный человек и крестьянин отличаются одним и теми же чувствами, желаниями, стремлениями и наслаждениями....[[224]](#footnote-224)*

Этот отталкивающий портрет был приведён современным историком, чтобы подчеркнуть: само по себе дворянское звание в России вовсе не гарантировало благородства.

У России были свои «сквайры Уэстерны» и «сэры Питты Кроули» — персонажи, столь же чуждые столичной утончённости, сколь и элементарным приличиям. Великие фамилии из Войны и мира, как подчеркивает Ричард Пайпс, «отнюдь не были типичны ни в каком отношении. Они состояли в членах закрытого клуба, насчитывающего около 1400 «сеньоров» в империи, где один миллион человек претендовал на «знатность»».[[225]](#footnote-225)

И всё же — к какой категории следовало бы отнести самого Толстого? Был ли он тем самым grand seigneur, или, скорее, поклонником сырой репы? До тех пор, пока в зрелые годы он не изобрёл собственную религию, где поедание репы и ворчание на жену возводились в ранг добродетели, даже сам Толстой едва ли мог бы дать на это определённый ответ.

Связи у него, бесспорно, были отменные: кузены в Петербурге и Москве занимали высокие и весомые позиции. Но по образу жизни и складу ума он был куда ближе к мелкопоместному провинциалу. Его притязания на роль великосветского аристократа, пожалуй, существовали лишь в воображении.

Напротив, Софья Андреевна Берс выросла в просторной и ухоженной кремлёвской квартире своих родителей, окружённая красивыми нарядами, изысканным обществом, постоянным вниманием и штатом из десяти слуг. В Ясной Поляне все обстояло иначе. Здесь, на месте когда-то блистательного дома её деда по материнской линии, князя Волконского, ныне оставались лишь два уцелевших флигеля. Один был отдан под школу для крестьянских детей, другой служил жильём самому Толстому и его «тётушке», Татьяне Ергольской. Из былой прислуги остались только трое: горничная Дуня, слуга Алексей и старик, который лишь время от времени, протрезвев, что-то стряпал на кухне.

Вернувшись из города, Толстой неизменно облачался в простую крестьянскую рубаху и подпоясывался, как это хорошо известно по множеству его портретов. Дом, куда он привёл свою юную жену, поражал аскетической строгостью и даже суровостью. Мягкой мебели почти не было — лишь жёсткие стулья, простые столы. Свет — тусклый, исходивший от чадящих сальных свечей. Спальни — холодные, унылые, лишённые уюта. Ковры отсутствовали вовсе: предполагалось, что к постели идут в тёплых носках или даже в лаптях. Постельного белья едва хватало. Молодая графиня была потрясена, узнав, что её муж не признаёт наволочек. Он спал на старой, твёрдой, кожаной подушке цвета выцветшей крови — словно выдранной из вагона третьего класса.[[226]](#footnote-226)

Для восемнадцатилетней девушки, выросшей в уюте московского дома, среди европейских удобств, любящих сестёр и утончённого светского общества, переезд в Ясную Поляну стал настоящим шоком. Ни друзей, ни привычного весёлого шума, ни мягкой роскоши — только тишина деревни, звенящая от чуждого одиночества. Очарованная мужем, охваченная к нему страстным влечением, она с рвением принялась за роль усадебной хозяйки. Но уже первое посещение коровника вызвало у неё тошноту и спазмы — не столько от грязи и запустения, сколько от столкновения с прошлым, от которого в Ясной Поляне было не скрыться. Всего несколько недель назад она читала признания Толстого, полные раскаяния. Но фраза «влюблён, как никогда» становилась особенно мучительной, когда перед её глазами возникала самая горькая правда: крестьянка Аксинья Александровна Базыкина с младенцем на руках — внебрачным сыном её мужа.

«Мне кажется, я когда-нибудь себя хвачу от ревности. «Влюблен как никогда!» И просто баба, толстая, белая, ужасно. Я с таким удовольствием смотрела на кинжал, ружья. Один удар — легко. Пока нет ребенка».[[227]](#footnote-227)

И всё же — запахи, одиночество, грубые манеры и греховное прошлое, несмотря на отвращение, порой возбуждали её. Его суровость, порывистость в интимных моментах одновременно влекли и задевали. « К себе он меня не подпускает, и мне это грустно. Так противны все физические проявления ».[[228]](#footnote-228) А спустя месяц, 13 ноября, — уже совсем иной тон, довольный, мурлыкающий: несколько недель она не могла думать ни о чём, кроме постели — и уже беременна.

«Вот так-то через несколько лет я создам себе женский, серьезный мир и его буду любить еще больше, потому что тут будет муж, дети, которых больше любишь, чем родителей и братьев. А пока не установилась».[[229]](#footnote-229)

Первые месяцы совместной жизни Толстых казались безоблачными. Гости, бывавшие у них тогда, не подозревали о мимолётных ужасах, которые Софья Андреевна доверяла своему дневнику. Они скорее были поражены той осязаемой, живой радостью, которая царила в доме. Брат Софьи приехал в гости и, вспоминая те ранние месяцы, писал: «Я, пожалуй, был самым близким свидетелем их семейной жизни. Их взаимопонимание, дружба и любовь всегда служили для меня примером и идеалом супружеского счастья. Достаточно сказать, что мои родители, которые, как все родители, редко бывали довольны судьбой своих детей, нередко говорили: “Мы и мечтать не могли о лучшей партии для Софьи».[[230]](#footnote-230)

Ту же самую лучистую атмосферу счастья чувствовал и Фет во время своих визитов. О том, что и сам Толстой переживал это состояние, мы знаем из отрывков его дневника, написанных в медовый месяц. «Моё счастье, кажется, поглощает меня целиком», — записал он 5 января 1863 года.[[231]](#footnote-231)

Вскоре после этого его жена написала в своём дневнике, что не чувствует ничего, кроме угрызений совести и раскаяния за свои прежние суровые мысли, и к мужу — только любовь. «В нём нет абсолютно никакого зла, нет ничего, за что я могла бы даже в мыслях упрекнуть его».[[232]](#footnote-232)

Когда 9 января к ним приехали её брат, сестра Таня и подруга, Софья Андреевна едва могла вынести их присутствие. «Я просто не могу перестать плакать, ни за что не покажусь им на глаза, ведь они ещё дети и никогда не были влюблены. Мне так хочется его увидеть», — нацарапала она на заплаканных страницах своего дневника, спрятавшись в спальне. «Господи, а вдруг он совсем потеряет ко мне интерес? Теперь абсолютно всё зависит от него. Какая же я никчёмная, как тягостна эта душевная мелочность…»[[233]](#footnote-233)

Некоторые читатели писем и дневников графини Толстой склонны в каждом её всплеске отчаяния видеть повод для упрёков в адрес мужа. Другие же — более снисходительные или же мыслящие в русле физиологии и гинекологии — напоминают: их старший сын Сергей родился 28 июня 1863 года, ровно через девять месяцев после свадьбы, а за последующие восемь лет Софья Андреевна произвела на свет ещё семерых детей. Это было тяжелейшее испытание — и физическое, и душевное, и гормональное — которое поставило бы на колени и натуру куда более стойкую. Всего же, за первые двадцать шесть лет брака, она родила тринадцать раз.

Существует две или три по-настоящему достойные книги о жене Толстого, но эта — не из их числа. Если рассказу предстоит остаться в рамках разумного объёма, он неизбежно должен сосредоточиться прежде всего на самом Толстом — и тем самым рискует показаться равнодушным к тем, кого он, сознательно или нет, ранил. Даже помимо этого, истина о браке вряд ли может быть постигнута. Брак как зрелище — зрелище пугающее, по сравнению с которым римские гладиаторские бои кажутся почти что детской игрой. Романы живут за счёт иллюзии: будто способны проникнуть в самое сокровенное — в отношения мужчины и женщины, в их скрытую внутреннюю жизнь. Биографы и газетчики подливают масла в огонь, внушая читателю, будто перед ним правда, подлинность, достоверность.

Толстые, будучи в каком-то смысле вульгарными и наполовину современными фигурами, неизбежно стали объектом того же жадного внимания, какое в наши дни достаётся кинозвёздам и неувенчанным монархам в западной прессе. Их письма, дневники, хроники бурной — в основном неудачной — семейной жизни велись с самого начала как будто с оглядкой на нас, будущих читателей.

В первые пятнадцать лет брака дневников было немного: супруги были слишком заняты — и, по-своему, слишком счастливы, — чтобы размышлять о летописи. Настоящее «дневниковое соперничество», вскоре переросшее в «дневниковую войну» с многословными списками взаимных упрёков, относится уже к «постлитературному» периоду жизни Толстого, начавшемуся после написания Анны Карениной и знаменитого духовного перелома. С этого момента каждая жалоба, каждая язвительная реплика, каждый укол самолюбия фиксировались на бумаге — будто бы специально для будущих читающих под замочную скважину.

Но подобные записи редко говорят правду. Люди, связанные между собой столь тесно, как Толстые, прожившие столь долгую — и, что особенно важно, столь страстную — интимную жизнь, почти никогда не способны смотреть на себя беспристрастно. В один миг он мог её ненавидеть, она — его; а в следующий — всё ещё охваченные раздражением, — они могли любить друг друга до исступления. Как те супружеские пары, что устраивают сцены за чужими обеденными столами или среди людной улицы, — если бы им довелось прочесть позднейшие описания своей семейной драмы, они, пожалуй, закричали бы своим защитникам: «Оставьте нас в покое!» — и тут же вернулись бы к своему сладостному искусству самоуничтожения..

«Болельщики» — если продолжать метафору брака как зрелища — слово как нельзя более точное. И у этого спектакля нашлось немало зрителей, занявших свои места на трибунах — со всем литературным антуражем: от разноцветных шарфов и гремящих трещоток до ножей и битых бутылок, без которых ни один уважающий себя фанат не обойдётся. Большинство этих «толстовских хулиганов» — то есть биографов, жаждущих схватки — встали на сторону «Сони», как они неизменно её называют. Однако и у старика нашлась своя фанатская группа — особенно, по непонятной причине, в Англии.[[234]](#footnote-234)

В Софье Андреевне Берс Толстой обрёл супругу редкого склада — волевую, энергичную, умную, беззаветно преданную семье. Оба, как не раз отмечалось, обладали «трудными» характерами, и их брак потребовал от них усилий, к которым в конечном счёте не был готов ни один. Попытка охватить весь масштаб боли и личных жертв с обеих сторон сродни той, с которой Пьер в эпизоде под Бородином тщетно пытается постичь, что вообще происходит на поле сражения.

Эта книга — история Толстого как писателя и мыслителя. И хотя определить значимость его брака в этом контексте временами затруднительно — особенно к огорчению самой Софьи Андреевны — в начальный период она, вне всякого сомнения, была огромной. Будь то влияние отцовства, более упорядоченной интимной жизни, отказа от спиртного или же просто тот очевидный факт, что его жена оказалась надёжной, пунктуальной помощницей и секретарём — всё это наконец позволило Толстому сосредоточиться на главном: на подлинном труде, на «Декабристах».

Великие писатели до-романтической эпохи, как правило, отличались тем, что совмещали личное с общенациональным, коллективным. Путешествие их разума сочеталось с поиском своего места в «веке». Любовь Данте к Беатриче и к Флоренции в итоге слились в единое целое. У раннего Шекспира эти два элемента ещё разобщены: герой «Сонетов» — это человек, объятый сугубо личной страстью и страданием. Неудивительно, что Пруст находил в «Сонетах» неисчерпаемый источник вдохновения: они словно утверждают прустовскую мысль о том, что лишь искусство способно спасти нас от разрушительной власти времени; гербы тиранов и надписи на бронзовых гробницах вызывают у автора не благоговение, а насмешку — в отличие от христианского гуманизма поздних трагедий и романсов. Всё сводится к личному: «бедная душа, центр моей грешной плоти», — как у молодого Толстого в его ранних дневниках и «Истории вчерашнего дня». В исторических хрониках Шекспира патриотизм выглядит формальным — всё кажется заранее заготовленным. Лишь когда личная трагедия, отражённая в «Сонетах», была им осмыслена и преодолена, и лишь когда возникло подлинное чувство патриотизма, он смог создать пьесы о Генрихе IV — и превратить трогательную привязанность неподобающего старца к озорному юнцу в не только величайшую комедию, но и глубоко прочувствованное политическое высказывание.

Аналогичным образом, мы можем сказать, что Vita Nuova и ранние политические трактаты Данте кажутся неоформившимися набросками по сравнению с завершённым видением Божественной комедии, где сливаются внутреннее и героико-национальное.

Когда Толстой утверждал, что Война и мир — не роман, он предупреждал нас не читать его с тем же настроем, с каким читается Дэвид Копперфильд или Преступление и наказание. Это было не тщеславие — степень его самомнения здесь не имеет значения. Он знал, как знали в своё время Данте и Шекспир, что создал шедевр, сравнивать который с обыкновенным романом-фельетоном попросту бессмысленно.

Чтение Шекспира почти всегда строится на интуиции и догадке. Мы лишь предполагаем, что связь между принцем Халом и сэром Джоном Фальстафом — ироническое отражение отношений поэта с тем, кого принято называть «прекрасным юношей» из сонетов; и только смутно догадываемся, как способность Хала отрешиться от собственной юности — «презреть свою мечту» — стала для Шекспира метафорой более глубокого постижения Англии и её общественного устройства. Мы следим за траекторией его мысли, как следят за кометой — не зная, откуда она явилась, куда исчезнет и чем объяснить её сияние.

С Толстым всё иначе. В его случае алхимический процесс создания великого произведения разворачивается перед нами, как на ладони. Война и мир — это роман, насыщенный личным опытом с такой плотностью, что почти каждая сцена, каждое слово, каждый персонаж кажутся автобиографичными. И там, где эта автобиографичность становится невозможной — как, например, в эпизоде вступления Пьера в масонство, составленном по книжным описаниям, — текст теряет плотность, дыхание, силу. Толстой не был масоном, и это видно. Но он был мужем, сыном, солдатом, влюблённым, страдающим, смеющимся — и всё это в романе подлинно.

Тем не менее, несмотря на настойчивые подсказки комментаторов — мол, любовь Сони к Николаю Ростову есть отражение любви тётушки Татьяны к отцу Толстого, или что сцены Аустерлица и Бородина вдохновлены воспоминаниями о Севастополе и польском фронте, — на первом чтении мы почти не обращаем на них внимания. Если бы кто-то прервал наше чтение и попытался заговорить об этом, мы, скорее всего, только отмахнулись бы: вы действительно хотите сказать, что холодная отрешённость князя Андрея перед смертью, его чувство к Наташе, его мысль на поле Аустерлица, его тоска, героизм и цинизм — всё это списано с какого-то эпизода из реальности? Для тех, кто хоть раз вчитался по-настоящему в Войну и мир, эти сцены — и есть сама жизнь. Прервать чтение, закрыть книгу — значит вернуться в нечто более тусклое, менее подлинное, чем эти страницы.

Это чувство знакомо не только тем, кого отрывают от романа ради ужина у камина. Так чувствовали и люди действия. Во время Второй мировой войны среди солдат было обычным делом читать Войну и мир прямо на передовой — и ощущать, что сцены Шёнграбена или Бородина куда более «реальны», чем окружающие их взрывы, кровь и смерть. Один офицер рассказывал, как на протяжении целой недели он был больше занят судьбой Наполеона и Кутузова, чем оперативной сводкой с фронта.

Это наблюдение может показаться простым, почти «мещанским», но в нём заключён парадокс, суть которого невозможно переоценить. Ни одна другая книга не воспринимается как столь реальная, столь всеобъемлющая и лишённая авторского самовосхищения. И всё же — чем больше мы распутываем её ткань, тем отчётливее видим: Война и мир рождалась в таком же самоуглублённом и рефлексивном процессе, каким был процесс создания Поисков утраченного времени. Разница между Толстым и Прустом — в последнем счёте — политическая и религиозная.

Пруст, пережив дело Дрейфуса и ужасы Первой мировой, утратил веру в общество, которое он описывал. Его отношение к собственной среде — как и к родителям — было мучительно двойственным. И потому неудивительно, что в финале его романа разрушение Парижа, гибель архитектуры, демонтаж самого общества воспринимаются нами как трагедия — без выхода, без надежды, как холодный диагноз, обернувшийся приговором.

Толстой же был либо достаточно петербургским либералом, либо — напротив — старорежимным славянофилом, чтобы верить в Россию. А главное — в 1862 году изменилось не только его отношение к Родине, но и он сам. Он внезапно ощутил, что у него есть не только прошлое, но и будущее. Война и мир рождалась из этого озарения — как у Шекспира рождались сонеты.

В том самом 114-м сонете, к которому вновь и вновь обращаются исследователи, Шекспир говорит о невыразимом даре любви, о том, как воображение преображает действительность. «Мир словно запечатлён подписью Бога», — писал о нём Уилсон Найт. То же ощущение остаётся с нами, когда мы читаем Войну и мир. Вселенная на её страницах — как если бы и впрямь несла на себе эту печать. Но, если уж быть точным, вряд ли бы она появилась, если бы рукописи не были переписаны и подписаны не Богом, и даже не самим Львом Толстым — а его женой.

*Из чудищ и бесформенных вещей*

*Он херувимов светлых создает.*

*Всему, что входит в круг его лучей,*

*С твоим лицом он сходство придает.*

Это — зрелое и светлое утверждение силы искусства: жизни можно придать новую форму — почти искупить её — через вдохновение, дарованное художнику. У Толстого это преображающее воображение питалось не отчуждением, как у Пруста, а близостью, соединением с другим человеком. В его мире разрушение не венчает замысел, как в Поисках утраченного времени, а наоборот — становится побеждённым. Одержимость Пруста Альбертиной — это тупик, замкнутая спираль, в которой нет искры сотворения. А у Толстого воображение обретает тепло, ясность и глубину именно в узах брака — не идеального, но подлинного, и в том, что брак этот привнёс в его дом: живую, любящую, деятельную семью.

Семья Берс была не просто «добавлением» к Софье — она стала для Толстого источником тихой радости, родства, душевной устойчивости. В первые месяцы брака он жадно впитывал не только любовь жены, но и тепло её родных, их открытость, московскую культурную атмосферу. Именно там, среди этой оживлённой и интеллигентной среды, прошли его первые рождественские дни в новом статусе — не только как мужа, но и как человека, впервые ощутившего себя не одиноким. В этом новом кругу, за праздничным столом, среди доброжелательных голосов и домашних разговоров, начинала вызревать та внутренняя гармония, без которой невозможно было бы вообразить целый мир Войны и мира.

Однажды вечером Толстой ушёл, оставив Софью с сестрой Татьяной и их матерью. Естественно, им хотелось услышать всё о жизни в Ясной Поляне. Первое время Софья не скупилась на похвалу — и мужу, и дому. Но чем дольше шёл разговор, тем больше она позволяла себе быть откровенной: жизнь в Ясной была не без трудностей. Она призналась Тане — как все её называли — что ей порой утомительно быть взрослой. Хотелось снова оказаться среди младших сестёр, дурачиться, как в детстве, делать всякие глупости, за которые Таня обычно говорила, что у неё «крыша поехала». Но если она позволяла себе хоть тень веселья в той суровой тишине, «тётушка» Татьяна Александровна тут же одёргивала: «Осторожнее! Тише, ма шер Софи, pense à votre enfant!»[[235]](#footnote-235)\*

Одиночество Софьи и её тоска по сестре Тане стали важным источником вдохновения для Толстого, когда он создавал свой шедевр: не только моделью Наташи Ростовой, но и мощным импульсом жизнерадостности, лёгкости, молодой энергии.

В ту рождественскую ночь 1862–1863 годов был и другой, более обращённый в прошлое элемент будущего великого романа. Женщины засиделись допоздна, разговаривая без устали, и в какой-то момент Софья уже не смогла скрыть своего гнева и тревоги: Толстой всё не возвращался, а на часах было уже час ночи. Когда он наконец появился, его встретила бледная, взволнованная Софья в слезах, а мать и сестра в отчаянии пытались её утешить. Он не понимал, в чём дело:  
— Милая, успокойся! — засмеялся он, и, будто желая утешить жену, которую глубоко задела не столько задержка, сколько само пренебрежение, сказал:  
— Я был у Аксакова. И совсем не заметил, как пролетело время. Понимаешь, я там встретил одного из декабристов — Завалишина![[236]](#footnote-236)

Любопытно, что этот рассказ, приведённый в мемуарах самой Тани, не соответствует действительности. Завалишин, декабрист, сосланный в Сибирь в 1825 году, в то время в Москве не находился. Невозможно установить, солгал ли Толстой, или Таня перепутала детали. Так или иначе, ясно: если уж что и могло удержать Толстого допоздна, так это встреча с неустрашимыми стариками — либеральными борцами с самодержавием.

С 1861 года, когда он был в Риме и встретил своего знаменитого двоюродного брата-дворянина, С. Г. Волконского, Толстой вынашивал замысел романа о декабристах. В итоге было написано лишь три главы. Действие происходит в 1856 году — именно в этот год С. Г. Волконскому разрешили вернуться в Москву из ссылки. Возвращаясь, герой поражается переменам, произошедшим с Россией за тридцать лет: «Сила России — не в нас», — размышляет он (то есть, не в аристократии), — «а в народе»[[237]](#footnote-237). Героя зовут Лабазов — он словно бы двойник Пьера Безухова, с одной стороны навеянный Волконским, с другой — несомненно, Толстой связывал его в своём воображении и с Завалишиным\*, та самая встреча с которым однажды сделала бессонной ночь для семьи Берс в начале января 1863 года.

Первые шесть месяцев 1863 года были посвящены тому, чтобы расчистить путь для нового великого замысла. Для Толстого это было время сбора всего, что он успел создать, и подготовки четырёхтомника — первого полного собрания его сочинений. Четвёртый том включал переработанных Казаков, опубликованных в начале 1863 года в «Русском вестнике» и получивших в целом восторженные отзывы. После трёхлетнего молчания Толстой вновь заявил о себе: автор Детства, Севастопольских рассказов и Казаков. Но сам он уже знал, что внутри него зреет нечто куда более масштабное: история своей страны, рассказанная сквозь призму собственного воображения. Или, если угодно, — история собственной души, облаченная в историю России. Всё, что оставалось, — это искра счастья, чтобы воспламенить этот замысел.

В этот же период Толстой создаёт одно из самых необычных и обаятельных своих произведений — Холстомер, рассказ о старом пёстром коне, чья жизнь оказывается глубже и благороднее, чем у многих людей. Это притча, исполненная сострадания и скрытой горечи, где голос животного становится зеркалом человеческого мира. А затем — тишина. В творчестве наступает пауза, как будто сама жизнь притихла, накапливая силы перед новым великим дыханием.

Софья, ожидавшая ребёнка и обладавшая природным даром устроительницы, принялась преображать Ясную Поляну в ожидании первенца. По словам Фета, она была «прекрасной птицей, оживлявшей всё вокруг своим присутствием». В доме, где прежде царили суровая простота и почти монашеский аскетизм, появились ковры, занавески, мягкие очертания уюта. Пригласили няню, всё было устроено с тщанием и заботой. И старая, молчаливая прислуга — сдержанная, почти архаичная — вдруг вписалась в новую атмосферу, словно стала частью русского варианта викторианской усадьбы. Это был всё тот же дом, где тётушка продолжала шептать молитвы перед иконами, где босоногие странники всё так же стучались в окна, но теперь он будто чуть приоткрылся навстречу иным, западным веяниям — и впервые вдохнул новый, тихий воздух грядущей перемены.

В июне вся семья с нетерпением ожидала появления ребёнка, и 28 числа Софья родила сына Сергея. Однако вряд ли облегчением для неё стало то, что Толстой настаивал: роды должны пройти именно на том самом жёстком кожаном диване, где тридцать пять лет назад на свет появился он сам. Своего рода семейная реликвия, он был для Льва Николаевича символом преемственности и бытийной правды — но для роженицы, истощённой и напуганной, вряд ли стал утешением.

Вскоре после рождения ребёнка в Ясную Поляну на долгий срок приехала сестра Софьи — Таня, и в доме воцарилась новая, более устойчивая гармония. С её приездом Толстой, наконец, смог отдаться труду, которому суждено было стать началом его великого пути. Таня Берс заняла в их жизни особое место: в неловких, порой напряжённых днях медового месяца супруги писали ей игривые, почти детские письма, будто бы ища в ней островок душевной ясности. Уже к марту 1863 года Таня стала для Толстого близким доверенным лицом — единственным человеком, с кем он мог говорить откровенно о беспокойствах, которые вызывала у него душевная ранимость и нестабильность Софьи Андреевны.

Например, однажды ночью ему приснился тревожный сон: его жена превратилась в фарфоровую куклу:

Я сказал: ты фарфоровая? Она, не открывая рта (рот как был сложен уголками и вымазан ярким кармином, так и остался), отвечала: да, я фарфоровая.  
Он начал прикасаться к ней — и на ощупь она действительно вся была фарфоровой. Краска с губ слезла в одном месте, и с плеча был отбит кусочек. Лиф платья был фарфоровым — и плоть под ним тоже. Глаза казались живыми, но в действительности просто неподвижно смотрели в пространство.

« Она не смотрела на меня, а через меня на свою постель, ей, видно, хотелось лечь, и она все раскачивалась. Я совсем потерялся, схватил ее и хотел перенести на постель. Пальцы мои не вдавились в ее холодное фарфоровое тело, и, что еще больше поразило меня, она сделалась легкою, как скляночка. И вдруг она как будто вся исчезла и сделалась маленькою, меньше моей ладони, и все точно такою же. Я схватил подушку, поставил ее на угол, ударил кулаком в другой угол и положил ее туда, потом я взял ее чепчик ночной, сложил его вчетверо и покрыл ее до головы. Она лежала там все точно такою же. Я потушил свечку и уложил у себя под бородой. Вдруг я услыхал ее голос из угла подушки: «Лёва, отчего я стала фарфоровая?» Я не знал, что ответить. Она опять сказала: «Это ничего, что я фарфоровая?» Я не хотел огорчать ее и сказал, что ничего».[[238]](#footnote-238)

Но на самом деле — это его тревожило. И продолжало тревожить наяву. Иногда он вдруг смотрел на жену и ему казалось, что сон был правдой: перед ним — маленькая фарфоровая кукла.

Тане тогда было семнадцать, когда она услышала эту исповедь от зятя.

На брата Толстого — Сергея — Таня произвела поистине ошеломляющее впечатление. Он приехал в Ясную Поляну с собственного поместья Пирогово. Уже несколько лет он жил с цыганкой Марьей Михайловной Шишкиной, от которой у него было несколько детей. Это положение тяготило его, он фактически отошёл от общества, проводя дни на конном заводе, разводя лошадей и общаясь только с цыганами и роднёй.

Встретив Таню, он тут же влюбился — и она ответила взаимностью. Семья снова сомкнулась в странном союзе, чуть ли не в Муравейном братстве: Лев женится на дочери Любови - лучшей подруги Марьи, и вот уже Сергей влюблён в другую дочь Любови — Таню. («Ах, Любовь Александровна, вы помните, как мы с вами в молодости танцевали под эти мелодии?»)

Была назначена дата свадьбы. Сергей должен был жениться на прекрасной Тане. Она, как это часто бывает с влюблёнными, видела Сергея только в Ясной Поляне — и не знала, какие обязательства оставлены им в Пирогово.

Сергей решил избавиться от Марьи Михайловны, вернуть её в цыганский табор. Это шло вразрез с его совестью, но он был так влюблён, что иначе поступить не мог. Однако однажды, вернувшись домой на рассвете, он заглянул в комнату Марьи — и увидел, как она молится перед иконой. В этот миг он понял: он не может поступить с ней так. Той же ночью он написал Тане, что цыганка в отчаянии и что он не может больше жениться на ней, Тане.

Таня, эмоциональная, импульсивная, попыталась отравиться. Попытка, к счастью, не увенчалась успехом. Эта сцена отчаяния потом пригодилась Толстому при описании страданий Наташи Ростовой после разрыва с князем Андреем.

С самого начала Лев Николаевич относился с тревогой к её влечению к Сергею. Когда Таня призналась ему в чувствах, он написал ей:

« В центре земли находится камень алатырь, в центре человека находится пупок. Как непостижимы пути Провидения! О, младшая сестра жены своего мужа! В центре его иногда еще находятся предметы.... Таня, моя дорогая подруга, ты молода, красива, одарённа и мила. Береги себя и своё сердце. Отдав его однажды, назад уже не получишь, и след на измученном сердце остаётся навсегда. Я знаю, что духовные стремления твоей богатой натуры не те, что у обычных девушек. Но Таня, как человек опытный, который любит тебя не только по родству, я говорю тебе всю правду...»[[239]](#footnote-239)

Вскоре Сергей поступил по чести: женился на своей цыганке, дав детям законное имя — а это имело большое значение в России XIX века. Таня, же, «от отчаяния», вышла замуж за человека по фамилии Кузьминский. Брак оказался несчастливым. Но Таня выжила.

Её юное лицо всё ещё приковывает взгляд на старых фотографиях. У неё были довольно крупные уши, и по строгим канонам красоты она не считалась красавицей. Но в этом лице — вся живость. Ни следа фарфора. Таня Берс вдохнула в Ясную Поляну новую жизнь. Как это часто бывало в браках XIX века, привязанность к золовке становилась частью супружеской любви — одновременно прочной и рискованной. Таня была не просто сестрой жены — она была её лучшей подругой. Потому было естественно, что и Толстой любил её. Но вблизи чувства всегда опасны. В отличие от Диккенса, Толстой никогда открыто не влюбился в свою золовку. Он предоставил это брату. Но это было для него предметом влечения. Будучи защитником, другом, старшим зятем, который мог предостеречь Таню от связи с Сергеем, он получал право безнаказанно наслаждаться собственной привязанностью к ней.

В октябре 1863 года в Туле — ближайшем от Ясной Поляны городе — давался бал. Приезжал сам Александр II, и Толстых пригласили. Софья, снова беременная и чувствующая себя нехорошо, осталась дома и велела мужу взять Таню. Она сама переделала для сестры своё бальное платье. И вот, Таня, пылающая от волнения, вышла из комнаты в наряде, чтобы спросить:  
— Ну как я выгляжу?

— Ты понимаешь, Таня, — сказала Софья, — что даже если бы я была здорова, я всё равно не могла бы поехать на бал?

— Почему?

— Ты не знаешь взглядов Льва? Как я могла бы надеть вечернее платье? Это немыслимо! Он всегда осуждает замужних женщин, которые, по его словам, «выставляют себя напоказ».[[240]](#footnote-240)

И вот на балу в Туле блистали плечи и спина Тани, её грудь. А сам Толстой, в парадном фраке, вышел из комнаты, и они отправились вдвоём. Восторг Тани потом отразился в сцене бала у Наташи Ростовой, где она танцует с князем Андреем. А Софья, оставшись одна, разрыдалась. Её балов больше не будет.

Биографы могут плакать вместе с ней — но читатели Войны и мира будут благодарны. Ведь именно Таня стала тем катализатором, который привёл роман в движение. Именно она пробудила в воображении Толстого что-то живое. Это была любовь, не поднявшаяся выше уровня лёгкого увлечения. Спустя годы Софья Андреевна спросила Тургенева, почему он в последнее время ничего не пишет. Тот признался: писать прозу он может только тогда, когда немного влюблён. А в последнее время чувства остыли.[[241]](#footnote-241)

Именно поэтому Таня может считаться тем самым «единственным вдохновителем» Войны и мира — именно потому, что не была объектом глубокой любви. Этим всегда оставалась Софья. Толстой не был неверным или равнодушным мужем. И как бы ни казалось современному читателю его отношение к женщинам отталкивающим, в рамках его собственного мира в нём не было ничего бесчестного. Он не только был верен Софье — он с самого начала слишком многим ей был обязан. Но она всегда оставалась женой. А это, по Толстому, означало: она — его возлюбленная, мать его детей, распорядительница дома. И не только. Она была его исповедницей, помощницей, а всего через несколько месяцев — самым сильным человеком в их браке. Но это была особая форма власти — та, что в наши дни, за пределами дисциплины древних религий вроде ислама, почти утрачена. Она была женой. А значит, на людях — подчинялась. И не открывала плеч.

Если мощное и строгое управление Софьи всеми внешними сторонами жизни Толстого создало условия, при которых Война и мир вообще могла быть написана, то ту невыразимую живость — дыхание жизни, которое и есть её суть — книге принесла весёлая, живая Таня.

Всё лето и осень 1863 года Толстой работал над своей книгой. Он по-прежнему задумывал написать Декабристов, но теперь видел этот труд как трёхчастное повествование. В 1856 году его герой-декабрист должен был вернуться в Москву из сибирской ссылки; но прежде предстояло описать само Восстание 1825 года, а перед этим — как поколение декабристов познакомилось с европейскими идеалами равенства и свободомыслия — через участие в Наполеоновских войнах.

Но одно лишь размышление о войнах с Наполеоном пробуждало в Толстом всю глубину противоречий его мировоззрения. В юности он был горячим западником, сторонником французского рационализма, верующим в прогресс, свободу и политические права. Всеми этими убеждениями жили и декабристы. Некоторые из них, так сильно любившие французскую культуру, что даже последовали за победоносной армией в 1812 году до Парижа, чтобы впитать «новый дух».

Но для большинства русских вторжение Наполеона было ужасным насилием, катастрофой невиданного масштаба. Память об этом вторжении укрепила у так называемых славянофилов ощущение, что всякое европейское влияние враждебно России. Победа далась дорого — и, по их мнению, благодарность за избавление следовало выражать в отказе от Европы. Россия спаслась благодаря Христу православной веры, чудотворным иконам, молитвам святых, доблести православного воинства, мудрости царя — и посланной Богом русской зиме.

Современные путешественники в Советский Союз, или же принимающие у себя советских гостей, часто поражаются силе воспоминаний о Второй мировой войне. Это не просто война, а Великая Отечественная. В то время как на Западе молодёжь едва помнит участников, а то и вовсе не в курсе событий, или относится к ним с легковесной иронией, в СССР всё иначе. То ли потому, что страной до недавнего времени управляли старики, чья лучшая пора пришлась на ту войну, то ли потому, что число погибших было невообразимо, то ли потому, что сам факт вторжения в страну, которую считали неприступной, требует многих поколений, чтобы залечить рану — но память о ней жива.

То же чувство, какое XX век оставил в душе каждого советского человека от Великой Отечественной, XIX век оставил в душе каждого русского от войны с Наполеоном. Это был момент высшего национального испытания и избавления, подобный поражению Армады в Англии елизаветинской эпохи, событие, сформировавшее народное самосознание.

К октябрю Софья записывает, что Толстой работает над книгой, которую называет Историей 1812 года, — но это была вовсе не сухая хроника. Через две недели, 13 ноября, она пишет о холодке между ними и, как всегда, реагирует чрезмерно: «Он меня не любит. Я не смогла удержать его любовь. Как же могла бы я? Так было предначертано! В минуту горя, о чём теперь жалею, когда мне казалось, что всё потеряно, я решила, что даже его писание — бессмысленно. Какая мне разница, что сказала графиня такая-то княгине такой-то?»[[242]](#footnote-242)

Эти строки ясно свидетельствуют, что шедевр уже начал принимать знакомые нам очертания. Из множества черновиков, ныне хранящихся в Толстовском музее в Москве, исследователи не могут точно установить, что именно написано в 1863 году, а что позднее. Один из ранних вариантов, возможно написанный вскоре после бала в Туле, начинается с бала в петербургском доме в 1811 году. Есть и другая версия, также открывающаяся балом, но предваряемая длинным параграфом о положении Европы между Тильзитом и пожаром Москвы.

Мы знаем, что связь с темой декабристов оставалась в уме Толстого очень крепкой. Знаем также, что некоторые батальные сцены были намечены ещё в 1863 году. Но большая часть написанного в тот период — это сцены семейной жизни, то, что Софья с презрением называла «разговоры графини с княгиней».

Возможно, в этих словах звучала и ревность: ведь в то время, как она была занята ребёнком, Толстой пользовался услугами её сестёр — Тани и Лизы — как секретарей. Однако было бы ошибкой думать, что весь год Толстой только и делал, что писал Историю 1812 года. Часто он вовсе ничего не писал. Именно в этом году он сделал, как сам выразился, «важное открытие»:

«Управляющие, надсмотрщики, приказчики — бесполезны на хозяйстве. Это легко проверить, уволив всех и спя до десяти утра. Убедитесь сами — ничего не изменится. Я это понял и теперь абсолютно уверен».[[243]](#footnote-243)

Это открытие добавило забот и жене, и ему самому. Толстой стал лично следить за полями, лесом, огородом и пасекой. Софья отвечала за дом, контору, амбары, скот и всю наёмную рабочую силу. Учитывая её первоначальное отвращение к грязи хлевов и крестьян, её способность справляться со всем этим — настоящий подвиг.

Но эксперимент, в ходе которого крестьяне должны были сами управлять хозяйством, закончился полным провалом.

Дело богатого — дать работу бедному.*[[244]](#footnote-244)*

Толстой так и не усвоил этой истины. Он без конца тратил силы на странные попытки быть похожим на крестьян — хотя таковым не был. Софья, хоть и соглашалась нанимать работника для коров, отказалась ухаживать за свиньями — японскими кабанами. После того как Толстой уволил свинаря за пьянство, ему самому пришлось заняться свиньями.

Работа была ему настолько противна, что привела к бессмысленной и жестокой жестокости, хуже той, что проявлял пьяный слуга:  
«Я давал им как можно меньше еды, чтобы они ослабли. Это сработало! Если при следующем осмотре они продолжали визжать — я подкидывал им чуть-чуть. Как только наступала тишина — я знал: конец близок».[[245]](#footnote-245)

Толстой не имел ни малейшего понятия о засолке или вялении окороков. В тёплую погоду вся ветчина протухала и выбрасывалась. Та, что отправлялась в Москву, доходила в состоянии гниения. То же случалось и с маслом. В полях, где теперь за всё отвечал сам Толстой, царил полный хаос. Он даже привлёк одного из учеников своей школы — четырнадцатилетнего мальчика, чтобы тот помогал давать крестьянам указания: что копать, что сеять, что полоть. Но, разумеется, крестьяне не слушались ни барина, ни мальчишки. Когда Толстой понял, в какой беспорядок он всё обратил, он вовсе не вернулся сразу к письменному столу, чтобы начать писать Войну и мир. Напротив — он начинал ездить по гостям. Всё больше времени он проводил в Москве среди родни Берсов, часто оставляя Софью одну в Ясной Поляне — в отрыве от той самой семьи, по обществу которой она скучала. Или же он уходил на охоту.

В 1864 году случилось счастливое происшествие, которое, с точки зрения Войны и мира, сосредоточило внимание Толстого на главном. В сентябре он отметил, что написал «около ста двадцати печатных страниц» романа, но не может двигаться дальше. Он находился в состоянии бесконечных исправлений и переделок. Он всегда был одержимым редактором собственного текста, но лишь после появления Софьи в его жизни появились сохранившиеся следы этого процесса. Именно она собирала каждый клочок рукописи и складывала их в коробки, подобно апостолам, собирающим остатки хлеба после насыщения пяти тысяч. И число этих ящиков, кстати, совпадало с числом тех самых корзин — двенадцать. Двенадцать крепких деревянных ящиков с рукописями Толстого были упакованы во время революции и отправлены в Румянцевский музей в Москве. Тем, кто находит характер графини Толстой непривлекательным, эти двенадцать ящиков следовало бы представить как мирный дар. Без неё у нас не было бы никакого представления об эволюции шедевра её мужа.

Тем временем, в сентябре 1864 года, Толстой забросил роман и отправился верхом в гости к соседу. Он был не на охотничьем коне, но его собаки побежали рядом — и, конечно, увидели зайца. Конь не умел брать барьеры, но азарт собак мгновенно передался Толстому. Те лаяли и гнались, и он, забыв осторожность, закричал: «Ату его!» — и пустил коня вскачь. На первом же прыжке лошадь оступилась, и Толстой рухнул. Он лежал в муках с переломом правой руки. Софья была на последних сроках беременности, и Толстой испугался, что весть об несчастном случае вызовет преждевременные роды. Поэтому, когда его нашли, он приказал отвезти себя в Тулу и там, не сообщая жене, дал врачу-однодневке вправить перелом. Неделями его правая рука была бесполезна. После рождения дочери Татьяны он отправился в Москву, чтобы перелом был устранён как следует. Оставшуюся часть года семья жила у Берсов, и роман диктовался — Тане и Лизе.

Первоначальный замысел романа о декабристах с его торжественной темой (не менее, чем: «Кому на Руси жить хорошо?» Некрасова) был задуман ещё в те времена, когда Толстой бывал на периферии петербургских салонов и того, что принято называть «интеллектуальной жизнью». Можно сказать, что книга родилась и умерла в сфере умственных интересов — но, как всегда бывает с подлинно великими умами, вопросы Толстого были в сущности простыми — такими, что редко волнуют «интеллектуалов». Его по-настоящему не интересовали судьбы русских либералов 1812–1856 годов. Его интересовал вопрос куда более простой и глубокий: как мы вообще оказались здесь? Один из способов ответить на него — это исследовать свою внутреннюю историю, как он попытался сделать в Истории вчерашнего дня. Другой — обратиться к историкам, которые расскажут, как сменялись правители и как один деспот развязывал войну против другого.

Но ни тот, ни другой путь не удовлетворил Толстого. Он не стал ни русским Дарвином, ни русским Макаулеем. Его подход к вопросу истока был совершенно особым — и глубоко личным. И что важно — он возник не в салоне, а в семье. Именно после того, как он сломал руку и был вынужден диктовать текст, вся значимость семьи раскрылась для него и для всех. В ранних черновиках семейство, ставшее в романе центральным, называлось «Толстыми». Потом фамилия была изменена на «Простые» — то есть обыкновенные, скромные, простодушные. Позднее они стали «Ростовыми» (ударение — на втором слоге, хотя это и не так важно).

Через несколько недель после выздоровления и диктовки в Москве доктор Берс устроил вечер у своих друзей и родственников Перфильевых. Толстой должен был читать вслух отрывки из романа. Сначала он смущался. За всю жизнь он ни разу не читал публично. Он был полной противоположностью Диккенсу: публику он достигал исключительно письмом, и публичных речей по злободневным темам никогда не произносил. Он был человеком частным, и даже здесь — хоть и с публикой, но с аудиторией семейной. Причём очень своеобразной. Вначале он читал тихо, стесняясь. Но постепенно, обретая уверенность, он начал играть всех персонажей, вкладывая в голоса различные интонации, «как полицейский в кукольном театре».

Это был рассказ о юноше, наклоняющемся, чтобы поцеловать куклу Тани Мими, но вместо этого целующем саму Таню. История, ставшая сценой, где Наташа Ростова целует Бориса. Чем дальше он читал, тем ярче окружающие узнавали самих себя.  
— Мама! — невинно воскликнула дочь хозяйки, — да это же ты, Марья Дмитриевна Ахросимова! Один в один!

Они замечали то, чего будущий читатель уже не мог разглядеть: он поставил мольберт прямо среди них и запечатлел их с натуры. Но образ живописи тут неточен. Потому что главное — не неподвижность портрета, а живое исполнение, в которое он вложил одинаковую страсть для каждого героя. Романист ближе к кукольнику, чем к живописцу. Наружное сходство персонажей с реальными людьми может быть поразительным для самих прототипов, но именно это сходство не даёт им жизни. Жизнь же даёт им художник — изнутри. Вот почему игра в «угадай кто» в романе — занятие в лучшем случае наполовину полезное, а в худшем — вводящее в заблуждение.

Биографы Пруста, например, приводят множество внешних совпадений между персонажами его романов и реальными фигурами французского общества. Но лишь филистер решил бы, что господин Сванн — это Шарль Хаас, а барон де Шарлюс — Робер де Монтескьё. В обоих случаях Пруст лишь копирует оболочку. Настоящую глубину героям придают его собственные страсти, память, натура и культура. Сванну он дал своё эстетство, опыт великой любви, знание о скоротечности жизни и — что не менее важно — еврейство. Барону Шарлюсу он отдал те черты, в которых сам стыдился в себе — гордыню, снобизм, гомосексуальность.

Точно так же оживляет образы своих героев и Толстой. Волнение Наташи на балу рождено не только её собственной радостью, но и волнением самого Толстого, везущего туда Таню. В своём романе он черпает всё, что десятилетиями копилось в его памяти и подсознании. Внешнее сходство «Простых» или «Ростовых» с кругом Берсов не скрывает от нас, кто прошёл весь этот путь — сам Толстой. Ведь изначально он назвал их «Толстыми» — не в честь своей фамилии, а в честь всех Лев Николаевичей, игравших на подмостках его жизни с 1828 года.

— Лёвочка, — сказала как-то Таня, — я понимаю, как ты описываешь помещиков, отцов, генералов, солдат... Но как ты можешь передать чувства влюблённой девушки? Как ты можешь изобразить ощущение матери? Для меня это — непостижимо.[[246]](#footnote-246)

Она не понимала, но её слова затронули самую суть его дара — ту самую тайну, которая позволяла ему «раздирать собственные мысли» и «возрождать прошлые чувства как новые». В Николае Ростове мы читаем все ранние переживания Толстого на службе — его метания между любовью к семье и страстью к карточной игре и разврату. Но Николай — это невинная сторона прошлого. В менее симпатичных героях он мог воплощать свои тёмные стороны — в Долохове и Пьере, напивающихся до бесчувствия и привязывающих медведя к городовому; в Анатоле Курагине, погружённом в греховную любовь (в его случае — к сестре). Он даже вложил себя в образ Элен, чьё отношение к Пьеру почти дословно повторяет самоуничижительное восприятие Толстым самого себя в свете.

Всё было использовано.

Также очевидна и его одержимость образом матери. Все главы, посвящённые княжне Марье и её суровому, сварливому отцу, князю Болконскому (в ранних черновиках — Волконскому), берут своё начало в стремлении Толстого воссоздать, какой могла быть жизнь его собственной матери в Ясной Поляне до замужества с Николаем Ростовым/Простым/Толстым. Показательно, что весёлые сцены с Ростовыми он с готовностью делил с сёстрами Берс, но куда более сокровенное, почти священное задание — переписывание глав о княжне Марье — доверил Софье.

«Как мне нравится всё, что касается княжны Марьи!» — писала она ему, когда он ещё был в Москве. — «Ты её так ясно видишь. Это потрясающий, глубоко сочувственный образ».[[247]](#footnote-247)

Сила и живость образа княжны Марьи во многом обязаны чувству вины Толстого — осознанию того, что он сам делал со своей женой в первый год брака. Он словно «погреб» её в деревне, как и княжна Марья — узница дома отца в Богучарове. Он был с ней постоянно раздражителен — как старый князь Болконский со своей дочерью. Но под этой раздражительностью скрывалась трогательная зависимость от неё — одна из самых нежных линий романа. Мы читаем, что он «любил её больше самого себя». Одна из самых комичных сцен книги — момент, когда князь в ужасе ожидает, что Анатоль Курагин сделает предложение Марье. Ещё до того как Курагины приехали, он срывается на управляющего за то, что тот расчистил снег перед домом, а затем следует та самая знаменитая сцена, где слугам велят сгребать снег обратно:

— Закидана дорога?  
— Закидана, ваше сиятельство, простите, ради Бога, по одной глупости.[[248]](#footnote-248)

То, что старого князя выводит из себя — это ревность ко всему, что может отнять у него любовь Марьи. Толстой хорошо знал самые нелепые, безумные формы ревности. В своих воспоминаниях Таня писала, как её сестра и зять «отравляли друг другу жизнь ревностью». Она вспоминает, как некий молодой человек по имени Писарёв — совершенно безобидный знакомый — как-то заехал в Ясную Поляну погостить. За чаем он сел рядом с Софьей, которая наливала чай из самовара, и даже осмелился передавать чашки остальным.

«Я следила за Львом, — пишет Таня. — Он был бледен, взволнован, вставал, расхаживал по комнате, выходил и возвращался. Его нервозность передавалась другим. Софья почувствовала это и совсем растерялась».

Ситуация внезапно разрешилась на следующее утро, когда Толстой распорядился подать экипаж, и слуга уведомил молодого человека, что лошади уже запряжены и ждут.[[249]](#footnote-249)

Поменяйте местами возраст участников этой сцены: представьте Толстого не ревнивым мужем, а ревнивым отцом — и перед вами уже эпизод с князем Болконским и его дочерью в Лысых Горах.

Во всех первоначальных вариантах романа старый князь был списан с дедушки Толстого, а княжна Марья — с его матери: такой же одинокой, какой она была в жизни. Но по мере размышлений Толстой понял, что нужен герой, который погибнет под Аустерлицем. Так родился князь Андрей. И не только Софья, но и Фет на ранней стадии находили его малопривлекательным персонажем. «Правда, — признал Толстой, — он скучен, однообразен, просто homme comme il faut на протяжении всей первой части. Но вина в этом — моя, не его».[[250]](#footnote-250)

Андрей начинался как герой, которого можно с наибольшим драматизмом убить под Аустерлицем. В нём был образ брата Толстого — Николая, и отчасти — образ их отца. Но постепенно он стал чем-то большим: воплощением того, кем Толстой мог бы стать, избавься он от своей застенчивости, сблизься с кузиной Александриной и её столичным кругом «по дымоходу» — и сделай карьеру в правительстве или армии, став «кем-то». В Андрее чувствуется вся та надменность и гордость, за которые юного Толстого запомнили его сверстники в Петербурге и на военной службе. Под его циничной оболочкой скрыта ранимая, глубокая душа — способная переживать любовь и вглядываться в бездну бытия.

Отчасти князь Андрей — литературный образ, герой в духе Пушкина или Лермонтова. И, возможно, именно это дало Толстому смелость вложить в него самые сокровенные черты. Сомнение и скепсис мучили его всю жизнь — не просто вольтеровское неверие в Бога, а настоящая болезнь воли, доводящая до паралича действия. Начавшись с шопенгауэровского пессимизма, она доходила до индуистского равнодушия. В личных записях Толстого это выражается в коротком, почти не переводимом выражении: что ж? — и всё. Он повторяет его часто и с пугающей точностью.

Когда Софья писала, что образ Андрея ей не нравится, мы не знаем, был ли он тогда ещё не до конца оформлен или же она почувствовала в нём это жуткое безразличие. Самое страшное оно — в отношении к его молодой жене. В беседах с Пьером и с сестрой он высказывает полное разочарование не только в жене, но и в себе, и в самом институте брака:

— Если ты женишься, надеясь на что-то в будущем, — говорит он Пьеру, — то с каждым шагом будешь чувствовать, что всё кончено, всё закрыто, кроме гостиной, где ты стоишь между лакеем и дураком. Но... к чему всё это?

А сестре он говорит:

— Знай одно, Маша, я ни в чем не могу упрекнуть, не упрекал и никогда не упрекну мою жену, и сам ни в чем себя не могу упрекнуть в отношении к ней; и это всегда так будет, в каких бы я ни был обстоятельствах. Но ежели ты хочешь знать правду... хочешь знать, счастлив ли я? Нет. Счастлива ли она? Нет. Отчего это? Не знаю.[[251]](#footnote-251)

Именно этот мрачный, сдержанный, тайно трагический Толстой расцветает в образе князя Андрея. И неудивительно, что, когда он ранен в бою, автор не может заставить себя убить его. Вместо этого он оставляет его, смотрящего в небо — к величию и пустоте всего — как сам Толстой часто делал. Он любит Наташу так, как Толстой любил Таню, и как любил Софью до того, как она стала его женой.

Но это — лишь часть натуры Толстого. Другая, более очевидная — в образе Пьера: неуклюжего, чувственного, уязвимого, вечно терзающегося вопросами — зачем мы живём? как должен жить человек? Именно эту грубую, порывистую сторону своей личности Толстой сам предпочитал — и потому в конце одаривает её Наташей, делая их брак идеализированной версией своей любви к Софье.

Книга ещё далека от того, чем мы её знаем, но к концу 1864 года она куда ближе к своему предназначенному облику.

Мы намеренно неуклюже описывали, как реальные черты становятся вымышленными образами, чтобы подчеркнуть хрупкость этого перехода — как из жизни рождаются персонажи, оживляемые внутренним демоном художника. Но остался один герой, о котором до сих пор не было сказано — а он непременно должен появиться до конца этой главы. Похоже, он был с самого начала. В одном из черновиков 1863 или 1864 годов он говорит о Наполеоне:

« И это знал Наполеон лучше всех и выигрывал свои сражения не оттого, что он был гений (я убежден, что он был очень от этого далек), а напротив оттого, что он был глупее своих неприятелей, не мог увлекаться умозаключениями и заботился только о том, чтоб солдаты были сыты, озлоблены, послушны и чтоб их было очень много».[[252]](#footnote-252)

В окончательной версии романа Толстой приберег этого персонажа до времени — он не допускается к первым дебатам о Наполеоне в салоне Анны Павловны. Пока петербургское дворянство рассуждает, не является ли Наполеон Антихристом, этот герой вынужден молчать. Сначала его присутствие вообще остаётся незаметным, но затем он неожиданно вмешивается — не в разговор, а непосредственно к читателю, с колкой репликой: мол, Анна Павловна подобна метрдотелю, подающему к столу деликатесы, которые, если бы мы увидели их на кухне, вовсе бы не захотели пробовать.

« Как хороший метр-д’отель подает как нечто сверхъестественно-прекрасное тот кусок говядины, который есть не захочется, если увидать его в грязной кухне, так в нынешний вечер Анна Павловна сервировала своим гостям сначала виконта, потом аббата, как что-то сверхъестественно утонченное».[[253]](#footnote-253)

Это тот самый наш старый знакомый, который однажды заявил, что бронхит — это металл; тот, кто с завидной регулярностью срывал ужины у Тургенева, выкрикивая, что Шекспир, Жорж Санд или кто бы то ни был ещё — бездарности. Было бы ошибкой отождествлять этот голос с рассказчиком Войны и мира, потому что одно из удивительных свойств книги — ощущение, будто она вообще не имеет повествователя. Всё главное, всё великое в романе — и грандиозные сцены, и трогательные мелочи — как будто рассказаны кем-то без лица, с шекспировской невидимостью.

Вспомните, как старая графиня Ростова даёт Анне Михайловне деньги на мундир для Бориса — и обе женщины плачут. «Потому что они были подругами, потому что они были добрыми, потому что — подруги детства — теперь вынуждены думать о такой приземлённой вещи, как деньги, и потому что их юность прошла…» В такие моменты кажется, что сама вселенная несёт на себе печать Божьего присутствия.

Толстой, тот самый, который считал бронхит металлом, никогда бы не догадался, что графиня лишь притворилась перед мужем, будто у неё долги, чтобы тайком помочь подруге. Если бы он увидел, как женщины плачут, это бы только смутило его, но вряд ли заинтересовало. Его бы скорее раздражало, что мы подслушиваем нечто столь незначительное, тогда как могли бы слушать его суждения. А какие именно были суждения — не имело значения, лишь бы этот докучливый зануда оставался единственным голосом в комнате, а все остальные — слушали, как это приходилось делать детям в школе Ясной Поляны.

В те первые годы брака, когда роман ещё представлял собой череду незавершённых и не связанных между собой глав, этот голос был лишь одним из многих. Толстой предавался делу, которое целиком принадлежало ему одному — и он имел полное право не давать ему названия, не признавать в нём «роман». «Вчера, — безжалостно писал он Софье из Москвы (она в это время оставалась в деревне, управляя хозяйством и заботясь о детях), — я объяснил Тане, почему мне легче переносить разлуку с тобой, чем было бы, если бы я не писал. Наряду с тобой и с детьми (хотя я, признаюсь, пока ещё не люблю их достаточно), у меня есть постоянная любовь или забота о моём письме. Без этого я, правда, не мог бы прожить и дня без тебя; ты непременно поймёшь это, ведь то, чем для меня является письмо, для тебя — дети».[[254]](#footnote-254)

Софья Андреевна понимала — и это было одним из самых поразительных её качеств. Она ревновала, но сдерживала себя, и многое сделала для того, чтобы его гений расцвёл. Но за плечом у Толстого стоял другой, куда менее уравновешенный голос. Он терпеть не мог плоды воображения писателя, ненавидел всех этих Пьеров, Андреев, Наташ, Борисов и Долоховых — существ, которые, благодаря странной алхимии искусства, приобретали собственную жизнь.

Это был тот самый агрессивный зануда, уверенный, что бронхит — металл. Пока Толстой диктовал сёстрам жены или, выздоравливая, снова брал в руку перо, он терпел. Но рано или поздно этот внутренний голос вырывал перо из руки художника и начинал говорить сам.

1. Гусев (1954). За исключением случаев, когда указано иное, все биографические сведения в этой книге взяты из пяти монументальных томов Гусева. [↑](#footnote-ref-1)
2. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 9, 106 [↑](#footnote-ref-2)
3. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 9, 271 [↑](#footnote-ref-3)
4. Две увлекательные семейные хроники, написанные родственниками, это книги Сергея Толстого (1980) и Николая Толстого (1983). Особенно рекомендуется последняя. [↑](#footnote-ref-4)
5. Кранкшоу (1976) 18 [↑](#footnote-ref-5)
6. Хью Сетон-Уотсон, «Российская империя 1801–1917» (Оксфорд, 1967), 183-98 и Улам (1081) 3-66 [↑](#footnote-ref-6)
7. Волконский [↑](#footnote-ref-7)
8. Пушкин III.7 [↑](#footnote-ref-8)
9. Улам (1981) 65 [↑](#footnote-ref-9)
10. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 34, 375 [↑](#footnote-ref-10)
11. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 34, 376 [↑](#footnote-ref-11)
12. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 34, 384 [↑](#footnote-ref-12)
13. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 34, 386 [↑](#footnote-ref-13)
14. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 9, 211 [↑](#footnote-ref-14)
15. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 34, 357 [↑](#footnote-ref-15)
16. Де Жонг (1972) 70 [↑](#footnote-ref-16)
17. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 34, 395 [↑](#footnote-ref-17)
18. Зернов (1945) 57 [↑](#footnote-ref-18)
19. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 32, 99 [↑](#footnote-ref-19)
20. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 34, 387 [↑](#footnote-ref-20)
21. Гусев (1954) [↑](#footnote-ref-21)
22. Фишер 23 [↑](#footnote-ref-22)
23. Аксаков 25 [↑](#footnote-ref-23)
24. Герцен 94 [↑](#footnote-ref-24)
25. Маккензи-Уоллес II.6 [↑](#footnote-ref-25)
26. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 34, 370 [↑](#footnote-ref-26)
27. Загоскин 91 [↑](#footnote-ref-27)
28. Зборилек 6 [↑](#footnote-ref-28)
29. Руссо 249 [↑](#footnote-ref-29)
30. Руссо 278 [↑](#footnote-ref-30)
31. Ватсуро 1.46 [↑](#footnote-ref-31)
32. Нужин 33 [↑](#footnote-ref-32)
33. Хью Сетон-Уотсон, «Российская империя 1801–1917» (Оксфорд, 1967), 171 [↑](#footnote-ref-33)
34. Аксаков 25 [↑](#footnote-ref-34)
35. Хью Сетон-Уотсон, «Российская империя 1801–1917» (Оксфорд, 1967), 171 [↑](#footnote-ref-35)
36. Хью Сетон-Уотсон, «Российская империя 1801–1917» (Оксфорд, 1967), 171 [↑](#footnote-ref-36)
37. Шкловский 81 [↑](#footnote-ref-37)
38. Симмонс, «Толстой», 69 [↑](#footnote-ref-38)
39. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 46, 32 [↑](#footnote-ref-39)
40. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 46, 127 [↑](#footnote-ref-40)
41. Ранние биографы Толстого, такие как Бирюков, либо не знали, либо умалчивали тот факт, что у Толстого было венерическое заболевание. Из современных биографов, Симмонс утверждает, что «мысль о том, чтобы покинуть Казань, не вызывала у Толстого сожалений», что, вероятно, верно. Мартин де Курцель сообщает, что «университетские программы казались ему всё более нелепыми», однако доказательств этому утверждению нет. Анри Труайя предполагает, что у Толстого «внезапно было откровение, что он больше не может продолжать учебу на юридическом факультете». Труайя также упоминает, что Толстой был болен, но болезнь «не была серьезной». Однако Труайя не уточняет, чем именно болел Толстой. [↑](#footnote-ref-41)
42. Кранкшоу (1976) 73 [↑](#footnote-ref-42)
43. Ричард Пайпс «Россия при старом режиме» 78 [↑](#footnote-ref-43)
44. Гусев (1954) [↑](#footnote-ref-44)
45. Дневник, 10 марта 1906 г. [↑](#footnote-ref-45)
46. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 44, 182 [↑](#footnote-ref-46)
47. Дневник Толстого, 17 апреля 1847 г. [↑](#footnote-ref-47)
48. Ватсуро, II, 97 [↑](#footnote-ref-48)
49. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 4, 123 [↑](#footnote-ref-49)
50. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 4, 164 [↑](#footnote-ref-50)
51. Пушкин, «Евгений Онегин» I, 54 [↑](#footnote-ref-51)
52. Дневник, 14 июня 1947 г. [↑](#footnote-ref-52)
53. Пушкин, Медный всадник [↑](#footnote-ref-53)
54. Письмо С.Н.Толстому, 13 февраля 1949 г. [↑](#footnote-ref-54)
55. Письмо С.Н.Толстому, 1 мая 1948 г. [↑](#footnote-ref-55)
56. Мирский, 254 [↑](#footnote-ref-56)
57. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 1, 279 [↑](#footnote-ref-57)
58. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 1, 289 [↑](#footnote-ref-58)
59. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 1, 289 [↑](#footnote-ref-59)
60. Дневник С.Толстой, 23 октября 1878 г. [↑](#footnote-ref-60)
61. Дневник С.Толстой, 06 ноября 1878 г. [↑](#footnote-ref-61)
62. Стерн «Сентиментальное путешествие», 48 [↑](#footnote-ref-62)
63. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 1, 290 [↑](#footnote-ref-63)
64. Гусев (1954) [↑](#footnote-ref-64)
65. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 46, 77 [↑](#footnote-ref-65)
66. Хингли «Русский склад ума», 1977, с.61 [↑](#footnote-ref-66)
67. Хью Сетон-Уотсон, «Российская империя 1801–1917» (Оксфорд, 1967), 311ff [↑](#footnote-ref-67)
68. Хью Сетон-Уотсон, «Российская империя 1801–1917» (Оксфорд, 1967), 171 [↑](#footnote-ref-68)
69. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 46, 77 [↑](#footnote-ref-69)
70. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 46, 80 [↑](#footnote-ref-70)
71. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 59, 169 [↑](#footnote-ref-71)
72. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 3, 67 [↑](#footnote-ref-72)
73. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 3, 68 [↑](#footnote-ref-73)
74. Мирский (1949) 235 [↑](#footnote-ref-74)
75. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 3, 74 [↑](#footnote-ref-75)
76. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 3, 86 [↑](#footnote-ref-76)
77. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 3, 71 [↑](#footnote-ref-77)
78. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 46, 82 [↑](#footnote-ref-78)
79. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 46, 87 [↑](#footnote-ref-79)
80. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 59, 127 [↑](#footnote-ref-80)
81. Дневники, Ноябрь 29, 1851 [↑](#footnote-ref-81)
82. Катарский, 103 [↑](#footnote-ref-82)
83. Кингсмилл, 87 [↑](#footnote-ref-83)
84. Кингсмилл, 87 [↑](#footnote-ref-84)
85. Письмо Т.А.Ергольской, 12 ноября 1851 г. [↑](#footnote-ref-85)
86. Эйхенбаум (1922) 75 [↑](#footnote-ref-86)
87. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 59, 196 [↑](#footnote-ref-87)
88. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 1, 28 [↑](#footnote-ref-88)
89. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 35, 36 [↑](#footnote-ref-89)
90. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 35, 56 [↑](#footnote-ref-90)
91. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 45, 89 [↑](#footnote-ref-91)
92. Письмо Н.А.Некрасову, 3 июля, 1852 г. [↑](#footnote-ref-92)
93. Письмо Н.А.Некрасову, 18 ноября 1852 г. [↑](#footnote-ref-93)
94. Зандер 53 [↑](#footnote-ref-94)
95. PRP 1.60 [↑](#footnote-ref-95)
96. Дневники, 12 января 1854 г. [↑](#footnote-ref-96)
97. Гусев (1954, 1957) [↑](#footnote-ref-97)
98. Письмо Т.А.Ергольской, 5 июля, 1854 [↑](#footnote-ref-98)
99. Дневник, 7 июля 1854 г. [↑](#footnote-ref-99)
100. Дневник, 7 июля 1854 г. [↑](#footnote-ref-100)
101. Дневник, 15 июля 1854 г. [↑](#footnote-ref-101)
102. Лев Толстой в воспоминаниях современников, том 1, 60 [↑](#footnote-ref-102)
103. Дневник, 22 января 1855 г. [↑](#footnote-ref-103)
104. Лев Толстой в воспоминаниях современников, том 1, 65 [↑](#footnote-ref-104)
105. Лев Толстой в воспоминаниях современников, том 1, 65 [↑](#footnote-ref-105)
106. Дневник, 28 января 1855 [↑](#footnote-ref-106)
107. Дневник, 20 ноября 1855 [↑](#footnote-ref-107)
108. Джон Шелтон Кертисс, «Русская армия при Николае I» (1965), 192 [↑](#footnote-ref-108)
109. Герцен, «Былое и думы» [↑](#footnote-ref-109)
110. Джон Шелтон Кертисс, «Русская армия при Николае I» (1965), 260 [↑](#footnote-ref-110)
111. Джон Шелтон Кертисс, «Русская армия при Николае I» (1965), 47 [↑](#footnote-ref-111)
112. Джон Шелтон Кертисс, «Русская армия при Николае I» (1965), 260 [↑](#footnote-ref-112)
113. Симмонс «Толстой», 135 [↑](#footnote-ref-113)
114. Дневник, 2,3,4 марта 1855 [↑](#footnote-ref-114)
115. Дневник, 1 апреля 1854 [↑](#footnote-ref-115)
116. Сегодня это звучит как рифмованная безделица, но в своё время песня вызывала глубокие размышления. С. С. Дорошенко (стр. 247) даже потрудился сопоставить отдельные фразы из этой песни с определёнными записями в дневнике Толстого. [↑](#footnote-ref-116)
117. См. Генри Джеймс “Мастерство романа” [↑](#footnote-ref-117)
118. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 4, 56 [↑](#footnote-ref-118)
119. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 4, 67 [↑](#footnote-ref-119)
120. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 4, 78 [↑](#footnote-ref-120)
121. Лев Толстой в воспоминаниях современников, том 1, 65 [↑](#footnote-ref-121)
122. Лев Толстой в воспоминаниях современников, том 1, 65 [↑](#footnote-ref-122)
123. К.С.Льюис, «Они стали вместе» (1979), 410 [↑](#footnote-ref-123)
124. Дневник, 2 сентября 1855 [↑](#footnote-ref-124)
125. Дневник, 10 октября 1855 [↑](#footnote-ref-125)
126. Гусев (1954) [↑](#footnote-ref-126)
127. Джо Эндрю «Писатели и общество во второй половине девятнадцатого века» (1982) 3 [↑](#footnote-ref-127)
128. Лев Толстой в воспоминаниях современников, том 1, 65 [↑](#footnote-ref-128)
129. Н.Рязановский «Россия и запад в учении славянофилов» (Кембридж, Масс. 1952) [↑](#footnote-ref-129)
130. Симмонс «Толстой», 143 [↑](#footnote-ref-130)
131. Лев Толстой в воспоминаниях современников, том 1, 138 [↑](#footnote-ref-131)
132. Фет «Мои воспоминания» [↑](#footnote-ref-132)
133. Р.Густафсон «Обитатель и чужак» [↑](#footnote-ref-133)
134. Анри Гранжар «Письма И.С.Тургенева» [↑](#footnote-ref-134)
135. Р.Густафсон «Обитатель и чужак» [↑](#footnote-ref-135)
136. Фет «Мои воспоминания» часть 1, 225 [↑](#footnote-ref-136)
137. Фет «Майская ночь» [↑](#footnote-ref-137)
138. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 23, 56 [↑](#footnote-ref-138)
139. Дневник, 10 ноября 1851 [↑](#footnote-ref-139)
140. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 19, 231 [↑](#footnote-ref-140)
141. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 19, 234 [↑](#footnote-ref-141)
142. Симмонс «Толстой», 147 [↑](#footnote-ref-142)
143. Дональд Маккези Уоллес «Россия» [↑](#footnote-ref-143)
144. Дневник, 15 мая 1856 [↑](#footnote-ref-144)
145. Письмо В.В Арсеньевой, 2 ноября 1856 [↑](#footnote-ref-145)
146. Письмо В.В Арсеньевой, 8 ноября 1856 [↑](#footnote-ref-146)
147. Письмо В.В Арсеньевой, 9 ноября 1856 [↑](#footnote-ref-147)
148. Письмо В.В Арсеньевой, 11 ноября 1856 [↑](#footnote-ref-148)
149. Письмо В.В Арсеньевой, 14 января 1857 [↑](#footnote-ref-149)
150. Гусев «Лев Николаевич Толстой», Материалы к биографии [↑](#footnote-ref-150)
151. Дневник, февраль 9/21, 1857 [↑](#footnote-ref-151)
152. Дневник, февраль 11/23, 1857 [↑](#footnote-ref-152)
153. Дневник, февраль 13/25, 1857 [↑](#footnote-ref-153)
154. Дневник, февраль 13/25, 1857 [↑](#footnote-ref-154)
155. Дневник, февраль 14/26, 1857 [↑](#footnote-ref-155)
156. Письмо В.П.Боткину, февраль 10/22 1857 [↑](#footnote-ref-156)
157. Письмо В.П.Боткину, февраль 10/22 1857 [↑](#footnote-ref-157)
158. Письмо В.П.Боткину, февраль 10/22 1857 [↑](#footnote-ref-158)
159. Л.Н.Толстой, Полное собрание сочинений, том 23, «Исповедь» [↑](#footnote-ref-159)
160. Л.Н.Толстой и А.А.Толстая. Переписка, с.12 [↑](#footnote-ref-160)
161. Л.Н.Толстой и А.А.Толстая. Переписка, с.12 [↑](#footnote-ref-161)
162. Л.Н.Толстой и А.А.Толстая. Переписка, с.12 [↑](#footnote-ref-162)
163. Л.Н.Толстой и А.А.Толстая. Переписка, с.12 [↑](#footnote-ref-163)
164. Л.Н.Толстой и А.А.Толстая. Переписка, с.18 [↑](#footnote-ref-164)
165. Дневник, 29 апреля/11 мая, 1857 [↑](#footnote-ref-165)
166. Дневник, 29 апреля/11 мая, 1857 [↑](#footnote-ref-166)
167. Дневник, 26 августа 1857 [↑](#footnote-ref-167)
168. Л.Н.Толстой и А.А.Толстая. Переписка, с.18 [↑](#footnote-ref-168)
169. Леонард Шапиро, Тургенев, с.112 [↑](#footnote-ref-169)
170. Дневник, 22 октября, 1857 [↑](#footnote-ref-170)
171. Дневник, 6 ноября, 1857 [↑](#footnote-ref-171)
172. Дневник, 4 декабря, 1857 [↑](#footnote-ref-172)
173. Л.Н.Толстой и А.А.Толстая. Переписка, с.12 [↑](#footnote-ref-173)
174. Брук 12 [↑](#footnote-ref-174)
175. Лев Толстой в воспоминаниях современников, том 1, 108 [↑](#footnote-ref-175)
176. Л.Н.Толстой и А.А.Толстая. Переписка, с.148 [↑](#footnote-ref-176)
177. Дневник, 26 мая 1860 [↑](#footnote-ref-177)
178. Дневник, 19/31 июля 1860 [↑](#footnote-ref-178)
179. Дневник, 17/24 июля 1860 [↑](#footnote-ref-179)
180. Дневник, 27 июля/3 августа 1860 [↑](#footnote-ref-180)
181. Дневник, 25 июля/6 августа 1860 [↑](#footnote-ref-181)
182. Дневник, 31 июля/12 августа 1860 [↑](#footnote-ref-182)
183. Дневник, 31 июля/12 августа 1860 [↑](#footnote-ref-183)
184. Анри Тройя «Толстой» (1967) [↑](#footnote-ref-184)
185. Письмо А.А.Фету, 17/29 октября 1860 [↑](#footnote-ref-185)
186. Гусев «Лев Николаевич Толстой», Материалы к биографии, 39 [↑](#footnote-ref-186)
187. Гусев «Лев Николаевич Толстой», Материалы к биографии, 39 [↑](#footnote-ref-187)
188. Письмо Н.Н.Страхову, 19 марта, 1870 [↑](#footnote-ref-188)
189. Виктор Лукас «Толстой в Лондоне», 35 [↑](#footnote-ref-189)
190. Виктор Лукас «Толстой в Лондоне», 49 [↑](#footnote-ref-190)
191. Виктор Лукас «Толстой в Лондоне», 45 [↑](#footnote-ref-191)
192. Питер Коллинз «Диккенс и образование» (1963), 38 [↑](#footnote-ref-192)
193. Анри де Лубак «Немарксистский социалист: изучение Прудона», 98 [↑](#footnote-ref-193)
194. Симмонс «Толстой», 213 [↑](#footnote-ref-194)
195. Дневник, 13 августа, 1865 [↑](#footnote-ref-195)
196. Джордж Вудкок «Пьер Джозеф Прудон» (1956), 45 [↑](#footnote-ref-196)
197. Гусев «Лев Николаевич Толстой», Материалы к биографии, 411 [↑](#footnote-ref-197)
198. Джордж Вудкок «Пьер Джозеф Прудон» (1956), 234 [↑](#footnote-ref-198)
199. Р.В.Сампсон «Толстой: открытие мира» (1973), 7 [↑](#footnote-ref-199)
200. Письмо В.П.Боткину, 26 января 1862 [↑](#footnote-ref-200)
201. Л.Н.Толстой и А.А.Толстая. Переписка, с.205-206 [↑](#footnote-ref-201)
202. Лев Толстой в воспоминаниях современников, том 1, 221 [↑](#footnote-ref-202)
203. Симмонс, «Толстой» 235 [↑](#footnote-ref-203)
204. Письмо В.П.Боткину, 7 февраля 1862 [↑](#footnote-ref-204)
205. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 6, 148 [↑](#footnote-ref-205)
206. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 6, 24 [↑](#footnote-ref-206)
207. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 6, 35 [↑](#footnote-ref-207)
208. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 6, 65 [↑](#footnote-ref-208)
209. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 6, 68 [↑](#footnote-ref-209)
210. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 6, 69 [↑](#footnote-ref-210)
211. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 6, 75 [↑](#footnote-ref-211)
212. Дневник, 15 июня 1858 [↑](#footnote-ref-212)
213. Дневник, 26 мая 1860 [↑](#footnote-ref-213)
214. К сожалению, не существует доказательств, подтверждающих интересное утверждение Анны Эдвардса в книге «Соня» о том, что Софья Андреевна «слишком хорошо осознавала свою женственность для девочки за три месяца до двенадцатилетия» [↑](#footnote-ref-214)
215. Гусев «Лев Николаевич Толстой», Материалы к биографии, 384 [↑](#footnote-ref-215)
216. Гусев «Лев Николаевич Толстой», Материалы к биографии, 384 [↑](#footnote-ref-216)
217. Рене Фюлеп-Миллер “Новый взгляд на Толстого” [↑](#footnote-ref-217)
218. Надежда Мандельштам «Надежда против надежды» (1970) 4 [↑](#footnote-ref-218)
219. Письмо к А.А.Толстой, 22 июля 1862 [↑](#footnote-ref-219)
220. Дневник, 8 сентября 1862 [↑](#footnote-ref-220)
221. Кети Портер, Дневники Софьи Толстой (1985) [↑](#footnote-ref-221)
222. Кети Портер, Дневники Софьи Толстой (1985) [↑](#footnote-ref-222)
223. Дневник, 24 сентября 1862 [↑](#footnote-ref-223)
224. Ричард Пайпс «Россия при старом режиме», 231 [↑](#footnote-ref-224)
225. Ричард Пайпс «Россия при старом режиме», 78 [↑](#footnote-ref-225)
226. Энн Эдвардс «Соня» (1981), 75 [↑](#footnote-ref-226)
227. Энн Эдвардс «Соня» (1981), 10 [↑](#footnote-ref-227)
228. Энн Эдвардс «Соня» (1981) [↑](#footnote-ref-228)
229. Гусев (1957), 303 [↑](#footnote-ref-229)
230. Гусев (1957), 303 [↑](#footnote-ref-230)
231. Дневник, 5 января, 1853 г. [↑](#footnote-ref-231)
232. Кэти Портер, Дневник Софьи Толстой, 15 [↑](#footnote-ref-232)
233. Кэти Портер, Дневник Софьи Толстой, 17 [↑](#footnote-ref-233)
234. Наиболее резким из недавних авторов биографии Софьи Толстой был Эдвард Кренкшоу (1974). К числу более умеренных авторов относятся британка Синтия Асквит, американка Энн Эдвардс, француженка Мартин де Курсель и русско-французский писатель Анри Труайя. Те же, кто заняли сторону Толстого и выступили против Софьи Андреевны (назовем их левитами), нашли своего патриарха в лице англичанина Эйлмера Мода. А самым громким — и, пожалуй, лучшим — из толстовских хулиганов был мой покойный и горячо оплакиваемый друг Джон Стюарт Коллис, который приходил в ярость уже при одном упоминании о графине Толстой. [↑](#footnote-ref-234)
235. Гусев (1957) 241

     \*В дальнейшем я буду называть Татьяну Берс просто Таней, чтобы избежать путаницы с тётей Толстого Тoinette, которую также звали Татьяной. [↑](#footnote-ref-235)
236. Гусев (1957) 241 [↑](#footnote-ref-236)
237. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 13, 284

     \*Перестановка букв была для Толстого излюблённым приёмом при создании литературных портретов. Так, Завали́шин становится Лабазо́вым: буквы меняются местами, а «в» превращается в «б» — как и в случае с его заменой Волконский на Болконский. [↑](#footnote-ref-237)
238. Татьяна Кузьминская «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», 159 [↑](#footnote-ref-238)
239. Гусев (1957) 345 [↑](#footnote-ref-239)
240. Татьяна Кузьминская «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», 256 [↑](#footnote-ref-240)
241. Гусев (1957) 361 [↑](#footnote-ref-241)
242. Кэти Портер, Дневник Софьи Толстой, 38 [↑](#footnote-ref-242)
243. Гусев (1957), 298 [↑](#footnote-ref-243)
244. Иллер Беллок «Лорд Финчли» [↑](#footnote-ref-244)
245. Гусев (1957) 311 [↑](#footnote-ref-245)
246. Татьяна Кузьминская «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», 208 [↑](#footnote-ref-246)
247. Гусев (1957) 326 [↑](#footnote-ref-247)
248. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 9, 133 [↑](#footnote-ref-248)
249. Татьяна Кузьминская «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», 87 [↑](#footnote-ref-249)
250. Переписка, I.172 (1978) [↑](#footnote-ref-250)
251. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 9, 147 [↑](#footnote-ref-251)
252. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 13, 401 [↑](#footnote-ref-252)
253. Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание, Москва, 1928–1964 гг.), 9, 9 [↑](#footnote-ref-253)
254. Письмо С.А.Толстой, 4 сентября, 1985 [↑](#footnote-ref-254)